оп.

ИНДЕКС 73274

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого".

"Камешки на ладони"
Владимира СОЛОУХИНА.

Диалог с Ильей ГЛАЗУНОВЫМ.

Литературные заметки Михаила ЛОБАНОВА
"В сраженье и любви".

Михаил АГУРСКИЙ – Вадим КОЖИНОВ
Спор о сионизме

Статью Игоря ШАФАРЕВИЧА
"Шестая империя".

*В рубрике **"Отечественный архив":***

А. А. БРУСИЛОВ.
"Мои воспоминания".

Иван ШМЕЛЕВ.
"Инородное тело". Сказка.

*В рубрике **"Русская мысль":***

Арсений ГУЛЫГА.
"Русский религиозно-философский ренессанс".

Константин ЛЕОНТЬЕВ.
"Национальная политика как орудие всемирной революции"
и "О всемирной любви"

Новые стихи
Юрия КУЗНЕЦОВА, Виктора ЛАПШИНА.

*В рубрике **"История Отечества: документы и судьбы"***

Анатолий ЛАНЩИКОВ.
"Диктатура диктатуры".

овременник, 1990, № 5, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №5 1990

ISSN 0027-

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№5 1990

АРМИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ НОМЕР



Н. Грибачев.
«Здравствуй, комбат!»

Художник Бабаянц И. И.

...Россия, теряя союзников, не должна достичь в своих оборонных возможностях уровня Панамы, когда у заморских олигархов возникает искушение менять режимы и лидеров с помощью морских пехотинцев. Ганералы должны перестать выступать в молодежных программах, а осознать стабилизирующую, охранительную роль уцелевших вооруженных сил в условиях социального и экономического кризиса. Те же, в белых манишках, с бриллиантовыми перстнями, кто сделая армию мишенью для оскорблений, добиваясь ее деградации и развала, должны помнить, что за пять разрушительных лет только армия оказалась способной на конкретные деяния и жертвы — будь то чернобыльский взрыв, или армянский подземный толчок, или азербайджанская гекатомба.

А. Проханов.

Публицистику Александра Проханова читайте на стр. 85—98.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

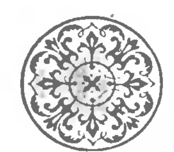
ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№5 • 1990

ИПО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание



Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректоры З. С. Гуляевская, М. И. Кононова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-23-88 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем).

Сдано в набор 12.02.90. Подписано к печати 18.04.90. А-06367.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 22,11. Тираж 490 023 экз. Заказ 442.

ИПО «Литературная газета». 103750, Москва, Цветной бульвар, 30. Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда», 123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



Депутатская трибуна

У НАС ХВАТИТ ВОЛИ...

Диалог первого секретаря Ленинградского областного и городского комитетов КПСС Б. В. ГИДАСПОВА и заместителя главного редактора журнала «Наш современник» А. И. КАЗИНЦЕВА

А. К.: Первый по значимости вопрос — о защите экономической суверенности России. Как стало известно, в частности, из статьи сотрудника Госплана СССР В. Чепуренко, опубликованной в газете «Литературная Россия», наша республика теряет около 70 миллиардов рублей ежегодно на торговле с другими союзными республиками. Будет ли этому положен предел?

Б. Г.: Возможно, своим ответом я кого-то огорчу, но я убежден в том, что наш Союз, который (что бы там сейчас ни говорили) складывался тысячелетиями, мы должны сохранить. В этом Союзе Россия всегда была тем цементирующим раствором, который удерживает это уникальное многообразие наций, укладов, традиций в едином целом. Об этом мы должны постоянно помнить. И в Уставе и в Программе будущей Компартии России должны быть пункты, подчеркивающие эту объединительную миссию. Что же касается ущемления прав, то здесь необходимо, чтобы переход республик на новые формы экономического суверенитета происходил на строго паритетных принципах.

А. К.: Очень хотелось бы надеяться, что одним из мощных центров консолидации патриотических сил сейчас является Российское Бюро ЦК КПСС. Вы занимаете в нем высокий пост. Каковы реальные перспективы и сроки создания Коммунистической партии России?

Б. Г.: Инициатива создания Компартии РСФСР родилась в низовых парторганизациях и нашла полную поддержку в верхних структурах партийной власти. Инициатива эта настолько серьезна, что остановить ее практически невозможно. И ведущая роль пока принадлежит нашей, Ленинградской парторганизации. И в дальнейшем у нас хватит воли, целеустремленности и решительности для того, чтобы взять на себя неизбежные материальные и моральные издержки при создании Компартии России.

Вопрос о сроках сложнее. Ясно, что это не тот случай, когда нужно спешить, ибо важно, чтобы Российская компартия стала все же объединяющей, а не еще одной сепаратистской силой. Необходимо время для подготовки Программы и Устава партии. Думаю, что разумный срок Учредительной конференции — до XXVIII съезда КПСС, с тем чтобы на этот съезд мы пришли уже организационно оформленными.

А. К.: Разделяете ли Вы заученное нами со студенческой скамьи

мнение Ленина о том, что пресса — не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор? Если да, то как коммунисты используют силу этого организатора?

Б. Г.: Наше общество находится сейчас в состоянии брожения, и пресса в основном объективно отражает многообразие концепций, точек зрения, свойственных нынешнему состоянию общества. С другой стороны, в средствах массовой информации действуют отдельные журналисты, которые сознательно формируют у аудитории определенные стереотипы, идут на явную ложь ради преследования своих, сугубо политических целей. Но даже в таких случаях командовать прессой нельзя — это уже вчерашний день и поэтому политически совершенно безнадежное дело. Есть ли третий путь? Для меня он совершенно очевиден: самому присутствовать на страницах газет и на экранах телевизоров. Это мое неотъемлемое право — пропагандировать свою точку зрения. Надо уметь им пользоваться, ибо, повторяю, стучать кулаком по столу — дело заведомо проигранное.

А. К.: Но ведь сегодня в шумных декларациях средств массовой информации явственно различим стук другого «кулака». Нетрудно понять, что за развернувшейся сейчас в прессе активной, если не сказать яростной, кампанией по защите прав частной собственности стоит теневая экономика с ее многомиллиардным капиталом.

Б. Г.: Что делать — любая общественная или экономическая сила всегда тайным или явным путем проникает в средства массовой информации. Методы борьбы здесь те же: заполнять страницы газет и журналов объективными статьями, разоблачающими истинные цели, стоящие за теми или иными лозунгами. Да такая борьба и происходит сейчас в печати. Огорчает скорее другое. За потоком острой критики и взаиморазоблачений печать наша (как «правая», так и «левая») совершенно забыла о созидательных задачах: никто не хочет показывать и распространять положительный опыт, пропагандировать радость честного труда. Говоришь об этом, а в ответ — это уже было, об этом у нас семьдесят лет писали...

А. К.: На мой взгляд, печально вот что: не только о положительном опыте, но и о проблемах своих простой рабочий, труженик не может рассказать с экрана телевизора либо со страниц газеты. Так же, как не мог он сказать об этом в годы так порицаемого ныне застоя. Тогда пресса была рупором мнений функционеров, сегодня — профессиональных журналистов и политиков. А «средний человек», его проблемы и беды «выносятся за скобки».

Б. Г.: Я не могу вполне с Вами согласиться. Возьмем частный пример. Если, допустим, у арендатора возникают проблемы — его охотно публикуют. Но если же у него все идет нормально и он просто хочет поделиться опытом — на это журналисты идут куда менее охотно.

А. К.: На предвыборных митингах в феврале вовсю раздавались призывы штурмовать Лубянку, брать Кремль и т. д. Такие митинги дают обильную почву для слухов о готовящемся в ближайшее время лево-радикальном государственном перевороте в стране. Каковы, на Ваш взгляд, реальные перспективы такой возможности и почему партия определенно не высказывается по этому поводу?

Б. Г.: Думаю, что партия достаточно ясно выразилась на этот счет в опубликованной Платформе ЦК КПСС. Единственный, на мой взгляд, крупный недостаток этой платформы — в отсутствии механизма, с помощью которого можно было бы реализовать эти положения.

Что же касается слухов, то здесь достаточно, наверное, обратиться к истории. В переломные эпохи всегда появляются граф Калиостро, Григорий Распутин, какие-то фантомы, с которыми приходится бороться,— это неизбежно. Если есть непримиримо противостоящие силы в обществе, неизбежно и с их стороны преувеличение возможностей друг друга, иногда до фантастических размеров.

Лично я думаю, что опасность государственного переворота сегодня относительно маловероятна, хотя и вполне реальна. Как любили говорить у нас в недалеком прошлом: необходимо сохранять бдительность.

А. К.: Самые популярные сегодня фигуры в партии Борис Ельцин и Борис Гидаспов. Интересно было бы услышать Ваше мнение о Вашем тезке.

Б. Г.: Скажу лишь, что в отличие от меня Б. Н. Ельцин профессиональный политик. Я же себя таковым не считаю, так как большую часть жизни занимался научной работой. На этом я вынужден поставить точку: дело в том, что я — председатель мандатной комиссии Съезда народных депутатов. «По долгу службы» я вынужден читать письма к депутатам, разного рода жалобы и т. д. То есть знаю о депутатах довольно много. И когда меня просят высказать о ком-то из них мнение, я всегда отказываюсь из моральных соображений.

А. К.: Ваше политическое кредо?

Б. Г.: Я всегда и везде говорил одно: своей главной задачей на посту первого секретаря я считаю обеспечение порядка и безопасности граждан города и области. Любые митинги, демонстрации, другие политические акции будут решительно пресекаться, как только они повлекут за собой угрозу хотя бы для одной жизни. Ну и, конечно, реализация экономической реформы в области.

А. К.: Борис Вениаминович, в известном телеинтервью заместитель Председателя Совета Министров СССР Л. И. Абалкин высказался в том смысле, что русский народ ленив от своей природы...

Б. Г.: Категорически не согласен с подобными утверждениями. Готов спорить с уважаемым мною экономистом, как говорится, на любом уровне. Русская история говорит сама за себя: это история великого народа, много раз поднимавшего свое Отечество из руин ценой нечеловеческих усилий. Определение «ленивый» прямо оскорбляет его достоинство.

А. К.: И последний вопрос. Ваше отношение к журналу «Наш современник», к его авторам — прежде всего нашим всемирно известным писателям и к нашим читателям.

Б. Г.: В высшей степени уважительное. Белов, Распутин и Астафьев — живые классики, хранители той традиции, на которой зиждилась великая русская литература прошлого века. И я, повторяю, с огромным уважением отношусь к творчеству и общественной деятельности этих писателей, равно как и к программе вашего журнала в целом.

А. К.: Спасибо, Борис Вениаминович.

Б. Г.: В заключение мне хотелось бы поздравить всех ветеранов войны — и не только их, а просто всех читателей журнала с великим праздником — Днем Победы. К сожалению, мы как-то забываем в последнее время об огромной значимости этой даты...

Записал А. ПИСАРЕВ.

О т р е д а к ц и и: 21—22 апреля в Ленинграде по призыву рабочих коллективов заводов «Арсенал» и «Северная верфь» состоялся инициативный съезд коммунистов России, на котором решено было образовать Российскую коммунистическую партию до проведения XXVIII съезда КПСС, а не после него, как сообщила газета «Правда».



ПОЭЗИЯ

ВИКТОР КОЧЕТКОВ



ВСПОМИНАЙТЕ СЕБЯ

* * *

Беда в дверях, а мы все спорим,
тряся друг друга за чубы:
что называть народным горем
и что издержками борьбы.

На стороне виновных ищем,
полмира отнеся к врагам,
цитатой, словно кнутовищем,
бьем оппонентов по мозгам.

О, эта русская манера —
сперва хвалить, потом ругать,
и недоверие, и веру
в один и тот же воз впрягать.

Суют нам, усмиряя ропот,
как бабка внучке леденец,
венгерский опыт, шведский опыт,
китайский, на худой конец!

И чтоб негаданно не замер
«процесс великих перемен»,
на помощь едет мистер Хаммер,
американский бизнесмен.

Он отсыпает две крупицы
из золотой своей горсти,
чтоб эти русские тупицы
не сбились с верного пути.

Уж и японский опыт спрошен —
хвала токийским мудрецам! —
и лишь российский опыт брошен
на осмеяние глумцам.

Перенимать чужое пылки,
за тридевять земель летим.
Когда ж свое-то мы из ссылки,
из долгой ссылки возвратим?

КОЧЕТКОВ Виктор Иванович (год рождения 1923) принадлежит к поэтам фронтового поколения. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 219-й стрелковой дивизии. Под селом Шляховая Харьковской области тяжело контуженным попал в немецкий плен. В августе 1943 года бежал, перешел линию фронта. Впоследствии в должности командира маршевой роты освобождал Полтавскую, Днепропетровскую, Кировоградскую области Украины и северные районы Молдавии. Завершил свой боевой путь в составе Прибалтийского фронта в районе Тунумса — Лиепая.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями.

Первую книгу стихотворений «Солдаты мира» выпустил в Кишиневе в 1950 году. Автор более десяти поэтических книг и книги прозы. Много переводил с языков народов РСФСР. За переводческую работу удостоен звания «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР».

Член Союза писателей.

Лесная старина

Стекольный заводик времен Петра,
железный заводик времен
Александра.
Старинная церковь давно без шатра,
притвор из березы под цвет
палисандра.

Ввинчивается, словно бурав, река
в деревянные переулки.
Скверик в зарослях ивняка.
Каланча допетровской еще
караулки.

Как ненавидел я старину
этой закамской лесной глухомани.
Отсюда я уходил на войну
с комсомольским билетом
в кармане.

Я верил: былое должно умирать,
лишь новизну хотел привечать я.
Против старого
доводов целая рать
выстраивалась тогдашней печатью.

Но вот после долгой и горькой
войны,
после стольких послевоенных
кочевий
я опять среди этой лесной старины,
возле древних дубов и столетних
качелей.

Ввинчивается, словно бурав, река
в деревянные переулки.
Скверик в зарослях ивняка,
каланча допетровской еще
караулки.

Дивлюсь несдающимся древним
векам,
их мужественному покою,
а ветер порывистый бьет по щекам
крутой материнской рукою.

□ □ □

* * *

«На все есть цены» —
главное их кредо.
Они теперь не устают твердить:
«Таких затрат не стоила Победа.
Могли бы экономней победить».

Когда б наш предок,
мудрость их осиля,
прислушался к советчикам таким,
мы были б не великою Россией,
а экономным княжеством Тверским.

Весенняя дорога

Еду ранней, холодной весной
по дороге ухабистой, талой,
по земле безнадежно больной,
по стране бесконечно усталой.

Даль пустынна. Кругом ни души.
Лишь густеет тумана завеса.
Еле дышат в рассветной тиши
силикозные легкие леса.

И родник под угрюмой сосной,
из-под наледи выскочив шало,
пестицидной, змеиной слюной
исплевал все кусты краснотала.

Вся в каких-то объедках поветь,
будто хищники тут пировали.
Не успеет пикак доржаветь
полуброшенный трактор в увале.

Запустенье. Кричи не кричи —
у безмолвия нету ответа.
Куст рябины, как пламя свечи,
чуть колеблется ветром рассвета.

О, родная моя сторона,
что ж такое случилось с тобою?
Два еще не погасших окна
в поднебесье глядят голубое.

Здесь чиновники правили бал,
о счастливом грядущем радея.
Гнул один, а другой догибал,
все во имя «великой идеи».

Сколько бед пережил ты, мужик,
но любителям острого — мало.
Перестройщик челночный брюзжит:
«Лежебока, ленивец, коала».

Ты сегодня, моя сторона,
в малокровных устах блудодея
не спасительница, а вина,
не воительница, а Вандея.

Все до крошки другим отдала,
и никто не услышал роптанья.
На бесхлебье, безмясье прошла
не одно и не два испытанья.

После стольких великих потерь
поумнели твои упованья.
И на все-то ты смотришь теперь
без восторга и очарованья.

Невеселые дни впереди.
Где там прячется светлая дата?
И былое, как пуля в груди
у пришедшего с фронта солдата.

Вспоминайте!

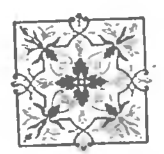
Россияне, соотчичи,
скорее себя вспоминайте.
Все победы и беды
далеких и близких веков.
Есть нам что вспоминать.
Мы Отечество строили, знаете,
больше тысячи лет,
до пришествия большевиков.

Вспоминайте себя,
богатырские сказы и были.
Согревайте сознание
памятью отчей земли.
Ведь не все еще корни
садовники счастья срубили,
ведь не все еще храмы
строители счастья снесли.

Пусть живое былое
оплетет омертвевшие души,
как седые руины
оплетает живая лоза.
Прочищайте скорее
пустословьем забитые уши,
разувайте смелее глаза.

Годы мирные вспоминайте
и годы лихие,
когда горе стояло,
как нищенка у дверей.
Мы без нашего прошлого
стали игрушкой стихии,
бурей сорванные с якорей.

Есть в запасе у жизни
и надежда, и вера, и сила.
Только надо очнуться
и снова себя обрести.
Безответность российская,
ты уже башмаки износила,
вспоминайте себя,
чтоб в грядущее смело идти!





ПРОЗА

СЕРГЕЙ МИХЕЕНКОВ



ПРЕЧИСТОЕ ПОЛЕ

ПОВЕСТЬ

Пуля пролетела, назад не воротится.
Русская народная пословица

Глава первая
ПЕРВЫЙ СОЛДАТ

Душным июньским вечером, еще не улеглась в селе Пречистое Поле пыль от коровьего стада, прошедшего по давно не мытой дождями дороге, в поле, на самой его горбовине, увидели идущего большаком человека. Человек тот, как видно, шел издалека, может, от самой станции Новоалександровской, а то и подальше откуда,— походка у него была тяжелой, будто нес он на своих плечах непомерный груз не одной дороги. Так-то оно и было, но поначалу этой особенности никто из пречистопольцев, даже самых внимательных и памятливых, не разглядел; человек и человек, идет себе своей дорогой, мало ли тут прохожих. Но когда тот сошел с большака на выгон и остановился около гонявшей мяч ребятни, бабы, доившие возле крайних изб своих коров, посмотрели на путника с тревогой, которую и сами себе не могли

МИХЕЕНКОВ Сергей Егорович родился в 1955 году в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Служил в армии. Работал механизатором, учителем в сельской школе, журналистом. Окончил филологический факультет Калужского педагогического института и Высшие литературные курсы СП СССР. Автор книг «Первые венцы», «Прощания в Арпылях», «Родные и близкие», «Варвара — сестра милосердная», повестей «Ожидание ливня» «Ночь расставаний», опубликованных в московских журналах. Член СП СССР. Живет в Тарусе на Оке.

объяснить, и это разволновало их привыкшие к покою размеренно и однообразно текущих дней сердца еще сильнее, и подумали: «Господи, да ведь это солдат какой-то, и с ружьем вон даже...» Они оставили подойники и разглядели, что и одежда на нем какая-то чудная и сильно поношенная: старопокройная гимнастерка с накладными карманами, такие нынче уже и забыли, шинель в скатке через плечо, ботинки, обмотки. Бабы наспех выдоили коров, заметив между прочим, но как-то рассеянно и без особой озабоченности, никак пока что не связывая это обстоятельство с приходом в село незнакомца в солдатской одежде, что молока они дали сегодня меньше, чем обычно, проводили их в хлева, нашлепывая ладонями по бокам и мосластым крестцам, и молча, кто присев на крыльцо, кто опершись на штакетник, кто затаившись под ветлой, стали ждать, куда же солдат пойдет дальше. Словом, бабы есть бабы, племя прелюбопытное, притаились — авось что и высидишь, благо все дневные дела уже, кажись, переделаны, сверху не каплет и снизу не пылит, а тут, глядишь, будет о чем языком попеть.

А солдат постоял возле игравших в футбол мальчишек, раза два поддал шарахавшийся к нему под ноги мокрый от росы мяч, что привело в невообразимый восторг играющих, спросил у них что-то, посмотрел на пречистопольские дворы, посмотрел пристально и не раз, поправил на русой голове пилотку, выгоревшую до такой степени, что в сумерках она казалась белой, как дорога, и пошел не по улице, а мимо крайних бань, понизу, как пришлый ни за что не пошел бы, перебрался через ручей и скрылся в ольшанике.

— Да кто ж это такой? — окликнула одна молодка другую.

— А я тоже не узнала. Прошел... Чужой вроде,— ответила та, кутаясь в короткую шерстяную кофту.— Молодой. Или мне это показалось. И одет в военное.

— Э-э, девки, да что ж вы-то не разглядели, у вас же глаза моложе моих,— подойдя к молодкам, сказала третья, по голосу старуха, и высморкалась в передник.

Те все еще смотрели за ручей, куда уходила тропинка, соединявшая одну часть деревни с другой, прозванной когда-то Михалищами. Потому что жили там, как на выселках, одни Михалищины. Теперь дворов в Михалищах стало меньше — всего шесть. Да и в тех шести живут уже не одни Михалищины.

— Нет, девки, чужой так-то по нижней стежке не пошел бы. Чужой бы по дороге пошел. Это вы когой-то из своих не признали.

Та из молодок, которая начала разговор и вокруг которой начали собираться остальные, окликнула сына. Прибежал тот не сразу, запыхавшийся, недовольный; она его сперва выбранила, но бранила не зло, а так, по привычке, и как бы между прочим спросила, кто это к ним подходил давеча и о чем расспрашивал.

— Солдат какой-то,— ответил мальчик. Говорил он торопливо, сбивчиво, и то и дело поглядывал на своих товарищей, гоняющих мяч по набрякшему росой выгону.— Спросил, жива ли Павла Михалищина. Мы сказали, что жива, что живет в Михалищах, за ручьем. Тогда он сказал нам спасибо и пошел. У него винтовка была. Видели? Ма, а зачем ему винтовка?

— Погоди. Так и спросил, жива ли Павла? — переспросила мальчонку старуха.

— Ага, так и спросил,— подтвердил тот торопливо,— жива ли, говорит, Павла Михалищина? А что?

— Ничего. Стежку на Михалищи вы ему указали?

— Ничего мы ему не указывали. Когда он спросил про бабку Павлу, мы сказали, что туда надо, за ручей. Хотели Митьку послать, чтоб дорогу показал, все равно плохо играет, два раза его уже прогоняли с поля, а он опять напрашивается. Только солдат нам сказал, что провожать не надо, сам, говорит, знаю. Мам, а мам, ну я побегу? А?

Они отпустили мальчонку, тот, шумя мокрыми от росы штанинами,

отстрельнул обратно на выгон, в ребячью гущу. И старуха, прижав ко рту смуглую увядшую ладонь, сказала:

— Девки... Ой, девки! Я ж, милыи, кажись, признала его.

Ее обступили еще плотнее и молча ждали. Ждали терпеливо, а может, просто боялись лишнего и неверного слова.

— Я как глянула, так, девки,— и походка его, и ростом такой-то, и плечами так вот поводит, когда задумавшись... Ага, милыи, точно он. Он! Да только как же это?..— старуха обвела всех растерянным взглядом, должно быть, соображая, не сбрендила ли она часом с умного порядка, но причин тому не нашла и тут же поправилась, подобрала губы и оглянулась в сторону михалищинской стежки, которую здесь звали нижней.

— Ну? Кто? Ты ж, баб Шур, скажи хоть, кто? А то наговорила, наплела...

— Наплела... Я-то не наплела. Григорий это.

— Какой такой Григорий?

— Гриша Михалищин, Пашин мужик. Вот кто.

— Муж бабкин Павлин, что ли?

— То-то и дело, что он самый и есть.

Молчание густело, как темень. А когда заговорили, то говорили тихо.

— Какой, баб Шур, Григорий? Ну что ты такое говоришь?

— Да вы его и знать-то не знаете.

— Как же так, не знаем? Если наш, пречистопольский... Мы ж тут, баб Шур, всю жизнь никак живем.

— Всю жизнь... А велика ли ваша жизнь? Он, Григорий-то, во-он еще когда на войну ушел. Откуда ж вам знать его? — старуха вздохнула, подобрала под груди беспокойные руки, покачала головой.— Все они тогда на войну пошли. А вы что... Вы ж, девки, во-он уже когда родились, вас уже после войны бабы в пеленки нашвыряли.

— Баб Шур, ну что ты такое плетешь? Она ж, бабка Павла, с войны вдова. И муж ее, я не знаю, как его звали...

— Григорий,— подсказала старуха.

— Ну, Григорий. Но он погиб. На прошлой неделе Степан Петрович посылал меня еще всех вдов солдатских переписывать. Я и к бабке Павле заходила. Она сама сказала...

— И правда, погибший он у нее,— подтвердила старухину неправоту другая из молодых.— На обелиске вон имя его значится. А этот же, который пришел, молодой совсем. Похож, может, баб Шур? В форме, в пилотке. Вот и обозналась?

— Да то-то и оно-то, что вы на все поглядели, да всего-то и не увидали. Форма у него какая? А, во... Форма-то нынче у солдат другая. Я хоть и старая, а знаю. А этот — в ботинках, в обмотках.

— Ой, ну хватит вам языками молоть. Вот как возьмутся за что... А ты, баб Шур, хоть бы думала, что говоришь,— молодой голос был громким, неуместно громким, и, наверное, оттого на говорившую тут же зашикали, остепенили.

Кто-то вздохнул, и тут же завздыхали, заохали остальные. А молодка, минуту назад громко возражавшая бабке Шуре, недоверчиво и с некоторой даже обидой взглянула на старуху, подняла с земли ведро, в котором, шурша, еще оседала теплая молочная пена, и сказала тем же громким голосом:

— Ой, и наслушаешься тут с вами. Может, тут где поблизости учения проходят, вот и отстал солдат. А мы уже — Григорий какой-то к бабке Павле вернулся. Охохонюшки-и! И чего только не наплетут люди! Вот так и нам с Васей запрошлым летом так-то вот тоже чужой грех приклепали — будто сено колхозное мы с заливного луга увезли. А все вот так: сама не видала, а другому передала, а та уж по-своему переврала,— и зевнула, прикрыв ладонью рот, и пошла к дому.

— То-то ж все так: пришел ввечеру, а вышел поутру — скажут, что ночевал,— укололи ее вслед.

Погодя другие тоже стали расходиться.

И только три старухи долго молча стояли поодаль на краю выгона и смотрели в сомкнувшуюся темноту, откуда, еще минуту назад ее видать было, приходила в Пречистое Поле белая, как выгоревшая солдатская пилотка, дорога, так обманувшая их однажды в год всеобщего возвращения. А потом одна, упрекнув молодых, сказала:

— Что и говорить, нынче народ хуже прошлогоднего. Куда хуже!

А другая пожамкала сухими, как осенние листья, губами, прокашлялась с трудом, уж и на это, видать, сил не хватало, сказала:

— И не говори, подруг. Они ж теперича все нас, стариков, хают. И хают, и хают. А посмотрели б они, как мы после войны в плуги да в бороны впрягались, да с утра до ночи... всюё, бывало ж, упрёжку...— и плечи посотрешь, и жилушки все повытянешь. Теперича про это и не вспоминают. Будто и не было. Будто сразу на тракторах поехали.

— Потому и не вспоминают, что хлебушек тот давно съеден. Я вот всю жизнь в колхозе отвалтузила, руки на ферме стратила, а пошла надысь к председателю, так он, дьявол, страмить меня наладился. С севом, кричит, не справляемся, сроки затянули, а ты, бабка, со своим огородом.

— И-и, Хведоровна, это ж ты из-за этого городского хлюста ноньча огород не посадила?

— Из-за него, окаянного. Так и бросила земелюшку. Сколь осилила лопатой вскопать, столько и посадила. А меньше половины. То-то лебеда возрадовалась, то-то лютует, ненасытная. На лето, видать, и Ночу свою на Новоалександровскую сведу. Он же, дьявол, то тихай-тихай, а то благой сразу делается, ажно лицом полотнеет. Гляди, и сена к восени не даст.

— И правду, подруг, и правду. Гляжу я на ожисть нашу нонешнюю... А горе... Председатель на работу в рубахах белых ходит, да при галстуках, да все это расчесочкой волоса поправляет. Как все одно на концерте где.

— Молодой.

— А и что как молодой. Были у нас и помоложе его хозяева. Помнишь, Дементий Прохоренков какой молодой был? Куда моложе этого.

— Моложе, моложе, Хведоровна. А этот-то молчит, глаза хоронит, как все одно больной какой, то рычит, прямо кобелем на народ кидается. Раньше, при других председателях, разве ж было такое?

— Э-э, раньше и похужей было.

— Было-то было, а стариков все ж таки почитали. Эх, возвернулись бы наши мужики, они б с него, с черта благого, спросили.

— Да он, председатель, что, он и не правит колхозом. Разве ж он тут хозяин? Тут Осипок со своей дочкой всеми делами заправляет. Всё они, Осипки, у нас тут и вершат.

— А правду, правду ты, подруг, гомонишь. Осипок тут теперича опять силу забрал.

— Вот я и говорю, пришли бы наши мужики...

А третья, говорившая меньше всех, утирая скомканным платочком слезящиеся и, видать, плохо видевшие глаза, не утерпела и за всех, потому как все трое думали об одном и том же, сказала:

— А надо б, девки, завтрева к Павле зайтить...

И ей в ответ согласно закивали головами и замолчали надолго.

Вечер опускался густой, душный. Слышно было, как летала, искала глупую беззащитную мошку летучая мышь да невдалеке где-то дзынкала то так, то этак о стенку подойника тугая молочная струя. Такие вечера как божья благодать...

Солдат перешел через ручей и немного поодаль, в ольхах, откуда его не видать было ни с деревенской улицы, ни от Михалищей, остановился. Постоял, огляделся, раздвинул пахучие кусты бузины и шагнул по болотине куда-то в сторону от сырой, но все же натоптанной и верной стежки, которую, по всему видно, стали уже забывать. Вскоре вернулся, но не на стежку, а взял на этот раз немного правее своего следа. Наконец он нашел то, что искал. Это был родник. Свежий глаз его и не приметил бы, заплывший, заросший ржавой, неживой болотной паутиной.

«А когда-то сюда стежка была, досточки каждую весну укладывали, не жалели»,— подумал солдат и снял пилотку. Теперь она казалась совсем белой. Солдат смахнул паутину, зачерпнул краем пилотки родниковой воды и не спеша, отдыхая несколько раз, напился. «Некуда теперь спешить,— сказал он сам себе, напившись и вытерев пахнущей потом пилоткой губы и подбородок.— Теперь уже пришел».

Он попытался определить, где была та стежка, которую они когда-то так берегли. Обошел кругом раз, потом сделал круг пошире, но стежки так и не нашел, а только в одном месте оступился и едва не провалился в бочажину. Припомнилось, что перед самой войной надумал вымостить стежку, чтобы ходила Павла по болоту, как по большаку, чтобы как барыня по лежневке ходила, чтобы не только подол сарафана, а и ног не намочила. Наколол осиновых плашек, окорил их и начал уже укладывать, да покос все дела перебил. Покос — дело такое, не отложишь, не погодишь. Трава поднялась, залоснилась, а стало быть, что ж, пора ее, матушку, в ряды, да под грабли, да в возы и — домой. Старики еще говаривали, что в покос и о жене забудь. А травы в тот год рано созрели. И покос начали хорошо, лучше и не надо.

Вздохнул солдат, вздохнул потому, что вспомнил: накосить-то он тогда успел, а вот в возы сложить да домой привезти... «Ничего я не успел сделать,— подумал солдат,— ни стежку к ключу вымостить, ни сена для коровы накосить. Все она, война, перебила, все по своему уставу перекорежила. Ни детей не оставил я Павле, да и на родной земле, так выходит, никакого семени живого не заронил. Вот и не видать всходов. Откуда они возьмутся, всходы, раз так сложилось все? Одно запустение вокруг. Запустение, бесприютность». Солдат вздохнул. Не понравился ему неказистый вид родного села. Хоть и сумерки уже сползли на Пречистое Поле, а все равно еще с выгона видать было, что не больно-то радели сельчане о своих домах, о дворах и окрестностях. Не понравилось ему уже то, что так немилосердно исхлестан тракторными колеями выгон, так что даже и ребятне стало негде мячик погонять, что упала старая липа и лежит себе неприбранная, догнивает, трухлявеет на обочине.

«Что ж я скажу Павле?» — вслух подумал солдат.

Он вышел из ольшаника, под ногами захрустел крупный сухой песок, теплый, даже через подошвы ботинок чувствовалось, что теплый. Истрепал солдат свои ботинки, вон сколько протопать в них пришлось. В один край только с тысячу верст наберется. А теперь вон и на обратном пути потрудиться привелось. Подошвы совсем истончились, каждый камешек, каждый комочек нога чувствует. Не уберег он ботинки от долгих дорог. Себя — от пули. Павлу — от одиночества. Ничего он не уберег в прошлой своей, такой нескладной, как оказалось, жизни.

«Да уж так,— сказал опять солдат,— что нечего мне будет сказать Павле. А то еще и напугаю. Коли ждала, не напугается. Узнает, коли ждала. Ну, а коли не ждала, коли оприютила кого солдатка безутешная, то что ж, не я ей судья. Жизнь вон какая долгая прошла. Дольше дорог моих. Куда как дольше. И нелегкая, видать, жизнь была».

Впереди забелела крыша приземистого дома. Солдат заспешил, сглотнул слюну, но в горле сдавило, и он сделал усилие, чтобы не перехватило совсем, раза два споткнулся и вдруг увидел, что это у него

обмотка распустилась, болтается и он уже наступает на нее. «Ах ты, мать честная»,— подумал солдат, снял с плеча винтовку, приставил ее к тыну и нагнулся, чтобы поправить обмотку. Сделав все как надо, встал, огляделся, поправил гимнастерку, вылезшую из-под ремня, и сказал себе: «Вот так оно будет ладно. А то пришел бы...» Он подхватил за брезентовый, изрядно потрепанный ремень винтовку и привычно закинул ее за плечо.

Солдат подошел к своему дому. Уже совсем смеркалось. «А может,— сокрушенно подумал он, пристально вглядываясь в освещенные окна, где была малая горница,— может, там уже другой кто хозяйствует с Павлой моей?» Солдат снова остановился, ноги отяжелели, словно вся усталость минувших дорог собралась сейчас, навалилась разом и подкосила их. И все же тяжесть эта была иной. «Нельзя сразу туда, надо передохнуть»,— подумал он и привалился плечом к тыну. Он почувствовал, как слабо хрустнула под локтем гнилая тынина. Пощупал — и вправду гнилая. Как та липа на выгоне. Солдат поднял голову, пригляделся и увидел, что тын, которым был обнесен огород, ветхий настолько, что, кажется, вот шатни его посильнее — и повалится в бурьян да крапиву, которые, видать, давно здесь обжились с той и с другой стороны. Не будь этой дурнины, он, может, и завалился бы давно. В некоторых местах в тыну чернели проломы, кое-как загороженные корявыми яблоневыми сушинами. «Тын плохой, облога не обкошена, крапивой вон заросла да чернобыльником, видно, Павла одна век векует»,— вздохнул солдат. Он подобрал сломанную тынину и приладил ее наспех, загнув затыльником приклада ржавые гвозди, нарубленные, как видно, из проволоки. Но она не загородила прорехи, и тогда он начал искать, нет ли рядом другой тынины или чего-нибудь подходящего, чем можно было хотя бы мало-мальски поправить худую загородку.

«Да, Павла, осиротил я тебя. Видишь, как оно вышло,— подумал солдат,— осиротил. Знато б было, что в то лето война с немцем начнется, так и свадьбы б не затевали.— И вздохнул в который уж рвз, и возразил вдруг сам себе: — Так это ж если б знато было». И уже у самого крыльца остановил себя внезапной мыслью: так ведь как же, он хоть и объявлял, что не нападет, хоть и заключили мы с ним в тридцать девятом договор о ненападении, а все равно ясно было, что схватки с ним не миновать. С нами договаривался, а Европу к рукам прибирал. И готовились вроде, что-то запасали, что-то создавали, танки новые сделали, хорошие танки, самолеты, автоматы, а как началось, куда только все подевалось. Будто и вправду что врасплох застал нас немец и начал одолевать по всем фронтам. Нам говорили, что сила у нас несметная, что воевать, коли придется, будем не на своей, а на чужой территории, что своей — ни пяди, что есть все, что надо, и если навалимся всем народом... Только у него силы больше оказалось. И силы, и оружия, и хитрости. Сила силу ломит. Вот и повоевали на чужой территории — все поля он нам повытоптал, до самой Москвы, танками да бронетранспортерами. «Выходит, что хреново готовились, раз так вышло, раз полнарода под его иго подпустили»,— успел додумать солдат, прежде чем вступить на родное крыльцо.

В крайних окнах, занавешенных белыми шторками, закрывавшими их лишь на три четверти, по-прежнему горел свет. Солдат затаил дыхание, прислушался. В какое-то мгновение ему показалось, что там, в глубине дома, кто-то вздохнул, но потом понял, что это ему поблазнилось. И только когда взялся за дверную цепку, не найдя ручки, и толкнул дверь, которая оказалась не запертой изнутри, подумал, что ведь это могли вздохнуть и стены, тоже истосковавшиеся по нем: «А как же, тут каждое бревнышко моими руками выглажено, каждый сучок затесан и заструган, будто зацелован, каждый сантиметр мохом проложен да по пазам доброй паклей проконопачен».

В сенцах было прохладнее, чем на улице. Пахло молоком и чем-то кислым, застоялым, давнишним. Так пахло здесь всегда. Солдат вдохнул эти запахи и почувствовал, как в груди у него, вверху, под самым горлом, забилось, затрепетало, и стало трудно дышать. «Что ж это я,— спохватился он, расстегивая верхнюю пуговицу гимнастерки,— плачу, что ли?» Потрогал щеки. Щеки были мокры, а пальцы дрожали. «Надо было сперва постучать,— подумал он,— там, в крайнее окно, где свет горит».

— Кто тут? — послышалось вдруг из глубины сенцев, где была дверь в дом.

— Павла? Это я, Павла,— ответил солдат и оперся рукой на гладкие бревна стены.

— Кто?

— Я, Григорий.

— Какой Григорий?

— Григорий, муж твой,— вздохнул, сглотнув затвердевший в горле и мешавший говорить комок.— Погибший.

— Гриша? Гриша, ты?

— Я, Павла.

Отворилась дверь, желтый свет ударил в лицо солдату, и та, что стояла в тени, в дальнем конце сенцев, увидела усталое молодое лицо. Некоторое время они стояли так, друг против друга, и молчали.

— Неужто и вправду ты, Гриша?

— Я, Павла. Ты только не пугайся.

— Что ж мне, Гриша, тебя пугаться.

— Да, правда...— он не договорил, шагнул навстречу, она тоже, и обнялись крепко и долго.

— Пришел-таки, Гриша... Знала, что рано или поздно, а придешь, — шептала Павла, оглаживая белесую, пахнущую потом здорового молодого тела гимнастерку на груди и плечах Григория.

— А я думал, приду, испугаю тебя. В дом не пустишь на ночь глядя.

— Да что же. Нешто я тебя не ждала?

Они вошли в дом. Григорий снял шинельную скатку, положил ее на лавку у окна, рядом, стволом к подоконнику, приставил винтовку и сел сам. Павла поправила платок, сбившийся назад и открывший опрятную седину ее когда-то темно-русых, почти таких же, как и у него, волос, и села у стены напротив. Так долго сидели они и глядели друг на друга. И верно, и того дольше сидели бы так, да вдруг мигнул раз-другой свет и погас вовсе.

— Знать, где-то опять струны порвались,— спохватилась Павла.— Давеча так-то вот тоже, потемну, Костик на тракторе на столб наехал. А нынче, гляди, не иначе как опять кто-нибудь из трактористов напился. Запивает народ, ох как, Гриша, запивает. Избаловался. Нехорошо это. Теперя до завтрева света не дадут. Да что же я сижу-то!

Павла сходила в другую половину, принесла огарок толстой парафиновой свечи в глиняной плошке с отколотым краем. Григорий вспомнил эту плошку, только раньше она была вроде целая и стояла всегда здесь, в малой горнице, на печном борове рядом с хапочком тонко наколотых еловых и березовых лучин для растопки. Он встал навстречу, взял из рук Павлы плошку и поставил ее на середину стола. Пламя свечи было ярким и длинным, оно освещало углы, белый бок русской печи, наполовину задернутый пестрой ситцевой шторкой, колыхало черные, отчетливо вырезанные тени на полу и на стенах.

— Сейчас я на стол соберу,— сказала Павла и ладонью торопливо смахнула со стола крошки и обрывки черных и белых ниток.— А ты, Гриша, посиди тут пока, отдохни. А то и прилег бы? Там, в другой половине? А? Дорога-то, видать, долгая была.

— Долгая,— скупо ответил Григорий, не сводя с нее пристального взгляда.

Он по-прежнему сидел на лавке у окна, положив руки на колени, и смотрел на Павлу. Павла чувствовала его взгляд постоянно, но оглянуться, ответить тем же не решалась. Ей сделалось вдруг страшно. «Как же это так,— думала она смятенно,— ведь он же убитый, и сам давеча сказал, что погибший... А вот пришел. Потому, сказал, и пришел так поздно... А может, это мне блазнит,— подумала она, выйдя в сенцы за творогом, подвешенным в марлечке над кастрюлей, куда стекала, капала редкими уже каплями сыворотка.— Может, в голове что стронулось с места? Сейчас, вот сейчас взойду в хату,— решила Павла,— и на образа перекрещусь. Если это только блазнит, то оно и пропадет, сгинет в сей же час. А если... Господи, да неужто и вправду он, он, Гриша, Гришенька, жалкий мой, двору пришел?»

Павла вошла, поставила на стол алюминиевую чашку с крутым творогом, отерла о передник руки, они дрожали, раньше не дрожали, а теперь задрожали, и, повернувшись к иконам, перекрестилась троекратно. Крестилась Павла размашисто, старательно, кажись, сроду так не крестилась. Она перекрестилась, но оглянуться на него не посмела; она и так знала, что он никуда не делся, не сгинул, что он тут, в доме, у окна. Как сидел, так и сидит. И амуниция его на прежнем месте. И ружье все так же к подоконнику приставлено. Как оставил он его, когда вошел, так оно и стоит. «Ну и слава тебе, господи»,— вздохнула Павла облегченно и принялась резать на белой дощечке хлеб. Теперь ей хотелось заговорить с ним. Просто сказать что-нибудь, чтобы не так лихо было на душе, а может, и голос его в ответ услышать. Но Павла не решилась. Да и что сказать ей было? То, что берегла все эти годы в себе, разве ж вот так, походя, выскажешь?

Вспомнила, что раньше, дожидаючи его наперекор похоронному извещению, разорвавшему ей сердце летом сорок четвертого года, думала, что вот придет он, ее Гришенька, перешагнет порог родимого дома и обнимутся они долгожданно и радостно, а потом долго будут сидеть и разговаривать, что он расскажет ей, как воевал, что повидать довелось, что перетерпеть, где побывать, на каких фронтах и в каких землях, а она расскажет ему о том, как жила без него все эти годы, как переживала оккупацию, как потом работала на Победу и — ждала, ждала, ждала, однажды бросив в печь спрятанную за божницей похоронку. «Жизнь прошла, а что в ней было,— подумала Павла.— Работала да ждала. Ждала да работала». Разом навалилось пережитое, перехватило грудь. Да, нелегко жилось ей. Ой, нелегко. И работалось трудно, вон какую разруху выдюжили, и ждалось несладко. Она подумала об этом и ни о чем не пожалела.

Но Григорий заговорил первым, будто почувствовал ее сомнение и нетерпение и шагнул встречь:

— Хлеб-то нынче, Павла, как, вольный?

— Вольный,— ответила торопливо Павла и взглянула на него светлыми, будто и не помнящими слез глазами.— Вольный у нас теперь хлебушек, Гриша. Государственный.

И вздохнула, и хотела было пожаловаться ему, что хлеб-то не очень, что пекут как попало, то кислый привезут, то пресный какой-то, то с гвоздем или тряпкой, а то и чего похуже запекут, но спохватилась, подумавши: вольный, да и ладно, что ж еще надо, ладно...

— Значит, свойский уже не ставите?

— Не ставим. Давно не ставим. Мы уж и забыли, как и пахнет он, свойский-то хлебушек,— сказала Павла и, присев на краешек лавки по другую сторону шинельной скатки, улыбнулась.

Теперь, когда все улеглось, она поняла, о т к у д а он пришел к ней, из к а к о г о далека вернулся.

— Добрый ты стол собрала,— сказал Григорий, кашлянул в кулак и потянул к себе за истрепанную лямку вещмешок.— Ну вот и я тут кое-что принес. Вроде как неприкосновенный запас. Да только ни к чему он мне теперь. Теперь что ж, теперь и прикоснуться можно.

Григорий выложил на стол длинные банки с американской тушенкой, сухари, несколько кусков сахару, завернутого в холстинковый косячок, небольшой кубик белого, по всему видать, доброго сала.

— Вот, Павла, посмотри — солдатский мой паек,— вздохнул он.— Нас там, на фронте, когда все в порядке, хорошо кормили. Особенно когда его, немца, уже туда, назад погнали. А вы-то тут как бедовали?

— А всяко,— в ответ вздохнула она.

Ужинали молча. Григорий изредка отрывался от тарелки и оглядывал стены, запущенные, с темной застарелой желтизной. Или это оттого, что свеча так тускло догорает? Он привыкал к родным стенам, ел неторопливо, хлеба откусывал понемногу, тщательно пережевывал и все следил, чтобы не уронить крошку.

А Павла смотрела на него и только приличия ради подбирала маленькой ложечкой творожку с краю тарелки. Ей нравилось, как неторопливо и обстоятельно ел Григорий. Он, вспомнила, все так делал — обстоятельно, хорошо и чтобы надолго хватило.

— А ты наливай, Гриша, наливай еще,— сказала она, трудно переживая молчание, потому что то, сгоревшее, как ей казалось, что хранила она всю жизнь, прожитую в одиночестве, стало окликать ее изнутри, и надо было как-то отзываться.

Распечатанная бутылка стояла посреди стола. Давеча, когда она выставила ее, вышел конфуз: Григорий взялся открывать, но не сумел сразу, а она засмеялась и подсказала, что теперь такие пробки делают чудные, что и не вот сообразишь. Он удивился, сказал, что ничего, хорошие пробки, как на солдатских фляжках, только слабые, металл тоненький, совсем как бумажка, и налил горькой в стаканы, сдвинутые друг к дружке вплотную. Они выпили, и Григорий, почувствовав, как водка желанно обожгла горло и пошла вовнутрь, и глядя на пеструю этикетку с надписью: «Russian Vodka», подумал почти с тоской о том, что вот прошли годы, а все тут, на родине, да и не только тут, а и по всей, должно быть, стране, другое пошло, незнакомое, что все тут, на родине, как бы уже и не родное, как бы отторгнутое, непоправимо и навсегда, от него, от тех миллионов, кто разделил его участь. Даже вот и водка другая, а уж этикетка... Пестрая — как девка с придурью... Все другое. Люди... И люди, наверное, тоже другие.

Он налил себе еще, Павла отказалась, замахала рукой, отодвинула свой стакан в сторону. Он выпил и понюхал ломоть хлеба. Хлеб был кисловатый, даже дух от него был с какой-то капустной кислинкой, хотя на вкус ничего, хороший хлеб. Едал, конечно, Григорий в своей жизни хлебушек и получше этого, он знал, как должен пахнуть настоящий, какой у него вкус, тоже помнил, но едал и похуже. Хлеб, он хоть всегда и везде — хлеб, а тоже разный бывает. Были у него и такие дни, и даже месяцы, когда его, хлеба, и вовсе не было. Никакого. Тогда он только грезился в коротких, шальных снах между работой войны, когда, кажется, и не сон вовсе одолевает измученное борьбой с ним тело, а морок какой-то. Потому и противиться ему было невозможно. Раз, под Вязьмой это было, в самом начале войны, на них, уже несколько месяцев бродивших в окружении по лесам, ночью напоролась немецкая разведка, и за несколько часов, а может, и минут, никто не знал, сколько времени они там орудовали в окопах, вырезали около взвода из соседней роты. Он в ту ночь тоже спал, положив на дно неглубокого окопа искусанную комарьем голову. Если бы разведка взяла чуть правее, то для него война кончилась бы еще тогда, под Вязьмой, в сорок первом. «Ничего,— думал он теперь, сидя за столом в своем доме,— хороший хлеб, главное, чтоб вдосталь его было, такого».

Свечной огарок вскоре выгорел, зашипел на дне плошки, будто туда капнули воды, вспыхнул напоследок ярко, затрепетал и погас. И снова сомкнулся над сидевшими в тихой горнице мрак.

— О-о,— спохватилась Павла,— а у меня ж и нету другого огня. Лампу берегла все, а потом уронила, стекло разбилось, я ее и от-

дала ребятам. Ездили по селу, железки собирали, я и отдала. А летось стекла в кооперацию привезли, всякие. Зря отдала, видишь, каково-то без лампы. Хоть бы свечечка еще была. А нету. Последняя догорела. Догорела моя свечечка.

— Керосин есть? — спросил Григорий и вздохнул.

— Есть керосин. Должен где-то быть. Сейчас. В сенцах... Если остался,— ответила она.

— Не надо, я сам найду.

— Там, в углу,— подсказала она.

Он вышел из-за стола, на ощупь прошел к двери, толкнул ее. Григорий помнил, что дверь всегда отворялась легко, особенно летом, рассыхалась, что ли. Теперь же она подалась не сразу, трудно подалась дверь, нижний угол цеплялся за присад. Все тут, в его дому, годы состарили, перекосили, переиначили. В сенцах было прохладнее, чем дома. И совсем темно. В окна, там, в горнице, проникал какой-то рассеянный свет, небо, что ли, вызвездило. А здесь было совсем темно. В углу, где валялись какие-то старые зипуны и мотки веревки, он нашел бочонок, заткнутый деревянной затычкой, обернутой тряпицей. В бочонке слабо поплескивало. Григорий вытащил затычку, вернулся в дом и спросил, нет ли где какой-нибудь ненужной посудины или гильзы. И тогда Павла тоже встала, зажгла спичку, яркий недолгий свет ее выхватил из темноты печное устье, загнетку, темную затулину, откуда покатым мазаным боком выглядывал накрытый не по размеру большой сковородкой чугунок, нагнулась к подпечью и, погремев черенками ухватов, достала небольшую медную гильзу. Григорий взял ее, Па́влина спичка тем временем догорела, и на ощупь угадал — от немецкой скорострельной малокалиберной пушки.

— Откуда она у тебя? — спросил.

— В лесу подобрала. По ягоды ходила и найшла. Под ухват подсовываю, чугуны катаю. Деревяшку засунула и катаю.

— Нашла на чем чугуны катать,— усмехнулся он в темноте и подумал, что завтра надо бы сделать Павле каток, дубовый, чтобы подольше послужил. И еще хотел сказать Григорий Павле, ощупывая тяжелый затыльник гильзы, что вот из такой пушки и накрыло их с Иваном Филатенковым в той проклятой лощине возле шоссе. Рота поднялась на прорыв, передовая цепь, смешавшись и не сделав ни одного выстрела, благополучно добежала уже до опушки леса, и там можно было уже и залечь, осмотреться, а при необходимости, если немцы обнаружат их и откроют огонь, окопаться, хоть как-то прикрыть остальных, помочь им перебежать лощину. И те тоже уже поднялись и ринулись следом, молча, только оружие глухо побрякивало. Вот тогда-то с левого фланга, из лесочка, ударила скорострельная пушка. Снаряды рвались прямо под ногами, тут и там среди бегущих, разбрасывая черную весеннюю землю и верезжащие осколки. Один из снарядов разорвался рядом с залегшим взводным, и Григорий, отерев с лица грязь и копоть, увидел лишь кусок шинели лейтенанта и разорванный сапог с торчащей из него белой костью. Тут Иван подхватил его под руки и крикнул, что надо бежать вперед, к лесу, что если залечь здесь, то больше уже не подняться, что здесь, в лощине, перебьют всех. И они побежали к лесу, держа наперевес винтовки с примкнутыми штыками и низко пригибаясь к земле. Но пушка, замаскированная в дальшем углу лощины, била и била, снаряды ложились в самую гущу бегущих, словно те, кто из нее стрелял, заранее знали, что окруженная, зажатая со всех сторон, рота начнет прорыв именно здесь.

Кто споткнулся первым, Григорий теперь не мог вспомнить. Видимо, все же он. А Иван? Почему тогда не добежал Иван? Значит, он вернулся... Вернулся, чтобы поднять его? «Он подумал, что я ранен, и вернулся. Вернулся, и его — тоже. Зачем ты вернулся, Иван? Эх, Иван, Иван...»

Григорий вытащил из гильзы обгорелую деревяшку. Вырезал из куска шинельного сукна полоску, разгладил ее на коленке — фитиль получился неплохой. Залил керосин в гильзу, сплющил ее. Чиркнул спичкой. Со спички пламя перекинулось на фитиль, торчащий из гильзы немного косо, вспыхнуло ярче, вытянулось, захлопало острым, стремительно вьющимся кончиком.

— Ну, вот и с огнем мы теперь,— сказал он.— Только копоти много.

Он поставил гильзу на середину стола. Красноватый свет снова озарил старые стены, белый бок печи, белые рушники в углу и все небогатое, блеклое убранство малой горницы.

Павла отворила окно. Сразу засвежело. Послышалось монотонное стрекотание цикад, и где-то тоскливо, с надрывом, завыла собака.

— Что это она? — прислушался Григорий.

— А, ну ее, благую,— отмахнулась рукой Павла.— Она каждую ночь так, окаянная. Вот жилы вытягивает, вот душу мытарит.

Глава вторая
ПАВЛА, ВДОВА ГРИГОРИЯ

Павла убрала со стола. Только недопитую бутылку и стакан оставила рядом с гильзой. Сама села напротив, и Григорий, глядя ей прямо в глаза, сказал:

— Ну, Павла, рассказывай, как вы тут без нас жили? Каково теперь живется? Все рассказывай, что на душе скопилось. Ничего не таи.

Она вдруг догадалась, что для этого он и пришел, и испугалась: расскажу ему все, он посочувствует мне, пожалеет да и уйдет скоро. Вспомнила, так-то вот точно к Варе Громовихе приходил ее мужик, тоже убиенный; Варя пожаловалась ему на тогдашнего председателя сельсовета Ларюшку Утёнкова, тот огород у нее отрезал и облогу заставил разгородить, помешала, видишь, сельсовету Громовихина загородка, тот будто выслушал ее слезы, вздохнул, а вздохнувши, встал и молча ушел. Варя Громовиха сама рассказывала, плакала. «Так и мой Гриша, видать, уйдет»,— подумала Павла. Она не знала, что делать, что сказать.

— Жили,— вздохнула она через силу и некоторое время молчала.

Собака в селе умолкла, цикады тоже угомонились, и настала такая тишина, что Павла побоялась говорить громко, как бы не услышали с улицы и не подумали чего зря, зашептала:

— Жили, Гриша, так и жили. Потому что живые остались.

— Ну а ты? Ты-то как?

— Я? Да я что ж... Я ж одна. Пережила. Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. Это у кого семеро по лавкам было...

— Немцы здесь долго стояли?

— Почесть два года. Да, так оно и было. Осенью в сорок первом годе пришли, а в сорок третьем, в августе, аккурат после Успенья, нас и освободили.

— Лютовали?

— Всего было. Я и не знаю, про что вспомнить тебе.

— О чем сердце болит, о том и вспомни.

— Оно обо всем болит, Гришенька...

Григорий вздохнул и опустил голову. Павла посмотрела на него, покачала головой, видать, вспоминала.

— Как это они пришли,— начала она,— Алдоху с девками побили. Девок-то Алдохиных помнишь?

— Помню. Шура и Зина.

— Да, Шура и Зина. Зина, помнишь, глазастенькая такая была да продувная. Всем, егоза, прозвища давала. Ей девять годков тогда только и было. А Шуре ж и того меньше. Ах, деточки вы мои...

— Погоди, Павла,— остановил ее Григорий, и узкий красноватый язык пламени качнулся и затрепетал, размазывая по тусклому пространству горницы черную нитку копоти. — А Прохор, Павла? Он что же, тоже не пришел?

— Нет, Гриша. Не пришел Прошка. Похоронная бумага на него пришла в сельсовет уже после Победы. Где-то на неметчине и остался. Когда Пречистое Поле освободили, пришло от Прохора письмо. Из госпиталя. А бабы, куриные головы, возьми и напиши ему, что Алдоха с девками уже давно в землице лежит. Видно, он там после ихнего письма смерти и искал.

— Вот так... Да... Значит, всю семью вырубило. Всю. Под корень.

— Всю, Гриша,— горестно качнула Павла головой.— Всю.

Павла видела, как побледнел он, как расширились его глаза, став на миг страшными. Она хотела сказать, что и ихний, михалищинский корень тоже не прижился на свете, что вот свекует свой век она, старая вдовица, и оборвется совсем родовая ветвь, тоненькая и ненадежная, как паутинка, и за нею уже ничего и никого не будет. Но увидела, как сошел с лица Григорий, узнав о том, что и Прохор тоже где-то споткнулся и лег, передумала говорить.

— Павла,— сказал погодя Григорий.— Я ж, Павла, с его братом, с Иваном, вместе воевал. Я ж, кажись, и писал тебе об этом?

— Не получала я, Гриша, писем твоих.

— Не получала? А я писал. Писал.

— Не доходили. Видать, терялись где-то.

— Оккупация. Да... Какие ж письма? Сгинули где-то.

— Что ж — письма? Народу вон сколько погинуло.

— А мы с Иваном в одном взводе. Всё, чуть что, выручали друг друга да табачком делились. Нас, Павла, тогда, возле шоссе, вместе... В лощине. Из скорострельной пушки...— и Григорий, не договорив, кивнул на сплющенную гильзу.

— Степаняты тоже не пришли,— отозвалась Павла.

— Карп и Гриша? А разве их тогда успели призвать?

— Призвали. Почесть всех призвали. Вы ушли, а через неделю и их на Новоалександровскую проводили. Степанчиха все жила, все дожидалась сыночков своих, а летось померла. Летось много народу нашего, пречистопольского, прибралось. Високосный год. А Степанчиха вроде и не собиралась помирать, пошла перебирать картохи, да так около копца и ковыльнулась. Внучку напужала.

— Где похоронены?

— Кто? Карп и Гриша? Э-э, где ваши могилы...— всхлипнула она, чувствуя, как стало судорогой плача кривить набок рот. Но тут же она начала пересиливать себя, догадавшись, что не время сейчас голосить. И пересилила кое-как. Утерла платком глаза и нос. И далее все еще дрожащим, как кончик пламени коптилки, западающим голосом: — Ей, Гришенька, отписали, что без вести пропавшие они.

— Без вести?

— Без вести,— подтвердила Павла.— Тогда ж много так, без вести которые, погинуло. А считай, полнарода.

— Да, Павла, много,— кивнул он.

Григорий потянулся к бутылке и сказал:

— Я, Павла, еще себе налью.

— Налей, Гриша, налей,— сказала она, встала и принесла из сенцев тарелку с огурцами.— Закуси вот. Они хоть и летошние, а крепкие еще. До свежих-то еще не скоро. Я и сама съем огурчик.

— Так что ж ты про Алдоху с девками не досказала,— напомнил он ей, выпив и снова, как и в первый раз, понюхав ломоть хлеба.— Ты, Павла, расскажи, как их... Как все было, расскажи.

— Эх, Гриша, и вспоминать-то — лихо на душе делается. Когда через нас от Борка снаряды стали лететь, мы побросали все и побегли. А куда бечь? В лес побегли. Кто-то из мужиков крикнул, что в лес

надо, вот и побегли в лес. В узелки схватили кой-что, что под руки попалось. А Алдоха, и что ей взошло в голову, с хлебами занялась. Хлебы-то она с утра поставила, а тут, на тебе, бомбить начали. Я забегла к ней, Алдоха, кричу, кидай свою стряпню, надо в лес, хорониться, а то уже все село ушло, одни мы только остались. Тут и девки у окошечка прижавшись сидят. Как ласточки. А она мне на это: куда ж, говорит, надо хоть хлеба взять, неизвестно, что дале-то будет. На девок кивнула, есть, говорит, запросят, что я им дам? Вот и взяла хлебы. Тогда я, это, к девкам, Алдоха, кричу, давай я хоть Зину с Шурой уведу. Нет, говорит, они со мной пойдут. А они уже, деточки мои, с узелочками так-то сидят, на коленочках узелочки держат. Снаряды стали совсем близко рваться, окна затряслись, тырса с чердака посыпалась. Ухватила я Зину за руку, и она, знаешь, это, тоже так-то ко мне и прянула. Алдоха, молю, отпусти ж ты хоть Зину со мной, я одна, я ее на руках, коли что, унесу. Как чуяло мое сердце... Алдоха забранилась на меня. Ну, я и побегла одна. Бегу и плачу. Чуяло-таки сердце. Так и вышло. Вечером бабы пошли в село, а вскорости бегут назад и рассказывают: немцы уже прошли, хаты целы, а деда Коляя и Алдоху с девками в ямке под горкой побили. Пришли мы двору. Алдоха с девками лежит в картофельной ямке под одеялом. Дед Коляй с ними тоже. Подняли одеяло. Бабы сразу в голос. У Алдохи, страшно глянуть, все лицо побито, санки ажно на затылке... А девки так-то с двух сторон прижавшись к ней лежат. Зине в шею и в голову, вот тут, повыше темени, и пятка сбита, кость набок прямо торчит. А у Шуры, у той вся спина... Пальчиками вцепились в мамку, думали, что мамка их спасет. Так мы их от Алдохи и не оторвали. Некогда было. Хотели разнять, а тут заговорили, что опять уходить надо. Скот уже погнали. Накрыли одеялом ихним да и закопали.

— Что ж они, сволочи, детей-то?..— заскрипел зубами Григорий, уронив на руки голову с едва-едва начавшими отрастать русыми волосами, теперь, в этом неверном свете казавшимися седыми.

— Они, может, и не тронули бы, если б не дед Коляй. Когда немцы в Пречистое Поле взошли, Алдоха с девками — куда деваться? — под горку да в картофельную ямку. Дед Коляй тоже что-то сразу не ушел, да возьми и тоже к ним сунься. А у него пиньжак был такой, может, помнишь, из шинели перешитый. Немцы-то как наступали, видать, подумали — солдат. Подбегли и прямо по одеялу... Эх, Алдоха-Алдоха, что ж ты мне, Алдоха, Зину-то не отдала? Вот и умру, а не прощу тебе, Алдоха.

— Многих из нас теперь не воротишь,— Григорий встал, пламя качнулось и вновь выровнялось, только красный кончик трепетал с тихим треском, размазывая копоть.— Ладно, Павла, будет об этом. Добро мое солдатское пускай тут полежит, а я пойду село обойду. Пока не рассвело.

Павла молчала. Ей хотелось спросить Григория, куда он, на ночь-то глядя, но слушала молча. Она знала, что он все, что нужно, он скажет сам. В этом доме всегда было так, как он скажет.

— До рассвета ты меня не жди,— сказал Григорий.

— Ты что ж,— осмелилась-таки Павла спросить его о чем дрожало ее сердце,— никак встречать кого собираешься?

— Собираюсь, Павла,— ответил он; он, похоже, ожидал ее вопроса.— Они тоже придут. Они придут на рассвете.

— Кто, Гриша? — спросила опять она, приложив сухие, разбитые нелегкой работой ладони к груди, такой же сухой и немощной, как и все ее изношенное тело. Она спросила, хотя уже знала, **кто** придет и **кого** собирается встречать Григорий. Догадывалась.

И ответил Григорий:

— Иван Филатенков, Прохор Филатенков, Егор Тарасенков, Степан Ильюшенков и все остальные. Все наши, пречистопольские, все придут.

Павле показалось, что вот сейчас она и умрет, так сдавило в груди, так там перехватило все. «Вот и хорошо бы помереть теперь, пока Гриша дома,— подумала Павла.— Похоронил бы. До кладбища проводил. Не насовсем ведь пришел. Вижу, не насовсем. Так насовсем не приходят. Повидаться пришел. Вон, шинельку даже не повесил. Завтра, глядишь, и в обратную дорогу. Как же тогда жить одной? Умру, одна, и не вот спохватятся». Но в груди, вопреки ее жестокому желанию, дернуло, потянуло раз-другой, в последнее время так часто бывало, и отпустило. Только горячее что-то осталось, как будто железо раскаленное вынули, а боль осталась. Боль там, в груди, да горечь во рту. «Вот и в этот раз не умерла,— вздохнула она. Но во вздохе ее не было ни облегчения, ни избавления.— Видать, поживу еще, на белый свет погляжу. На Гришу».

Григорий взялся за дверную скобу, но, прежде чем отворить, обернулся неожиданно, как если бы вспомнил что-то недосказанное, спросил:

— Павла? А скажи, жив ли Осип Дятлов?

— Осипок? Жив Осипок,— ответила Павла, сразу насторожившись, но виду не подала.— Жив. Что ему сделается? Работает еще. Бригадирствует.

— Ну, и как он?

— Все такой же. Покрикивает на людей да ухмыляется.

— О чем же он ухмыляется?

— О чем... Он знает о чем. Тогда с винтовкой ходил, начальствовал, а теперь с сумкой через плечо ходит. Такая, знаешь, сумка, навроде портфеля. И опять верховодит.

— Живет-то все там же?

— Нет, он себе новую хату поставил. Возле пруда, где раньше амбары колхозные стояли. Амбары-то повалились. Теперь их на новом месте построили. А Осипок там себе для усадьбы место расчистил и построился. Теперь живет, как барин, в липках, особняком. Дочка ему шибко помогает, Людмила Осиповна. Дочка у него хваткая, вон как быстро наверх пошла. Институт закончила, учительницей у нас в Пречистом Поле с год проработала, может, и меньше, в райком кем-то там взяли. Потом в совхозе «Новоалександровском» два года партейным секретарем пробыла. А теперь Людмила Осиповна — заместитель председателя райисполкома. Мужик ейный тоже какой-то большой начальник, по строительству. Так они Осипку и струб привезли уже готовый, еловый, из лесничества. И фундамент залили. И так все везли, и везли, и везли на красных машинах. Машины большушшие, у нас в колхозе таких-то нет. Ночами все возили, чтобы поукромнее от глаз людских. Теперь Осипка за повязку не ухватишь, он ее вместе с зипуном немецким скинул. Зипун-то скинул, а душу не оденешь в другие одежки. Мы ж тут, кто живой остался, помним, все помним. Как он над нами, солдатками, измывался. На окопы гонял. Да кабы только это. Пристанет к которой, а та откажет, ну, тогда белого света через его измывательства не взвидывала. Всем смена, а ей, глядишь, опять на окопы. А на окопах что? Холод, грязь, обсушиться негде, вошки заедали. Лето и осень траншеи копали под Крестами, это ж вон где, а зимой опять же иродом ихний от снега расчищали. Да, натерпелся от него народ. А теперь вон, гляди, опять Осип Дятлов герой перед нами. По праздникам медалями брякает, выхваляется. Речи перед школьниками говорит.

— А власть-то что же?..

— Э, власти... Кто у нас нынче власти? Там, наверху, они, может, и правильные речи говорят, а тут Осипки свое дело делают. Тут все — как было, так и осталось. Царские милости, что ж, в боярское решето сеются. Власти... У нас нынче Степан Дорошенков председателем сельсовета. А кто его выдвигал туда? Он, Осипок, его и выдвигал. Он да Людмила Осиповна. Она тут на дню по три раза. Как в вотчину свою

приезжает. На белой машине. Идет по улице, так первая «здравствуй» не скажет, ни боже ты мой. Ни малому, ни старому. Барыня барыней. Из нашей-то грязи да в такие-то князи!.. Куда ж тут теперь?.. А председатель колхоза молодой парнишечка, из города присланный. Они его пригнули уже, куда им надо. Оженили на Степановой племяннице. Что прикажут, то он и делает. И тоже уже на людей гордо смотреть стал. Научился у Осипков. Дурное дело нехитрое. Таня, жена его, хорошая, простая. Остановится другой раз, поговорит, порасспросит, учеников пришлет, помочь чего. Да только вроде как украдьмя. Стоит, говорит, а сама по сторонам оглядывается. Э, Гриша, тут всё Осипок с Людмилой Осиповной под свой полоз подмяли,— Павла утерла косячком платка слезу.— Что тут, Гриша, рассказывать. Нехорошо живем. Да, нехорошо. А народ что? Народу лишь бы самому сытым быть да под носом от этой сытости не пахло. А раз сыт, так и ладно. Это когда сразу у всех скибку отымут... Народ на Осипка не оглядывается, будто и не видит ничего. Он, лукавый, знает, кому да как в глаза поглядеть. Кому — с медом, а кому — с полынью. Раз вот так попросила я коня, огород распахать, Осипок сунул мне хомут и седелку и говорит: на, Михалиха, паши. Я сперва не поняла, беру это, значит, хомут на плечо, седелку. А какого же коня, говорю, Осип Матвеич? А он будто не слышит, про коня-то. Давай, говорит, я тебе, Михалиха, с хомутом-то помогу. И этак: наклонись-ка, говорит. Я и нагнулась сдуру. А он мне, полицейская его морда, хомут тот на голову и накинул. Это ж он мстил мне. Пожалилась я раз на собрании председателю и миру на него: что ж такое, сказала, делается на белом свете, старым колхозникам коней огороды пахать в последнюю очередь дают. Вот он и озлился. Не поняла я тогда, дура старая, что он с председателем все равно что две ручки одного плуга. На собрании-то Осипка пробрали, он и сам сидел, головой кивал. А потом все равно на свой клин поворотил. Так огород в ту весну лопатой и копала. Хорошо, Иван Шумовой помог. Пол-огорода вскопали, а там свояк его, Санька Прокопчин, на тракторе подъехал, то-то помог, дай ему бог здоровья. Вспахать-то вспахал, а потом его на пол-оклада оштрафовали. За использование государственной техники в личных целях. Говорят, закон такой есть. Видишь, какие законы нынче пишутся: Саньке, чтоб мне, старухе, огород подсобить вспахать — нельзя, а Осипку — все можно. Гриша? — позвала вдруг Павла.

— Что, Павла? — отозвался он.

— Я, Гриша, вот подумала: поди, зря я тебе про все это говорю. Жалуюсь...

— Говори, Павла, говори. Я для того и пришел.

Но Павла замолчала. Видно, думала о том, что он только что сказал, веря в то, что он действительно пришел *для того* и что на рассвете, как он сказал, придут и *остальные*, и одновременно не веря в это. Григорий тоже молчал, стоя в темном углу у двери. И вдруг Павла усмехнулась и сказала:

— Злопамятный он. Злопамятный. А с чего у нас вражда началась? С петуха. Кому окопы, кому что, а мне он петуха не прощает. Хоть и не говорит, а я чувствую — петуха.

— Какого петуха?

— Петуха. В сорок втором годе было. Осенью. Немцы в Пречистом Поле всех курей переловили, так и подмели все перушки. И голоса куриного в селе не осталось. А у меня, веришь, нет, петух остался. Помнишь петуха нашего? Красного? Ох и боец же был! На все село красавец!

— Помню, как же. Сожрали-таки фрицы нашего жениха?

— Рожна им лихого, а не петуха! Осипок пришел, помню, и говорит: давай, мол, знаю, прячешь, по утрам орет, слыхал, пан Курт курятины желают. Пан Курт — это немец, начальник был надо всей нашей округой, холеный такой. Полицейские его боялись тоже. Как огня.

Видно, пан Курт их тоже недолюбливал. А петух мой так-то из-под сенцев выбег и заходил перед Осипком, крылом сердито по земле зачертил. Осипок нагнулся, ухватить его хотел, да не тут-то было. Погоди, говорю, Осип Матвеич, я сама его поймаю. Гляжу, руку Осипок об шинель вытирает, раскровенил наш вон ему руку. Руку вытер, гляжу, и винтовку так-то с плеча сымает. Поймала я тогда нашего петуха возле сарая, взяла за крылья и говорю: Осип Матвеич, а нехорошо ведь так-то получается, у меня мужик в Красной Армии, воюет противу супостата, я одна мыкаюсь, а ты, говорю, мало что им пособничаешь, а еще пришел ко мне последнюю животинку забирать. Что, спрашиваю, Григорию моему говорить будешь, когда он вернется? Какими, говорю, словами оправдываться? А он, Осипок-то, озлился на такие мои слова, забранился, и все нехорошо так бранился, матерно, затопотал ногами да в плечо кулаком и пхнул. Он хоть и не больно ударил, да обидно. Ох, как обидно! И взяло ж меня тогда зло! Ну, антихристова сила, думаю, на ж тебе, немецкий обносок, курятины! На! На! Отсекла петуху голову да этой петуховой шеей ему по мордам. По мордам! По мордам! И-и, что там было! Божечка ж ты мой, что было! Стрелять меня хотел. Спасибо, бабы трапилися, порятовали. На руках у него повисли. Полечка Кузнечиха да Ульяниха. А то б, наверно, и застрелил, антихристова сила. Так дулом промеж грудей и ткнул, полицейская шкура. Болит у меня в грудях с тех пор. Разом так сожмет, что не продохнуть, белого света не вижу, все в глазах меркнет. Увели меня бабы двору, легла я на лавку, вот тут, лежу и думаю: вот вернется Гриша, уж я-то ему пожалюсь на этого христопродавца.

Павла пододвинула гильзу к краю стола, чтобы лучше видеть Григория. Тот все так же неподвижно стоял у двери и молча, широко раскрытыми глазами, смотрел то на Павлу, то в угол, где темнели иконы, то на винтовку, стоявшую у подоконника и тускло поблескивавшую маслянистым стволом. Твердые скулы его бледного лица все чаще и чаще вздрагивали, а подслеповато-красный свет еще сильнее оттенял худобу его щек и белки напряженных глаз.

— Кто из пречистопольцев еще в полицаях был?

— Из наших боле никого. Двое окруженцев еще было. В примаках жили. У Луши Макарчихи да у Степаниды Кошечки. Но те были не такие злодеи, как Осипок. Хоть и чужие. Он же их потом и пострелял на Новоалександровском большаке. Пострелял, все у них забрал и с этим добром через фронт, к нашим подался. В селе уже и думать об ём забыли, вон сколько народу тогда погинуло, всякого, и хорошего, и худого. Только он вскорости вот он, на костыле, с медалями. Герой. Раненый. В госпитале его вылечили, справки нужные выдали. И опять запановал Осипок в Пречистом Поле.

Ночь уходила в глубину, как память в прошлое, и, чем глубже в темь, тем смутнее становилась она. В Михалищах и в селе за ручьем все угомонилось, успокоилось, замерло. Даже дрожащего, проникающего всюду свиста летучих мышей не было слыхать в открытое Павлой окно. А погодя немного, будто выждав, когда Павла, выговорившись, умолкнет, а Григорий еще не найдет слов, чтобы ответить или хоть как-то успокоить ее, крикнул первый михалищинский петух, и ему на более высокой ноте с нетерпеливой поспешностью ответили из-за ручья сразу два пречистопольских. Крикнул, сотрясая горбатый, убого прилепленный к коровьему хлеву, видать, самой хозяйкой курятник, и Павлин петух.

— Все бы ничего, Гриша. Ты уж не подумай, что мне хужей других. Живем-то сейчас хорошо. Пензия идет, недавно еще десяточку прибавили. Теперь больше полсотни получаю. Молоко сдаю, тоже деньги хорошие плотят. Жить бы да жить. Только ни к чему. Не для кого мне копейку собирать. Умирать буду, все сбережения, какие от похорон останутся, в сиротский дом передам. Больно много сирот нынче, Гриша. Народ в водке захлебнулся. Даже бабы пьют. Совсем стыд-совесть потеряли. Детей порченых родют. И хороших тоже в приют сдают. Матерями быть не хотят. Стратился народ наш, Гришенька. Уж ежели бабы пить стали, то что ж дальше будет? Теперь продают меньше, законы написали противу пьянства. А по нашему сельсовету и вовсе объявили сухой закон. Пока, сказали, покос не пройдет, продавать не будут. А народ только сильнее озлился, и еще хужее запивают. Работу кидают, на Новоалександровскую едут. Отраву разную пьют, даже вон чем мух да клопов травят. Лишь бы одуреть поскорее. И мрут. Мрут ведь, детей сиротами на свете белом кидают. А все одно пьют. Самогон теперь в каждом доме гонят. Тут хоть какой закон пиши, а толку не будет. Сахару в кооперации с весны нету. Мешками волокли. Сказали одно время, будто подорожает, вот и волокли. Другой раз так-то вот подумаю, Гришенька: а может, такой разор на нас потому, что силу да власть над нами осипки забрали? А? Правительство вон хочет державу на правильный путь наставить, в газетах всю подноготную правду писать стали, что и читать бывает страшно. Осипки на это еще злее зубами скрогочут да нас гнут. Потому как раньше им куда вольнее жилось. Теперь про них пишут. Пишут да по радио передают: сымают с работы и судют. Бабы вон говорят, что ежели всех их, воров, сажать, то и тюрем не хватит. А и не хватит. Где ж на них тюрем наспеешься? Видно, что так оно и есть: где-то потурили осипков, вернули людям справедливость, а потом глянули, сколько их везде, воров, да и плюнули. Я так, Гриша, думаю, что не справились с этим племенем.

— Ничего, Павла, и с нашими разберемся. До рассвета всего ничего осталось.

— Как же так вышло, что Осипок тогда, осенью, вернулся? Он же той же осенью, когда немец пришел, и вернулся в Пречистое Поле.

— А как... Ушел. Бросил нас и ушел. Шкура. Мы оборону на Десне держали. Да, была там рубка... Сутки только и продержались. Полк наш обходить стали, с флангов, с боков, значит, отходить надо было. Вызвали добровольцев — в группу прикрытия. Мы втроем и вызвались: Иван Филатенков, я и он, Осип Дятлов. Мы ж тогда дружили. Вроде как. Выбрали позиции, ровики выкопали, установили пулеметы. Ребята нам патронов побольше оставили. Гранат. И ушли. Роты ушли. Снялись с позиций и ушли. А мы остались. Ждем. За Десну смотрим. Немца там еще не видать было, а уж гудело все гудом страшным. Мы с Иваном на взгорке так. Внизу Десна. И берег тот да-алеко просматривается. Осип ближе к лесу залег. И все у нас было рассчитано. Мы с Иваном перед самым бродом сидели, друг друга прикрывали, а Осип должен был ударить попозже, если немцы все же переправятся и начнут обходить нас по склону. Им только так и можно было нас с Иваном взять. Не ударил Осип. Мы когда с Иваном уходили, то побежали сперва к лесу, к Осипку, думали, может, раненый лежит, нас ждет. Мы ж как: договорились не бросать друг друга, если что. Вот тебе и *если что*. Подбежали мы к лесу, видим, пулемет целехонький стоит, цинки с лентами. Всё на месте. Только Осипа, дружка нашего боевого, нету. Ушел, гад. Полк мы догнали только через месяц где-то. Нас уже и числить там перестали. Думали, что каюк заслону. Заслонов ведь вон сколько оставляли. Не одних нас. На каждой речке, на каждом бугорке. Да только мы одни, считай, и вернулись. Ротного нашего убило, взводного тоже ранило тяжело, на носилках несли. Докладывать пошли комбату. Комбат и не рад вроде, что мы вернулись. Глядел исподлобья. Потом спросил, стрелял ли Дятлов. Иван сказал, что стрелял. Я тоже подтвердил. И начал он нас тогда ругать за то, что не нашли Осипа. Бросили, говорит, товарища. Под трибунал, дескать, отдать вас за такие дела, да воевать некому. И правда, в батальоне штыков осталось с гулькин нос. Так что послал нас комбат в окопы. А Осипка записали пропавшим без вести.

— Ну, вот вы его на наши головушки от начальства и оборонили.

— Эх, Павла, не брани ты нас. Хотели ж как лучше. Как же, земляк все-таки. Друг-товарищ. Думали, сами разберемся. Ладно, теперь и разберемся. Пришел час. Были мы ему с Иваном защитниками, а теперь мы ему судьи будем. Да черт бы с ним, если бы он тогда за полком тяганул! Хотя... Мы-то с Иваном, понимаешь, надеялись на него, думали, если что, Осип прикроет. И он же знал, гад, что нам без него не выйти, если немцы поблизости где переправятся. Там еще была история... Когда уже поперли немцы, откуда ни возьмись, наших несколько человек, с десяток так, может, чуть побольше, прямо перед нами реку переплыли и к лесу по балочке побежали. Думали укрыться поскорее. А немцы поняли, что сейчас они уйдут, пулемет у самой воды поставили и — длинными очередями. Всех положили. Осипу в самый бы раз ударить по тому пулемету, это его сектор был. Всех посекли. Мы с Иваном потом по тому месту проползали, так страшно смотреть было. Вся трава в крови была. По стольку убитых сразу мы тогда еще не видели. И вот думаю я сейчас и не пойму: то ли он к тому времени ушел уже, когда окруженцы-то эти через Десну к нам... то ли смотрел, как их в балке добивали.

— Иуда, — отозвалась Павла, нарушая тишину, царившую несколько долгих минут после того, как умолк Григорий.

— Присягу забыл.

— Иуда и есть. А из госпиталя пришел в село героем. Как же! За Родину, за Сталина кровь проливал! Грудь в медалях!

— Что ж, видно, хорошо воевал.

— Воевал. Всюду поспел. И все-таки неправда его, Гриша. Вот у меня сердце и заходится: как же так, думаю другой раз, неправдой тогда жил, неправдой и теперь разживается, и все ему ладно, все ему хоть бы что? А ежели бы, к примеру, Гитлер победил и власть свою установил? А? Нет, не пострелял бы тогда Осипок на большаке дружков своих. И через фронт бы не побег. Тогда бы он, гляди, повыше нынешнего начальником над нами сделался. Ему все едино было, что Гитлер, что Сталин. Любой власти сумел вот угодить.

— Бог с ним, Павла. Придут мужики, разберемся. Решим, что с ним делать.

Григорий вернулся на середину горницы и, глядя в темный угол, чуть подкрашенный дрожащим светом солдатской коптилки, сказал:

— Павла, гляжу я, икона у тебя. Ты что же, веруешь?

— Верую, — не сразу ответила Павла.

— И молишься? — снова спросил Григорий.

— Раз верую, значит, и молюсь.

— О чем же молишься, Павла? Какие молитвы читаешь?

— Какие жизнь подсказывает, такие и читаю. Всякие. О тебе вот все молилась.

— Обо мне?

— О тебе. Особенно когда молодая была. Ох, Гришенька, как я об тебе молилась!

Григорий покачал головой и спросил погодя:

— Правильная ли твоя вера, Павла?

— Правильная, — она посмотрела на иконы, на Григория, снова на иконы и опять на Григория. — Вон сколько лет я тебя ждала, ты пришел. Правильная моя вера. Она, может, самая правильная и есть.

Григорий снова покачал головой. Вздохнул. Заговорил, блестя глазами:

— Перед Десной село одно, помню, брали. Это когда мы уже наступали. Наш взвод в первую траншею ворвался. Обычно немцы бросали траншеи, уходили глубже. Даже трупы утаскивали. Тогда было легче. Тогда можно было осмотреться, закрепиться. А когда не бросали, когда им некуда уходить было, мы прыгали им на головы, и начиналась рукопашная. В тот раз они не ушли. Видать, тоже приказ был железный — ни шагу назад. Через несколько минут от взвода несколько человек осталось. Мы с Иваном взводного своего перевязали, штыком ему немец пах проткнул, и потащили к церквушке. Такая маленькая церквушка была, меньше нашей, вся разбитая сверху. Ни куполов, ни крыши. Немцев мы вроде выбили. Но из второй линии окопов начали нас минами забрасывать. Как ударит мина где рядом — пыль красная, ничего не видно. Ползем, лейтенант кричит, лихо ему стало, весь живот немец штыком разворотил. Помер он потом у нас, в церквушке той и помер. Глубоко штык прошел, по самый, видать, упор. И как он так наскочил, вроде верткий был мужик. Доползли. Лейтенанта положили у стены, на ризы какие-то. Иван толкает меня под руку, гляди, говорит, все размолотили, а Христос нетронутый. Поднял я голову, пыль как раз осела, а над входом в церковь большая такая икона светится. Видать, золотом покрашенная. Христос с черной бородкой, с книжечкой в руках. На нас смотрит. Как мы внизу копошимся. Вокруг по полу иконы раскиданы, вот такие, как твои, маленькие. И побольше тоже были. Иные расколоты. Иван пополз, стал подбирать. Брось, говорю, давай к двери, немцы, говорю, не зря мины кидают: покидают, покидают и в атаку пойдут. Погоди, говорит. И все на четвереньках ползает и иконки те подбирает. Наберет охапку и к стенке отнесет, сотрет пыль с каждой и сложит там. Я у двери лег, винтовку на камень положил, посматриваю, что там, наружи, делается. Мина как ударит в стену или поверху, так гул по всему храму идет. Иван, слышу, рядом лег. Что, говорю, собрал святых? Собрал, говорит.

Григорий замолчал. Он стоял в углу и вглядывался в темные лики, обрамленные белыми расшитыми рушниками.

— Откуда они у тебя, Павла?

— Вон ту, небольшенькую, беженка одна оставила. Борис и Глеб. Святые великомученики. Видишь, у ней уголок внизу отбитый. А другая, что поболе, Николай Угодник. Николая Угодника я из Алдохиной хаты принесла.

— А третья?

В углу, в рушниках, была еще третья икона, самая маленькая, в две ладони величиной, в белой серебряной ризе.

— А ту, махыткую самую, я, Гриша, на дороге подобрала. Видно, потерял кто-то. Церкву нашу разоряли и потеряли. После оккупации как раз ее, матушку, Утёнок нечесть всю на кирпичи пропил. Даже склёп енеральский разорили. Саблю, говорят, Проженцова вынесли, зубы да пуговки золотые. Утёнок все командовал. Его власть была. Немцы, видишь, и те не тронули храма. А этот даже в склёп залез, енерала Проженцова потревожил.

— Утёнок? Ларион?

— Ларион Петрович, он самый. Он у нас после оккупации председателем сельсовета был. Помер. Вот уже три года, как помер. Трудно умирал Ларюшка. Мучился. Ох, мучился. Внутренности, говорят, гноем да сукровицей через рот выходили. Неладно хулить покойника, но скажу, как он тут над нами председательствовал. Бывало так: приедут к нему из Крестов или из Ковалевки, попросят кирпича на печку, узелок с самогоном и закуской под стол ему пододвинут, он и разрешал церкву крушить. За выпивку все дозволял. Бьют, бьют, рушат кувалдами да ломами, а из десяти кирпичин, может, только один цельный и добудут. Церква наша, Всех Мучеников, ты ж знаешь, старая была. В старину строили хорошо, до́бро. Да, так-то и было: напоят Ларюшку, а сами, фарисеи, на стены. Ведь они, ироды, что натворили — кости енерала Проженцова по лугу раскидали, царский, мол, прихвостень, народный ксплутатор. А енерал тот, говорили старые люди, еще в ту Отечественную, когда противу француза еще, за нашу родимую землицу кровушку проливал. Говорят, ранетый в Пречистое Поле и приехал, и лечился тут. Вылечился — опять на войну. Тогда тоже часто воевали. И с новой войны привезли его сюда уже в гробу. Солдаты привезли. На лошадях. Так старики помнили. Плохого бы енерала в

такую даль, поди, не повезли. А кому он угождал больше, царю или Расее, еще подумать надо. Хоронили вот солдаты, а не царь.

— Склеп Проженцова, значит, им замешал? И до него добрались,— Григорий запрокинул голову, красное зарево коптилки металось по потолку, оклеенному белой бумагой или обоями, вылинявшими до такой белизны.— Его ж никто никогда не трогал. Даже когда кресты с куполов срезали, когда колокол снимали. Народный эксплуататор... Идиоты.

— Ларюшка все, Ларион Петрович командовал. Он тут командовал, антихристова сила. Он да Осипок Дятлов.

— Да, Ларион, нашел-таки ты себе ровню.

— Не говорят плохо о покойнике, да хороших слов на его помин нет,— Павла повернулась к двери, в темный угол, и, опершись рукой на лавку, добавила: — Антихрист ты был, Ларион Петрович. Прости меня, господи.— Павла утерла косячком подшальника уголки рта и уже тихо, сцепив под сухими грудями руки, сказала: — Потому, видать, и помереть хорошо не помер. Неправильно прожил, плохой смертью и помер. А я тогда, помню, пошла воды принести, гляжу, кирпичина серед дороги лежит, белеется. Нагнулась, думала, книжка какая, тогда много книжек пораскидали, пожгли. А это вот она, матушка.

— Кто ж это такая, Павла? Женщина какая-то. С ребенком. Красивая.

— Пресвятая Богородица с Сыном Видать, ночью ковалевские или крестовские мужики кирпичи с церкви возили да и уронили с воза Богородицу. И кирпичи, и иконы, и все что ни попадя, все, злодеи, волокли. Думали пречистопольским добром разбогатеть на веки вечные. Разбогатели... Когда Пётра Кунёнок потом загорелся, Анюшечка благая ходила по деревне и кричала: ковалевцы, окаянные, все погорите, нечистые ваши души! У кого, мол, печи и фундаменты из Всех Мучеников складены, все пеплом в небеса завьюжитесь! И правда, через год не то другой три хаты разом в Ковалевке сгорело и в Крестах одна. Милиция приезжала, разбирательство учинили, что да как, по всей форме. Анюшечку благую допрашивать на Новоалександровскую возили. То-то ж слова ее неразумные припомнили. Она еще хужей после того раза стала. Напугали. Видно, что напугали. Они ж как с людьми разговаривают... Да только никого и не нашли. Нервы последние Анюшечке стратили, и все. А Иван мне Шумовой говорил, что таких-то, как Анюшечка, они и не имели права забирать да допрашивать. Только с согласия родных. Иван, тот не сбрешет, Иван законы знает. А они родных и пытать не стали, загнали в машину, как овечку, и увезли.

Глава третья
НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ

В ту ночь Осип Матвеевич Дятлов долго не мог уснуть. Еще засветло, почувствовав в теле какую-то лень и немоту, повалился на лежанку, подсунул под голову скомканную, сбитую тяжелыми кулаками в бесформенную клочковатую кучу подушку, но сон не пришел ни сразу, ни погодя чуть, ни потом, когда и радио перестало говорить, обозначив напоследок размашистым гимном полночь. А тут еще собака затрубила за прудом, тварь поганая, да так пронизывала, что ажно кишки в нутре заворочались, зауркали обиженно, будто тесно им там стало.

Осипок поднял голову, почувствовал тяжесть, которая в последнее время стала вроде бы и привычной, да только разве ж привыкнешь к тому, что стар стал, что годы потянули за бороду да к земле? Тяжесть захватила затылок, надавила, там что-то натянулось и хлыстануло, будто жилка какая лопнула. И забилось, зажгло, а в висках зазвенело разноголосо надтреснутыми колокольцами, и перед глазами залетали фиолетовые мушки. «Ах ты, что ж это»,— подумал испуганно Осипок, и губы у него пересохли, зашершавели, как у больного. И еще

подумал вдруг, что так-то вот когда-нибудь прихватит серед ночи и помрешь, и не станет его, Осипа Матвеевича Дятлова, на свете. Дом останется, добро, хозяйство, земля... Вот и пересмягли губы от такой жестокой и настойчивой мысли, и во рту стало еще суше. Нечасто думал Осипок о том, что придет он, тот неминучий срок, что всем так природою назначено однажды родиться, однажды и умереть, и каждый раз сердце запекалось страхом, морщилось, дрожало, и все в нем, еще не совсем старом, еще сильном человеке, протестовало против той несправедливости, которая могла рано или поздно, а может, и прямо сейчас, вот-вот, безо время настигнуть и окончательно, насовсем приткнуть его к земле.

Собака опять завыла за прудом. Осипок все же собрал силы и встал, оперся о холодную никелированную спинку кровати, постоял немного, потом, шатаясь и скрябая по полу незавязанными оборками белеющих в ночи кальсон, подошел к окну и, прежде чем затворить его наглухо, чтобы не слышать больше этого тянущего за жилы воя, налег животом на подоконник и высунулся на улицу. Пахло смородиной и какой-то душной травой, которая, Осипок давно заметил, особенно слышна была по ночам. Но что за трава такая, он не знал. Вот и жизнь прожил, и всю ее, со всех сторон, посмотрел и понюхал, а травку эту, какую-нибудь пустяковую былинку, от которой только и проку, что запах густой по ночам, не узнал. «Так и смерть придет, за плечом встанет, и оглянешься, а не узнаешь»,— с дрожью подумал Осипок. Не знал Осипок и того, отчего это нынче корова пришла с полей как благая, ведро с пойлом опрокинула, старуху боднула. Вон, стонет теперь старая за переборкой, тоже, видать, не спит. И молока мало дала. Да и какое дала — негожее, с кровью. Так и велел старухе в свиной чугун вылить. Сглазили небось скотину. Или по змеиному следу прошла. «Надо,— подумал он, кряхтя,— завтра Павлу Михалиху позвать, чтоб глаза корове промыла да в углу покропила. Небось не пойдет. Ничего, коня к осени посулю, пойдет. Как ни вертись собака, а хвост позади. А может, пастух ударил?» И Осипок, упорно превозмогая в себе немощь, стал вспоминать, кто же нынче был в пастухах. Но мысли его были прерваны совершенно неожиданным, хотя и незначительным на первый взгляд происшествием. Но для Осипка все, что происходило возле его усадьбы, тем более в такую пору, ночью, было значительным.

Кто-то прошел вдоль штакетника. Осипок затаил дыхание, вглядевшися изо всех сил. У него даже голова кружиться перестала. Какое-то время он видел за белеющей полосой штакетника высокую темную фигуру человека, одетого во что-то длинное, похоже, в пальто или плащ. «Да ктой-то там смегает»,— подумал он, и другой его мыслью было: затворены ли на завалку ворота, а то, чего доброго... С добром о такую пору не приходят. Потом, пообвыкшись, он решил выйти во двор и покараулить ночного ходока.

Накинул на плечи фуфайку и тихо, чтобы не скрипнула, не дай бог, ни одна, ни другая дверь, вышел на крыльцо. Двери не скрипнули, не выдали хозяина, недаром он так щедро смазывал время от времени автолом петли. Автола у него в сарае целая десятилитровая канистра стоит, у шоферов командированных за бутылку самогона выменял вместе с посудиной. «Еще б они у меня вякнули»,— подумал довольно Осипок и босиком, даже не подвязав оборок, пошел по бетонной стежке к калитке, белевшей невдалеке под нависавшей сиренью.

Должно быть, время было уже такое, что вот-вот и развиднять станет. Вышла поздняя и необычно большая, так что закрыла собою половину неба, луна; вышла и зависла над прудом, озаряя тягучим красноватым светом его, Осипкову, усадьбу, прилегающий к ней луг за огородом и мертвые в этот час стога лип вокруг. От пруда наволокло тумана, и в этом смутном месиве тьмы и света не больно-то чего разглядишь и в трех шагах, но Осипок хорошо видел и в этой мутной наволочи.

Осипок вышел за калитку и пошел по стежке округ хлевов, но не следом за исчезнувшим там давеча человеком, а навстречу ему. Осипка не проведешь. «Если ты тут, — подумал Осипок, водя глазами по сторонам, — если не ушел прочь, то как раз мне и попадешься. На стежечке и попадешься. Меня — как воробья на мякине?.. Не-ет, меня так не проведешь».

Но Осипок все же пропустил того, кого искал. Перенадеялся Осипок на свое зрение, хитрость и ловкость.

Шел, шел, крался, крался и вдруг, как на столб, не к месту поставленный, в той кромешности наткнулся на окрик:

— Это ты, Осип?

Старик вздрогнул от неожиданности, остановился и, повернув голову и чувствуя, как заскрипели шейные позвонки, видать, от напряжения и страха, увидел обочь стежки, по которой только что прошел, под липой, как раз в том месте, где луна светила особенно ярко, высокую фигуру человека, одетого и впрямь во что-то серое, долгополое.

— А? — переспросил Осипок, будто не поняв вопроса незнакомца; он все еще не пришел в себя и собирался с духом.

— Я спрашиваю, ты ли это, Осип Дятлов? Ты ли, пулеметчик третьей роты первого батальона тысячу сто сорок...

«А голос-то, — кольнуло Осипку в самое сердце, — голос ведь знакомый. Не свой, не пречистопольский, а — знакомый. Да кто же это такто, пулеметчиком третьей роты, меня окликает?.. Тьфу, растудыт-твою! Так это ж блазнит мне», — догадался вдруг Осипок и ворохнул рукой. Но тело все занемело, руки слушались плохо. И снова, как давеча, в доме, когда внезапно навалилась мысль о смерти, одеревенели и высохли губы. «Нет, видно, не блазнит, — подумал, с трудом пропуская через свое сознание новые, вспухшие до невероятности, мысли. — Топорато, дурак, в сенцах не взял...»

И тут неподвижно стоявший под липой снова окликнул его:

— Подойди ко мне, Осип. Ты хоть и молчишь, а я тебя узнал. Подойди. Ноги-то у тебя вроде всегда легкие были. Крепкие. Ловок же ты, сосед, оказался, судьбу обошел, а пуля тебя вроде как и сама облетела. Не ранен. Не убит. То, что болело, зажило скоро. Душу продал. Еще смолоду продал. Легко живешь. Богатеешь. Ну, что стоишь, Осип Дятлов?

Но Осипок будто врос в землю. «Надо бы бежать, — подумал он, суматошно соображая, что же делать дальше, как быть,— побежать куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть во двор, что ли, в хлев к корове, да на крюк затвориться. Крюк там добрый, надежный, недавно из кузни принес, кувалдой в лутку вбивал. И пробой длинный, с усом. Такой и клещами не возьмешь. Да и присад там крепкий, свежий. Все там свежее. Навек строено. Там искать не догадается». Мгновения длились и становились секундами, секунды переливались в минуты — так шло, уходило время. А Осипок все стоял посреди стежки, белевшей под луной так же отчетливо и даже ослепительно-отчетливо, как и его кальсоны с незавязанными оборками. Время уходило, и тот, стоявший под липой, видать, устал ждать и двинулся навстречу сам. Осипок вслушивался в его громкие шаги. «Так, — подумал он, — ходят только по родной земле». Но понять до конца, кто же это к нему пришел, не мог.

— Кто меня кличет? Кто ты? — спросил, наконец, Осипок, кое-как пересилив себя.

— Я, — послышалось тут же в ответ, — Григорий Михалищин. Твой напарник по Десне. Не забыл Десну? Осень сорок первого? Заслон?

— Осень сорок первого?.. Напарник?..

— Тогда, на Десне, я тебе, Осип, не просто напарник был, а брат,— сказал Григорий и вплотную подошел к Осипку и в дрожащем свете луны увидел его бледное, в старческих морщинах, лицо, искаженное испугом, страхом.

— Какой еще брат? Нет у меня братьев. Нет никаких братьев. Ты — черт. Вот ты кто! Тьфу, нечистая!

И Осипок начал креститься, торопливо, размашисто. Григорий засмеялся глухим сдержанным смехом.

— Э, Осип, не тебе эти песни петь. Ты ж, кажись, ни в бога, ни в черта... Или, проживши жизнь, решил о душе подумать? А ведь не получится у тебя ничего. Ты вон и крестишься неправильно. Справа налево надо, а ты — наоборот, — голос у Григория стал твердеть. — Уж если молишься, то как следует молись. Молитву прочитай. Да на колени, на колени! Слышишь, ты, гад! На колени, кому говорю! Вот так. Теперь молитву читай. Может, и поможет. Только вряд ли. Молитвы тебе уже не помогут. Ты все уже переступил.

— Господи, господи, — забормотал Осипок, повалившийся на колени, — господи, избавь меня. Избавь, избавь, избавь...

— Э, да ты и не знаешь молитв. Бога из корысти вспомнил. Бог, он в тебе с самого начала задохнулся. Не жил он в тебе, бог. А раз так, то незачем и кривляться. Церковь на фундамент ломал? Ломал, говори? Ломал, знаю. Первый пошел. Ты да Утёнок. У кого, скажи-ка мне, в Пречистом Поле фундаменты из Всех Мучеников? Ни у кого. У тебя да у Утёнка. Из всего Пречистого Поля только два святых нашлось. Оба святы, да оба и косматы. Вставай-ка, Осип, вставай. Незачем тебе молиться. Нет в тебе веры. Ты и с людьми говорить не научился, а с богом... Ты, Осип, лучше не суйся к богу со своим нечистым языком. Весь ты, Осип, в грехе погряз. И искупить его тебе, как вижу, нечем. Я тебе Десну припомнил, а ты язык сразу и прикусил. Где тогда твой бог был, когда мы с пулеметами там, на берегу, остались? Я ведь о тебе, что ушел, комбату не доложил. Пожалел. Думали мы с Иваном, что придешь еще, приблудишь. Не пришел. И как же ты нам отплатил? А, земляк? Над нашими бабами измывался. Над солдатками.

— Прости, Гриша, испугался. Ты ж знаешь, каково тогда было,— охнул Осипок и стал хватать Григория за мокрые от росы полы шинели. — Мы ж тогда думали, что всё, окончена для нас война, что немец через месяц-другой всю державу подомнет под себя. И мы ничего уже не сможем поделать. Даже со своими пулеметами — ничего. А сколько у нас было тогда пулеметов? Раз, два и обчелся. Винтовки без патронов... Повоюй попробуй со штыком против танков. Ты ж, Григорий, и сам тогда думал, что не сладим мы с этой силой. Ну, признайся, думал?

— Мы с Иваном окопы и пулеметы не кинули. До самой последней возможности. А то, что ты испугался... Да, страшно было. Только не одному тебе было страшно. Ладно, разберемся. Утром разберемся. Утром все придут. Все. Вот и решим, что с тобой делать. Им тоже было страшно. Только они окопы не бросали. Ты им в глаза посмотришь.

— Я искупил! Я ж искупил свою вину, Гриша! Кр-ровью!

— Искупил? Нет, Осип, ты своей вины вовек не искупишь. Помнишь, пехотинцев наших на той переправе немцы посекли из пулеметов? Считай, что это ты их там оставил. Ты, Осип. Ты.

— У меня тогда пулемет заклинило.

— Врешь. Иван твой пулемет проверял. И патроны все целенькими остались. А мы с Иваном надеялись, что ты нас прикрываешь. У, гад! — Григорий замахнулся, но ударить не ударил. Осипок втянул голову в плечи и закрыл глаза. — Моя б воля, я бы тебя — без суда...

— Я в штрафной роте... Гриша, может, ты не знаешь, я ж в штрафной роте воевал. Искупал. Кровью искупал. Шесть разов в атаку ходил. По шесть атак чтобы, редко кто, Гриша... А я ходил. Я все искупил. Всю вину.

— Ты думаешь, время прошло, все шито-крыто? Никто Десну тебе не напомнит? Никто за полицейскую повязку не спросит? А как ты солдаток... Тоже, думаешь, забыто? Герой войны... Орденоносец... Перед пионерами небось выступаешь? Ну? Говори, выступаешь перед пионе-

рами? — Григорий нагнулся к нему, схватил за ворот белой нательной рубахи, рванул на себя, и тот, задыхаясь и хрипя, закивал:

— Выступаю, Гриша. Было раза три. Нет, два. Два раза всего выступал. Перед праздниками. Два. Два раза, Гриша.

— Перед какими ж праздниками?

— Выступал-то? Перед Днем Советской Армии и перед Днем Победы. Праздник такой... у нас...

— Нет, Осип, не пощадят тебя мужики. Не простят. Ладно. Отвечай на следующий вопрос: паек в кооперации как участник войны и как имеющий ранение тоже получаешь? А? Говори!

— Получаю. Дают ведь. Решение такое приняли. Объявили: так, мол, и так... Я и получаю.

— Исправно дают?

— Исправно. Сам председатель сельсовета, сам Степан Петрович Дорошенков за этим следит.

— Ну и шкура ж ты, Осип, — брезгливо, сквозь зубы процедил Григорий и разжал пальцы. Грузное тело Осипка осело на землю.— Шкура. А хорошим пулеметчиком был. Ну, ладно. Иди. Вставай и иди.

— Куда?

— Куда хочешь. И вспомни до утра все, что на совести у тебя. Судить тебя будем.

— Как — судить?

— Так. По законам военного времени. Расскажешь людям все.

Григорий ушел. Когда утихли за надворными постройками его громкие шаги, Осипок с трудом поднялся и, кряхтя и держась за поясницу, поплелся к дому. Раза два или три наступил на оборки кальсон, они трещали и, видимо, пооборвались, и Осипок уже не обращал на них внимания. Если бы сейчас кто-нибудь даже запалил его недавно построенный здесь, на отшибе, словно на хуторе, дом или добротные надворные постройки, сараи и хлева, полные скотины и домашней птицы, он, должно быть, тоже не обратил бы никакого внимания. Только когда он добрался до крыльца и обессиленно повалился, рассудок стал возвращаться к нему понемногу.

«Как же так, — рассуждал Осипок. — Григорий же Михалищин погиб. Да погиб он! Там, на Десне, и остался. И Ванька Филатенков, дружок его, тоже. Оттуда никто не выбрался. Никто. Только разве что я один. И то... выбрался... из навоза в дерьмо... Как же так? А пришел... И голос его, и шинель вроде его, и лицо. И не постарел совсем. Э-э, да это ж не иначе как что-то со мной не того. Михаленок погиб, убит, и похоронка на него приходила»,— убеждал он себя, и в какое-то время ему, Осипку, стало даже весело оттого, что вот с больной головы такое могло попритчиться серед ночи. Он потрогал надорванный ворот нательной рубахи, и вновь жестокая ясная мысль парализовала, обессилила его сознание: да, да, да-а... пришел... пришел... черед его, видно, и вправду пришел...

Долго караулила его судьба. То обходила, будто на потом откладывала, а потом вроде и забывала о долгах, то миловала, то трепала опять и опять, но всегда удавалось вывернуться, изловчиться, и опять — оседлывал свою жизнь, и погонял ее, погонял. На что уж тогда, в сорок первом на Десне, или потом, когда немец неожиданно слабеть стал, отступать, приперла она его, под самое горло петлю подвела, а все же удалось вырваться и все опять сначала начать.

Сначала... Как это — сначала?

Осипок открыл глаза, но ничего не увидел. Пахло мылом и сырой, начавшей преть тряпкой. Принюхался. Запах прели был резким, пригорно-кислым. Подумал с возвратившейся к нему привычной злобой: знать, старуха забыла тряпку из-под таза вытащить да на тыну развесить как следует, все лень ей, ступе, нагнуться. Видать, которые уж сутки преет, пол портит. Так, гляди, и грибок какой пойдет... Эх, да что теперь тряпка? Какая, к чертям собачьим, тряпка? Теперь вся жизнь,

считай, кувырком да кубарем. А сначала уж ее не начать. Не начать. «Невозможно такое, — думал Осипок, — чтобы жил, жил, года наживал, детей, седину, грехи, и грехи тоже, все не без греха, а потом взял разом — хрясь! — и пересек, как жердь топором, с одного маху, и — сначала. Это только кажется порой, что забыть прошлое можно и можно все сызнову начать. На самом деле так: свою, свою разъединственную жизнь всю жизнь живешь. Чужую-то не переймешь. И захочешь, а — не переймешь».

Годы прошли, будто на быстрых конях прокатили. А не забылись вот. Спаленное долго пахнет.

«А может, и ничего,— вдруг промелькнуло у него в воспаленном сознании. — Может, и обойдется? Потаскают, постращают, поплюют в глаза, да и отпустят душу на покаяние? Пускай, мол, доживает старик, ну его, дескать, к черту. А что мне ихние плевки? Что? Плевок, он хоть и виснет на вороту, да и это ничего, его вытереть можно. Вытер, и все. И нет ничего. Будто и не было. А каяться заставят, так я и покаюсь. Покаюсь. Не впервой. Перед силой-то... А там... Там поглядим еще. Он, Михаленок-то, не навек пришел. Знаю, чего он пришел. Пришел и уйдет. Оттуда навек не возвращаются».

Но тут же ему толкнуло в голову, что оттуда и вовсе не возвращаются. А Гришка Михаленок вернулся. Вернулся... Да... и за грудки вот его уже подержал. И рубаху разорвал, гад. И погрозился еще, что и Иван Филатенков тоже придет, и все, все пречистопольцы. «Михаленок и тот сразу налетел, — подумал Осипок, — а Иван, видать, как узнает про все, так сразу бить станет. Он всегда надо мной надсмехался, все, бывало, цеплял. А может, их встренуть? Встренуть как следует? В поле где-нибудь? В чистом месте, чтобы сховаться некуда было. А? Они ж без оружия идти будут. Без оружия, вот в чем штука... Михаленок же без оружия, значит... А у меня... Ага, вот я их на большаке и встрену. Винтовка-то лежит. Цела винтовочка. Берег. Как знал, что сгодится. Вот и долежалась до своего часа. Только бы патроны, тово, не стратились. Не отсырели бы. А то ж они точно придут. По мою душу. Придут и — как ягненка... Я им приду, мать их!..»

Осипок повернул набок свое грузное, вспотевшее тело, отдышался, собрался с силами и сел. Сил в его теле было еще много. Годы хоть и потрепали его, но сил — нет, не отняли.

Он посидел немного, встал. Огляделся. Теперь кое-что можно было уже разглядеть, если вглядываться попристальнее, не спеша. Кусты сирени неподвижно чернели в конце белой бетонной дорожки, пряча такую же белую калитку и высокий островерхий штакетник. В небе светили звезды, редкие, крупные, как все равно вымытые осенним дождем картофелины на пашне.

Осипок встал, просунул в надорванную прореху рубахи руку и холодными дрожащими пальцами почесал грудь. Пекло там, внутри, донимало. «Да что ж теперь, — Осипок сплюнул на пол липкую, как кровь, слюну. — Будь что будет. Оно и так бывает: тучи, тучи, а дождя и не капнет».

Он сошел с крыльца, постоял возле калитки, перегнувшись через нее и вглядываясь в конец аллеи. Луна отдежурила, зашла, и теперь в липах, особенно внизу, ничего нельзя было разглядеть. Где-то там лежал большак, его не было видать в этой кромешности, казалось, что все там, в полях, было залито черной неподвижной водой. «Скоро начнет светать, — смекнул Осипок, — перед рассветом всегда так зрение слепнет. Будто кто дегтем по глазам мажет». Опять завыла за прудом собака. И теперь он только злорадно усмехнулся, прислушиваясь к ее вою, то набирающему высокую надрывную ноту, то падающему в басовитый гудящий рокот. Теперь он знал наверное, что нынче у них не выгорит. Ничего. Теперь он снова почувствовал себя хозяином Пречистого Поля. «Вот только винтовку нужно вытащить да проверить. Долежала до своего часа, кормилица».

Когда переезжали в новый дом, когда перевозили все свое годами долгими нажитое добро — столы, стулья, горшки, чугунки да сундуки, — Осипок первым долгом перенес сюда свою винтовку, полученную им еще тогда, в декабре сорок первого года, в Новоалександровской полицейской управе вместе с новенькой черной шинелью и голубой повязкой. Надежная была винтовочка, безотказная, ловкая, словно по его руке и плечу и сделанная. В чужой, правда, державе, да что ж с того? Сколько раз она его выручала. Из хорошей стали она сделана, хорошим деревом обделана, по хитрому уму и умелой рукой. У немцев все было хорошее. Только шнапс был дрянь. Хуже нашего самогона. «Куда хуже, — вспомнил Осипок и потер грудь. — Слабый, как брага». Шинель он поносил порядком, прожег даже в одном месте, когда выбивали из Раменского леса партизанский отряд, так что пришлось немного подрезать, подкоротить полы. Потом, когда уходил через фронт, бросил ее в болото. Завернул камень потяжелее, обмотал куском проволоки и — в прорву. А винтовочку сберег. Закрыли железом крышу, чердак глиной замазали, засыпали опилками, он сразу и перенес ее. Почистил, смазал автолом, завернул в холстинковую тряпку и закопал в опилках под стрехой в самом углу, куда только ползком и можно было проползти.

«Только бы патроны не подвели, не отсырели бы патроны, — подумал он и трюшком вернулся на крыльцо, гремя по полу мокрыми и вываленными в песке оборками. — Посмотрим, посмотрим еще, кто в Пречистом Поле истинный хозяин. Думаете, вы? Вы? — Осипок сверкнул глазами в сторону села. — Э, да ваша власть только для видимости. Для отвода глаз ваша власть».

Осипок, неслышно ступая, прошел в комнаты, оделся. Отыскал в шкапчике электрический фонарик, который в прошлом году к Октябрьской привезла им со старухой в подарок дочь Людмила, так же тихо, как и вошел, вышел в сенцы. Там постоял немного, прислушался, спит ли старуха. Старуха спала. Во всяком случае, кровать под нею не скрипела и шагов не было слыхать, значит, она лежала смирно. «А там спи или так лежи, дело твое, — думал Осипок, — лишь бы в чужое дело не совалась». Он включил фонарик. Яркий свет снопиком уперся в чуланную дверь, и Осипок вначале испугался внезапной и неосторожной яркости и дернул кнопку выключателя назад. Но, постояв немного в темноте, которая после вспышки фонарика теперь казалась еще гуще и непроницаемее, снова передвинул кнопку вперед, вошел в чулан и вытащил из-под верстака небольшой зеленый ящичек. В нем он хранил патроны. Патронов было много, очень много. Может, целая тысяча, а то и поболыше — он так и не пересчитал их, хотя всю жизнь собирался это сделать. Знал, что хватит, если что, хотя и сам не понимал, зачем столько-то. «А чтоб рот всем заткнуть, вот зачем», — тут же возразил он себе, эта мысль ему понравилась, и снова все внутри у него стронулось с места, закипело, заликовало.

Он поддел ногтем защелки, сгреб в пригоршню гнутые ржавые гвозди, рассыпанные сразу под крышкой, поверху, на всякий случай, и сдернул тряпицу. Пахнуло кисловатым металлическим запахом, как пахнут руки, когда берешься за старую медную ручку, за которую лет сто никто не брался. Осипок направил дрожащий свет фонарика на ровные ряды патронов и понял, что патроны сохранились хорошо, патроны у него есть, надежные.

Подумал: «Вон оно как, все отрыгнулось, все наружу поперло...»

Осипок вынес ящичек на крыльцо и тут же вернулся обратно в сенцы. Поднял с пола лестницу, приставил ее к чердачному проему и, сопя и остерегаясь, как бы не оступиться и не загреметь вниз, полез на чердак. Вскоре он вернулся оттуда, держа под мышкой длинный, облепленный опилками и клоками пакли сверток. На крыльце выключил фонарик, сунул его в карман, развернул тряпку, и в свете звезд блеснул жирной смазкой короткий ствол немецкого карабина. Едва сдерживая в себе хрипящее, рвущееся наружу надсадным кашлем дыхание,

Осипок передернул затвор и злорадно засмеялся: «Вот она, Михаленок, правота моя. И власть. Настоящая. Против этой власти не попрешь. Нет, не попрешь. Попробуй только...» И закашлялся, уже не в силах сдерживаться. Его било кашлем так, что выступил холодный пот, и в Пречистом Поле, должно быть, на самой окраине, слышали, как задыхается сроду так не кашлявший Осип Матвеевич Дятлов. Когда приступ прошел, он утер рукавом фуфайки мокрый рот и прислушался.

За прудом было тихо. Даже собака молчала. Видно, надоело ей рвать нутро, тешить нечисть ночную, заснула. Перед рассветом сон крепок. И ночь глаз не сомкнешь, а перед рассветом словно медом веки мажут. Самый сон живой душе перед рассветом. Собачьей ли, человеческой ли.

Глава четвертая

ВЫСТРЕЛ

Григорий обошел Пречистое Поле, постоял возле некоторых дворов, вспоминая прежний порядок села, впрочем, мало изменившийся с тех пор, как он в последний прощальный раз окинул его с большака, уходя вместе с другими мужиками на станцию. Все здесь было вроде бы то же, но и не то. И чем пристальнее он вглядывался теперь в лик родного селища, тем больше находил на нем изъянов и признаков усталости то ли от непомерной ноши, то ли от небрежения, неухоженности и запустения.

Сколько лет прошло, — сколько ж минуло с тех пор годов? Да уж почти полвека. Полвека. Да. Вон как довоенные дворы состарились, к земле пошли. А новины мало. Такую войну вынесли — а ради чего? Ради какого счастья? Счастья-то не видать. Худо сельчане живут. Вон и постройки, новые которые, нерадостные какие-то, наличники даже неокрашенные, черные. Тыны похилились. Крыши на хлевах в прохудинах. Видать, и скотины в них небогато.

Да и колхозные скотные дворы тоже не порадовали солдатского глаза. Стены на подпорках, ворота все будто нарочно навозом обмазаны, едва висят на расхлябанных петлях — кузнеца у них, что ли, нет? Вокруг жижа стоит. Болото болотом. Раньше такого разора не было. Вот посмотрят мужики, вздохнул Григорий, не возрадуются. Обозлятся. Что ж это такое? Или уж хозяйствовать пречистопольцы разучились? Кажись, никогда такого не бывало. Колхоз крепкий был, зажиточный. Никогда соседям не завидовали. Это к нам все ехали, охали, завидовали. Один только лен какой большой доход давал. Хороший лен растили. Любо-дорого поглядеть было. Скирды какие высоченные ставили. А семян сколько намолачивали. Несколько обозов на Новоалександровскую отправляли. Зимами бабы да старухи пряли нити. Из волокна. Волокно шелковистое, как добрые волосы у опрятной девки после бани. Вытканное и отбеленное полотно невозможно было отличить от покупного, фабричного. А плотники... Да таких плотников, как в Пречистом Поле, нигде в округе не было отродясь. Или, может, некому уже стало хозяйствовать? Может, и так. Вон сколько выпадов на улице: три дома стоят, а на месте четвертого только бугор один остался, иван-чаем да чернобылом порос.

Павла не спала. Встретила его под навесом, одним боком покосившимся книзу, набранным когда-то доброй, а теперь почерневшей, рассохшейся и расщеперившейся дранкой. «Как ушел, — подумал Григорий, — видно, так и стояла тут, ждала». И сказал:

— Не спишь, Павла?

Он остановился перед крыльцом на белой стежке, окропленной коегде падающей с трав росой, и посмотрел на Павлу.

— Да какой нынче сон, Гриша, — ответила она.

Еще темень густо лохматилась повсеместно, еще млели в сонном

безветрии черные листья яблонь и ракит, отягченные осевшим на них бродячим туманом-полуночником, а в полях за селом зарницей вздрогнула и зарозовела как-то в одноразье ясная полоска. Сразу и звезды померкли, уменьшились, будто отдалились, только одна, над самой той полоской, все так же блестела, мерцая и переливаясь, и даже стала еше ярче, хотя и должна была бы погаснуть вовсе и первой из всех. С низкого крыльца михалищинского дома была видна и та дальняя полоска, и звезда та, и большак, вернее, часть его, поворот к выгону. Большак белел, как речная излучина. Остальное закрывал черный ольшаник и липы старого парка. «Ну, вот тут я их и подожду», — подумал Григорий, вглядываясь в белую излуку дороги вдали.

— Уморился? — спросила Павла, оглядывая его мокрые ботинки и потемневшую снизу и, видимо, потяжелевшую на плечах шинель.

— Светает, — вместо ответа сказал он и поднялся на крыльцо.

— Скоро уже придут? — спросила она опять, кутая плечи в подшальник.

— Скоро.

— Встречать пойдешь?

— Пойду. Вот посижу немного, и надо будет выйти. На большак.

— Ружье-то как, возьмешь? Или пускай пока в хате постоит?

— Возьму. По полной форме надо.

Он пошел в дом и вскоре вернулся оттуда, держа в руке винтовку. Шинель он подпоясал ремнем с потертым кирзовым подсумком. Подсумок был тяжелым и оттягивал ремень вниз.

— Что это там у тебя? — спросила Павла и кивнула на подсумок.

— Патроны, — ответил он.

— Посиди немного со мной, — попросила она его погодя и сама присела на лавку, косо прилепленную одним концом к столбу, на котором держался навес, а другим — прямо к стене. — Еще успеешь. Светать только начинает. Они, поди, еще далеко. Может, в лесу еще.

— Пожалуй. Большак отсюда хорошо виден, — он сел рядом, поставив к стене винтовку и по привычке положив на колени руки.

За ольхами в полях все разгоралось, яснело. Дорога и многочисленные стежки, стекавшиеся с разных сторон, стали видны совсем отчетливо, как днем, и только в ольшанике и в саду все еще жалась, ища укромные затулины и прячась там до поры до времени, темень.

— Постарел наш дом, Павла, — сказал Григорий и посмотрел на ее бледное лицо, матово высвеченное дальним светом зари. Только теперь он разглядел Павлу как следует. «Да, — подумал, — прошла жизнь. Прошла. Не воротишь. Ничего теперь не воротишь».

— Все старится, — отозвалась Павла; видно, и она думала о том же.— Камни и те вон мохом седым покрылись. Прошел наш век, Гриша. Да. — Она покачала головой. — Наш век прошел, а у бога дней не убыло. То-то жизнь человеческая...

— Дом я поправлю, — решил отвернуть разговор Григорий. — И хлева тоже поправлю. И колодец, если успею.

— Какой колодец? — спросила его Павла.

— А тот, в ольхах, возле ручья. Помнишь, перед войной как раз стежку я туда гатил?

Она вспомнила и улыбнулась неумело, расправив вокруг рта и на лбу несколько морщин:

— Я туда уже и не хожу. Давно не хожу. И ключ тот, поди, дрегвой да ряской затянуло.

— Цел ключ. Бьется. Живой. Вот сруб сделаю, поставлю, стежку проложу, и будут все Михалищи воду на чай брать да меня поминать.— И он тоже улыбнулся.

— Да где ж ты все это успеешь, ежели сказал, что на три дня всего? Ты уж хоть отдохни, в родимом-то дому, Гришенька. А то как дождь или снег начинает таять, так угол, вон тот и заливает. Попреют, боюсь, бревна. Иван Шумовой годов пять тому на чердак лазил, что-то

поправлял. Ничего, хорошо поправил. А летось опять потекло. Теперь я его не зову, тоже плохой стал, выпивает. Полезет, убьется еще. Хватит мне горя. А крыша... Что ж крыша. До края моего века хватит. Поди, не далек, край-то.

— Успею, — сказал Григорий и стиснул зубы.

Только и успел сказать это Григорий, как дернуло и раскидало рассветную тишину близким выстрелом. И тут же пуля рванула шинельное сукно на плече, обожгла кожу и, миновав-таки живое, щелкнула в дверную лутку, в самый сучок, так что только крошки брызнули, и расщепила ее. Григорий повалил на пол Павлу, придавил и свободной рукой подтащил за ремень винтовку.

Обойма пошла в магазин туго, будто век Григорий не заряжал своей винтовки. «А может,— подумал,— оттого, что от страха пальцы одеревенели? Да что ж ты, солдат, — пристыдил себя в следующее мгновение, — тебе ли бояться вражьей пули? Ты ж тот страх давно пережил. Пережить-то пережил, — утер рукавом вспотевший лоб, еще не зная, что делать дальше, — а все же страшно». Он положил винтовку цевьем на левую руку и начал всматриваться в рассветную муть. На дороге никого не было. Дорога дремала, как и час и два тому назад, будто никакого выстрела и не было. Как же, будет он тебя на дороге дожидаться. Стрелок-то, по всему видать, осторожный, такой пальнет и ходу, покуда его и видели. Вдруг Григорий заметил, что сизое облачко дыма расплылось в узкой, едва засквозившей в черном ольшанике просеке, как раз там, куда уходила стежка в село.

«Эх, ударить бы прямо туда, небось еще ветки колышутся, а потом чуть правее разок и чуть левее тоже, глядишь, и поймал бы стрелок пулю, будь он хоть трижды лукав», — подумал Григорий, до рези в глазах напрягая зрение. Никакого движения там не наблюдалось. Или затаился, или все же ушел. А наугад стрелять в сторону села... Пуля — дура, она и невинного споткнет. Видать, все же ушел. Воровски стрелял. Ушел.

— Да что ж это такое, Гришенька? — приподняв голову и торопливо обирая с лица спутанные волосы, подала испуганный голос Павла.

— Стреляли, ты разве не слышала? Стреляли. Вон, смотри, лутку как рассадили. Это в нас стреляли, Павла. Только работы прибавили. Сволочи. Присад хороший какой был, такой еще век провековал бы.

— Ох, господи родимые, это ж что, тебя так-то встревают?

— Меня. Встревают, — ответил Григорий. — А как же без встречи? Встревают. Рожном. Чуют, гады, что жареным запахло. Ты, Павла, полежи тут. Голову не поднимай.

— Куда ты? — Она хотела ухватить его за полу шинели, но Григорий уже вскочил на ноги и перебежал за угол дома и встал там, как вкопанный, прижавшись к стене и взяв винтовку на изготовку.

Так он стоял долго, замерев, только винтовочный ствол едва заметно покачивался. Потом переступил с ноги на ногу, оглянулся на Павлу. А та напряженно ждала, что вот-вот опять начнут стрелять. Но выстрелов не было. И Григорий сказал:

— Ушел, гад, — и вышел из-за угла, и подождал еще немного.

— Кто ж это тебя убивал, Гриша?

— А кто ты думаешь?

— Неужто Осипок? Поганец этот? У него ж и ружья вроде нет?

— Есть. Раз стрелял, значит, есть. Виделся я с ним, разговаривал. Правда, разговора не получилось. Не вышло у нас с ним разговора. Вот и заволновался. Сейчас, видать, бежит к своему терему винтовку полицейскую закапывать. Вот и прости его, шкуру, за сроком-то давности. Забудь ему грехи его. Нет, черта, видать, не уянчишь.

— Ох, не связывался бы ты с ним, Гришенька. Я ж тебе говорила, какой он зверь стал.

Григорий засмеялся. Но не весело, а так, как будто его кто вынудил засмеяться.

— Так что ж я, прятаться от него пришел? Пусть он от меня прячется. Нет, Павла, я с него за одну только эту метку взыщу по самой высшей мере, — сказал он и кивнул на разбитую лутку.

Она не нашла ничего ответить, только охнула и покачала головой.

— Пойду, — наконец решил он.

Он пошел по дороге, покрытой серо-голубой пылью, еще покуда никем не потревоженной, иа ходу поправляя тяжелый подсумок. А она вскинула ему вслед руку и не знала, то ли крикнуть что, то ли помахать так, молча. Что-то это ей напомнило, а что, она понять не могла. И только подумала, провожая его взглядом: «А все такой же... Гришенька ты мой...»

Осипок перелез через березовые прясла, которыми была обнесена часть приусадебного участка, прилегавшая к дороге и лугу возле пруда, пригнулся и трюшком побежал к задним воротам двора. Он затворил за собою воротину, выглянув напоследок,— никого на огородах не было, никто за ним не гнался, никто его не видел, не слышал, — поставил к стене винтовку и полез под низкий, крытый рубероидом навес, пристроенный к коровьему хлеву специально для хранения огородного инвентаря и сухих дров, сосновых и еловых — для растопки. Вытащил оттуда лопату, осмотрел ее, попробовал пальцем острое, смазанное солидолом жало, и поставил рядом с винтовкой. Забежал в сенцы и тут же вернулся оттуда с ящичком в руках.

Через несколько минут, все так же крадучись, будто волк возле овчарни, он перебежал дорогу возле крайних пречистопольских дворов и скрылся в березняке. Он шел по березняку, и теперь до большака ему было рукой подать. Лопата иногда стукалась о ствол винтовки, внсевшей на плече прикладом вверх, а стволом вниз, по-охотничьи, так она была меньше заметна, и вообще, так он любил носить оружие; он останавливался, поправлял ремень, сделанный им лет шесть назад из ссученной вдвойку супони, оглядывался по сторонам, перехватывал ящичек с патронами и снова, пригибаясь и перебегая от куста к кусту, от дерева к дереву, торопливо двигался вперед. Теперь все тело его сделалось крепким, неутомимым, словно прежние годы вернулись, те, когда был он здесь, в Пречистом Поле, в силе, в такой силе, что все если уж и не принадлежало ему, так никло перед ним, волей-неволей ломало шапку, а то и попросту ползало у ног, шевелилось... «Эх, — подумал завистливо Осипок, — моему бы коню да не изъезживаться! Я бы им тут порядки установил! Они б у меня... — И заухмылялся злорадно: — Я вам всем дорогу наладю. Всем. Г-гады-ы. Видал я хозяйвов почище вас. Вида-ал! А глаз мой еще ого-го! Верный мой глаз еще. И руки еще грабают. Грабают руки. Постреляем еще. Постреляем».

Он вспомнил, как, положив винтовку в ольховую развилину, не спеша, подождав, когда развиднеет, выцелил на крыльце своего клятого врага Гришку Михалищина и повалил с первого же выстрела. «Так и кобырнулся долой. Вот так-то, Михаленок. Нагрозился. Нечерта было тягаться со мной. Знал же, знал, что Осип Дятлов лучший в полку стрелок был, лучший пулеметчик. А патрончики хороши. Сколько годов пролежали, а хоть бы тебе что».

Осипок вышел на бугор. Отсюда большак уходил далеко в поля, к лесу. А лес тот едва виднелся и свивался с горизонтом в единую нить. Глянул Осипок на большак и никого до самого конца его не увидел своим цепким глазом. «Вот и хорошо, — подумал, — да и поспешать надо». Он поставил на землю зеленый ящичек, бережно положил на него винтовку, поглядел еще раз на ленту большака, теряющегося в дальних ржах, поплевал на ладони, сдвинул на потный затылок кепку и взялся за лопату.

Окоп он решил рыть справа, шагах в сорока от дороги, на самой горбовине поля, оставленного в нынешнем году под пары. «Сроду пары

не оставляли, а нынче, видишь, малый этот, Кругов, приказал, чтобы пары были. Не гляди, что в городе жил, а видишь вот — пары. Теперь будут им пары...»

Осипок рыл и оглядывался. Не увидел бы кто, не поднял бы тревогу раньше времени. Для стрелкового боя лучшей позиции не надо: видать далеко, вон как все вокруг просматривается, особенно там, в стороне дальнего леса схорониться им негде, там иасыпь низкая, совсем припала к пашне, валунов нет, их с поля давно укатили, иа постройки разволокли, и подползти не смогут: если бы рожь была посеяна, могли бы и подползти, окружить, а так нет, не подползут. Пары поросли реденькой ледащей сурепкой и такой же худой, на измученной, истасканной земле, ромашкой. «Дохозяйствовались, мать вашу, — подумал со злорадством Осипок, не поднимая головы. — Вот тут я вас, братики мои, и встрену. Тут я вам, землячки, и наладю путь обратно. Ага, отсюда и поползете назад. Откуда пришли, туда и поползете».

Лопата легко лезла в податливую полевую землю. Осипок откидывал ее вначале как попало, в разные стороны, лишь бы побыстрее углубиться, потом подправил ровик с краев и начал аккуратно, но почти так же быстро, сноровисто, словно всю жизнь только и делал, что рыл окопы, стал выкладывать землю по обрезу окопа со стороны дороги. Вскоре поднялся небольшой бруствер, и Осипок решил раскладывать его и дальше, на угол, на тот случай, если те, кого он пришел встретить, вздумают все же обходить его вон там, левее, вдоль большака. Погодя он скинул фуфайку, душившую его распаренное тело, и остался в одной исподней рубахе с надорванным распахом. Так, без фуфайки, работать было легче, способнее. Потная рубаха на спине сразу захолодела, и в другое время Осипок поостерегся бы и, чтобы не застудить спину и не мучиться потом радикулитом, накинул бы фуфайку обратно иа плечи, но теперь было не до этого. «То, что будет потом, — думал он, работая остро отточенной лопатой, — будет потом, а мне бы не упустить то, что теперь делается».

Окоп Осипок рыл в полный профиль, для длительного оборонительного боя, по всем правилам той нехитрой науки, которую преподали ему когда-то в Красной Армии, а потом и в другой армии. Да, и в другой тоже. Так что вышколили будь-будь. Науку ту он усвоил быстро, небось не дома строить: чем глубже копаешь и тверже земля, тем больше гарантии, что голова останется на плечах. Было времечко, много он окопов да траншей перекопал. В разных землях пришлось. И в глине, и в болотине, и в черноземе, и в тех, где камень да камень и конца ему, проклятому, нет, и в таких же вот песках рыжих. То отступал, то наступал, то снова отступал, то опять вперед. А как же, он, Осип Матвеевич Дятлов, тоже Победу ковал.

Дело подвигалось быстро. Вначале шла черная рожалая земля, потом пошла с пропежинами, а там и до песка Осип добрался. Песок был влажный, рыжевато-оранжевый, залегал он слоями, то посветлее полоса, то потемнее, то будто с ржавью да комочками глины. Никто тут никогда его не трогал, видно, с самых первых времен сотворения. Окоп получился аккуратным, правильным, удобным. Поглядело бы на его работу прежнее начальство, похвалило бы. Осипок подчистил дно, чтобы остатки песка не месились под ногами, никогда он этого не любил, потом, вглядевшись через бруствер в даль уходящего под уклон большака и снова никого там не увидев, выкопал в боковой стенке окопа нишу и утвердил там ящик с патронами. Винтовку положил перед собой на бруствере в канавку, специально выбранную лопатой после того, как все было уже закончено, — для стрельбы. Лопату выбросил в заросли сурепки, теперь она была не нужна. И тут вспомнил, что в магазине не хватает одного патрона, истраченного давеча в ольшанике на Михаленка. Он откинул крышку ящика, крышка открывалась в вырытой им нише удобно, без помех, загреб пригоршню длинных, как гвозди, патронов, рассовал их по карманам и дозарядил магазин. Но, прежде чем за-

рядить, потер отобранный патрон о полу рубахи, подышал на него, снова потер, понюхал и подумал: «И вправду как все равно гвозди. В каждую голову по гвоздю. По гвоздю им, гадам, в каждую голову».

— Ну, теперя, кажись, и покурить можно, — пробормотал Осипок, потянул к себе фуфайку, валявшуюся позадь окопа в сурепке, отыскал пачку папирос, спички и торопливо закурил. Стенки окопа быстро остужали его потные плечи. Теперь он рассуждал иначе, теперь можно было и порассуждать. «Ишь ты, — подумал, — как все одно в погребе, утром земля знобкая, не то что днем». И он надел фуфайку и похлопал себя по ляжкам.

Осипок делал затяжку за затяжкой, судорожно, щеками работал, как кузнечным горном. Щеки были серыми, до самых глаз обметаны седоватой щетиной. Выпуская дым, он тут же разгонял его рукой, чтобы не демаскировать себя. «Я им, гадам, по всем правилам военной науки — внезапным ударом. А там... Там что ж? Там либо петля надвое, либо шея прочь».

А в Пречистом Поле той порой уже стали просыпаться недолго ночевавшие люди. Перекликнулись раз-другой калитки, там и там разноголосо перебрехнулись разбитые ведра на колодцах, и пошло-поехало. Там корова рекнула, там женский голос всплеснул, как ключевая вода, и засмеялся молодо, счастливо, видно, хорошо ночевала хозяйка того голоса; там косу начали отбивать, там забранились на кого-то, а там ребенок заплакал, закатился, должно быть, есть захотел, а мамке недосуг. В селах, в деревнях день начинается на рассвете. В такую рань в городах, в рабочих поселках и прочих селищах, отвернувшихся от земли, только-только глаза продирают, зевают, ходят по просторным паркетным полам светлых комнат, зажигают газовые горелки, ставят на конфорки наполненные хлорированной, с нефтяным привкусом, водой чайники и кофейники. А то, может, и спят еще. А тут надо пораньше встать и подальше шагнуть. К тому же и пора такая подступила — сенокос.

Председатель колхоза «Верная жизнь» проснулся этим утром, как всегда, рано, умылся, выпил чашку растворимого кофе и тихо, чтобы не потревожить спящую жену и дочь, вышел из дому. До правления было рукой подать, один куриный переход, как говорится. Дверь он отпер своим ключом. В коридоре пахло свежевымытыми старыми досками. Обшарпанный, обдерганный подошвами кирзачей трактористов, скотников и каблучками секретарши, пол еще поблескивал кое-где остатками желто-коричневой краски, и Кругов подумал, что пора бы в правлении ремонт сделать. Капитальный. А то отделали в прошлом году залетные закавказские шабашники один его кабинет да приемную, содрали черт знает какие деньги, за такую плату новое здание можно было бы срубить. Кругов подумал о ремонте, о деньгах, которых не хватило, и поморщился. «Эх, не до того сейчас, не до того. Вот покос закончим, тогда, может быть, и силы, и время выкроим. Надо бы заодно и клуб подправить, подштукатурить, подбелить изнутри и снаружи. Но там ведь и печи менять надо, а это серьезная работа. Еще и в школе крыльцо провалилось... Обещал директору плотников прислать. В гаражах тоже...» И тут же усмехнулся горько сам над собой: покос кончится, уборка зерновых начнется, нынче лето жаркое, все быстро зреет, озимые, потом яровые. А там и картофель подойдет. Нынче сто пятьдесят гектаров всучили. Опять всем народом в поле. Так что опять с ремонтом потерпеть придется. На уборку картофеля пенсионеров придется мобилизовывать. Школьников. А директор на крыльцо кивнет, мол, обещал, как же... Студенты приедут, на целый месяц, размещать где-то надо, кормить. Дожди, как всегда... Так что... Он снова поморщился, вспомнив о том, что студентов придется размещать все же в школе. Так что плотников, поправить крыльцо, послать надо будет.

Еще в приемной услышал Кругов, как зазвонил в кабинете его телефон. Он торопливо открыл английский замок и вбежал в кабинет. Звонил главный инженер Виктор Петрович Ефименков.

— Ну, что там у тебя, Петрович? — спросил его Кругов возбужденным голосом, как будто уже ответил на десяток звонков, и подумал удовлетворенно: «Молодец все же у меня главный инженер, уже на ногах, уже в мастерских, чувствует ответственность, уже в курсе дел».

Кругов уселся поудобнее в мягком кресле и по привычке придвинул к себе блокнот с отрывными листками. Профессиональный, так сказать, жест. А блокнот с отрывными листками в багровой глянцевой обложке нынешней весной подарили ему на областном совещании руководителей хозяйств, и теперь он всегда держал его под рукой. Очень удобная штука для различных записей, для поручений. Не отнимая от уха трубки, он вынул из прозрачного плексигласового футляра авторучку, попробовал перо, перо не пересохло, писало ровно, хотя слегка жирновато. Но так он любил. И вообще все в его кабинете было в полном порядке. Подоконники, столы и книжные шкафы протерты от пыли. Линолеумный пол свежо поблескивал. Видимо, уборщица тетя Таня только что ушла.

Кругов выслушал главного инженера, что-то черкнул себе в блокнот, но тут же выдернул из блока замаранный листок, скомкал его и бросил в стоявшую возле сейфа корзину.

— Да очень просто, Петрович! Да нет. Нет. Нет. Давайте так: сегодняшнюю планерку проведем в мастерских. Да. Да. Конечно. Непременно. Да. Через полчаса. Хорошо. Ждите. Я позвоню в Совет, им тоже нужно на таких мероприятиях присутствовать. Пусть вникают. Задачи общие, так что всем нужно плечо подставлять. Все, Петрович, договорились, — и положил трубку на рычаг.

«Что ж, день начинается неплохо. Вот только как на лугу дела пойдут? А, ладно, пойдут как-нибудь», — подумал Кругов и сделал в блокноте торопливую запись:

«Александра Владимировна!!!

С сегодн. в ежедн. сводку вкл. графу по сену, сенажу и силосу. К обеду разыщите кого-нибудь из агрономов и передайте сведения в район. Я в поле.

Пред. Кругов».

Вот такие записочки он писал каждый день. Иногда по нескольку. И считал писание этих поручений и напоминаний частью своей работы.

Так, кажется, все. Кругов повернулся к окну, потом к сейфу. Кресло под ним поскрипывало. Оно словно пришептывало ему: сиди, мол, сиди, все нормально.

На глаза попала папка с текущими делами и различными бумагами. Из нее торчал потертый уголок то ли какого-то письма, то ли извещения, то ли записки. Кругов потянулся к ней, выдернул из папки и, вытянув ноги и откинувшись на мягкую спинку кресла, стал изучать заинтересовавшую его бумагу. Бумага была неопрятной и исписана кривыми буквами, как пишут обычно дети. И тут Кругов вспомнил: а, так это же заявление той пенсионерки Анны... Анны... э-э, как же ее по отчеству-то... Кажется, Прокофьевна. Анна Прокофьевна Захарюженкова. Что, бишь, она тут просит? Все просят, просят, просят... Ага, все ясно: прибавить к пенсии. «Хм, прибавить, — подумал рассеянно Кругов. — Как будто это так просто — взял и прибавил».

«...а ежели, дорогой товарищ председатель колхоза «Верная жизнь», — вдруг наткнулся он на те строчки заявления, которые раньше почему-то не заметил, — *нету такой возможности у колхоза, чтобы пособить своей бывшей свинарке, то и ладно. Проживу и с такой пензией, недолго осталось. А только хлевок мне тогда поправьте, а то коровушку балкой задавит. Тогда некого будет доить для нужд государства.*

Колхозница с 1934 года А. П. Захарюженкова».

«А, черт, — подумал с досадой Кругов, — говорил же Дорошенкову, чтобы переписал всех стариков, чтобы спросил, кто в чем нуждается, чтобы составил график и поочередно производил ремонт домов и надворных построек. И так в Совете коров мало. Поголовье с каждым годом все уменьшается и уменьшается. За это дело и так на каждом исполкоме бьют и бьют. Предрик на меня уже косо смотрит. А он член бюро. При случае может... А, черт!»

И Кругов начал набирать номер телефона председателя сельисполкома. Вызов шел исправно, но трубку никто не поднимал. «Спит! Вот так! Тут сенокос начинаем, во всеоружии, так сказать, а он — спит! Доспишься... Вот возьмет эта Анна Прокофьевна Захарюженкова, накарябает такую же жалобу и мотанет ее в райисполком. Да попадет эта жалоба не к Людмиле Осиповне, а к самому предрику, и позвонит тот первому... Нет, надо с этим Дорошенковым разбираться. Срочно разбираться...»

Кругов встал, подошел к окну, отодвинул шпингалеты и с треском открыл одну из створок. Ветер заиграл тонкой голубоватой шторой, повешенной здесь после ремонта секретаршей Александрой Владимировной, взъерошил подшивку газет на приставном столике.

«Родня родней, — решительно подумал он, — а дело делом. А то так до чего угодно доработаться можно. По-родственному. И Осип Матвеевич тоже слишком много хлопочет. Советчик. В теневые лидеры, что ли, рвется? То-то он мне все подсказывает. И Людмила Осиповна... Да, она человек твердый. Старой закалки. Осип Матвеевич в своем духе дочь воспитал. Вот теперь, видно, за меня взялся. Что ж, пусть хлопочет старик. Правда, прошлое у него, говорят, какое-то темное... — Кругов вздохнул, потер ладонью лоб. — Черт их тут разберет, кто кому кум, кто брат, а кто враг смертный. Вот тебе и деревня. Вот и примитив тебе. Тут такой примитив, что сам черт не разберется. Одно пока ясно — с этим народом ухо надо держать востро».

Где-то в середине села, в самой его глубине, будто на дне глубокого колодца, забили в коровий звонок. И эти редкие заунывные звоны по какой-то странной ассоциативной связи снова напомнили председателю о заявлении старой колхозницы. «Вот еще задача, в разгар-то сенокоса», — поморщился он и потянулся было к телефонному аппарату, чтобы все же дозвониться до председателя исполкома Пречистопольского сельского Совета Степана Петровича Дорошенкова и отчитать его как следует, но в последнее мгновение вдруг передумал, откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Он вспомнил, какие хорошие удилища видел позавчера в раймаге — телескопические, длина пять с половиной метров, пластик, производство ГДР, цветные наклейки. Фирма! «Надо сегодня обязательно шофера послать. Дать деньги и послать. Пусть купит пару штук. Нет, пожалуй, тройку надо. Одну Геннадию Григорьевичу подарю, у него где-то на днях, еще надо уточнить, когда именно, день рождения. Заеду, даже если не пригласит, и как ни в чем не бывало преподнесу, так сказать, от чистого сердца. Пусть знает, что я не помню старых обид и что ему самому пора перестать сердиться на меня и щипать по каждому пустяковому случаю на совещаниях да на бюро. Другое надо подарить тому старому мухомору из агропрома, как его, Пантелеймон Исаевич или Исай Пантелеймонович. Тьфу, ч-черт, памяти на имена совершенно нет. Так нельзя, надо тренировать себя запоминать имена, фамилии. В нашем деле это не последнее...»

А звонок в глубине Пречистого Поля звонил и звонил. И Кругов, прервав свои размышления, опять встал из кресла, подошел к окну и прислушался.

(Окончание следует)



ВАЛЕРИЙ ЧЕРКАШИН



ИДУ ЧЕРЕЗ МЕЖУ...

* * *

Не перешел границы супостат.
Не прокатилось пламя над холмами.
Но вот теряет армия солдат —
взводами, батальонами, полками.

Стратег победы больше не у дел.
Бюджет военный растащили главки.
И рушатся ракеты, не взлетев.
И режется броня для переплавки.

Снимаются секреты и посты.
В отставку провожают генерала.
Мечи перековали на орала,
а дальше? На кофейники щиты?

Не допустив ответного «ура»,
нас побеждают, не пленив, не ранив,
без поединка, не на поле брани —
дипломатичным росчерком пера.

* * *

Иноверцы, инородцы,
прежде и теперь
в нас Господь с нечистым бьется,
с Человеком — зверь.

В злости, в зависти, в погроме,
в Центре и в глуши
хищник ищет нашей крови,
сатана — души.

И в боренье вечном этом,
в истине самой
Отче полнит души светом,
а нечистый — тьмой.

Не на сече, а на вече
нам сойтись черед:
не осилит человече —
зверь свое возьмет.

ЧЕРКАШИН Валерий Григорьевич, полковник запаса, родился в 1941 году в Краснодаре. Окончил суворовское военное училище в Ставрополе, затем артиллерийское — в Ленинграде. Командовал взводом в Группе советских войск в Германии, а затем прошел путь военного журналиста — от корреспондента солдатской многотиражки до редактора отдела журнала «Советский воин». В Ставрополе и Москве вышли его поэтические сборники: «Письмо за горизонт», «Середина марша», «Отцовский рубеж», «Первая память», «Берег осени» и др. Член Союза писателей СССР.

* * *

Бегут...
Бегут —
дороги не хватает.
А логика трагедии проста:
их за пределы
взрывы выметают,
крушившие обители Христа.

* * *

И снова — ночь.
Скалист и крут подъем,
и в темноте не отыскать обхода.
Который день, который век идем,
но где же ты, заветная свобода?

Все громче и отчетливей в груди
болящим сердцем бьет беда тревогу:
во всем ли прав идущий впереди
и знает ли он верную дорогу?

И почему опять несем урон?
Из-за чего вокруг враждуют братья?
За чьи грехи летят со всех сторон
угрозы, обвинения, проклятья?

И некому назвать себя вождем.
И каждый шаг обходится дороже.
Который день, который год идем:
на ощупь, в темноте,
по бездорожью.

* * *

Выйду из осени в зиму,
пряча в ладонях свечу,
и побреду к магазину —
теплого хлеба хочу,

светлого взгляда навстречу,
доброго слова вослед...
Лягут снежинки на плечи
тяжестью прожитых лет:

звоном утраченных весен,
тьмою погашенных свеч,
треском поломанных весел,
грустью несбывшихся встреч...

Вольно мне в зиму тащиться
из охладевшей зари —
пусть пробурчит продавщица:
«Нынче — одни сухари...»

Судьбы

Мой дом не крепость,
даже не редут.
Все то же ль Время,
новое ль настало?
Придут за мною нынче,
не придут,—
не ведаю, но помню,
как бывало:
за то, что черный день
родной земли
увидел я сквозь флаг
кроваво-алый,
меня под белы руки увели
взъерошенные профессионалы.
В «казенном доме» посреди ночей
вдували холод в полымя артерий,
и передали в руки палачей,
приговорив к веревке в Англетере.
За то, что был я громок и высок
и разглядел разруху и насилье,
мне выстрелили в сердце и в висок
незримые правители России.
За то, что гневно вспомнил о вожде,
когда народ врагами запугали,
меня ребята из НКВД
до смерти запинали сапогами.
Когда из-за гулаговской стены
я вынес людям истину и ясность,
мне выписали визу из страны,
тем укрепив свою госбезопасность.
А я опять иду через межу —
под те же пули в том же пистолете.
О том, что дальше будет, расскажу,
но, может быть, еще через столетье.



ПРОЗА

ВЛАДИСЛАВ ШУРЫГИН



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

РАССКАЗ

Снилось нелепое. Будто он, седой уже мужик, сидит за столом с молодым еще старшим братом Сергеем и хлебает щи из чугунка. Глухо скребут ложки по дну, светит в окно летнее солнце, но жутко и холодно на душе у Григория Лешакова, потому что знает — не зря оказался он за этим столом... Вот Сергей отложил ложку.

— Твоя последняя осталась, — слышит он, как издалека, голос Сергея. И страшно ему, до судорог в руках, вытащить эту последнюю ложку из чугунка.

С тем и проснулся. В окно уже вовсю палило яркое июньское солнце.

Спешить некуда. Воскресенье. Еще вчера жена с детьми уехала к родителям: надо помочь старикам в огороде, да и детишек на месяц решили у них пристроить, а за это время отремонтировать дом.

Дом он поставил на краю поля. Сначала жил у бабки Тони, но весной сорок седьмого приехала в деревню к ним молоденькая медсестра. Молоденькая, а на гимнастерке медаль «За отвагу» да красная нашивка. Григорий как раз тогда слег с воспалением легких. Выходила она его, да от другой болезни не уберегла — сердечной...

ШУРЫГИН Владислав Владиславович родился в 1963 году в Евпатории, однако фамильные корни его уходят в глубь Смоленщины. С этой землей связаны вековые семейные традиции — и отец, и дед, и прадед с оружием в руках служили Отечеству.

В. Шурыгин окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Службу начал в Московском округе ПВО, но журналистские пути-дороги приводили его и в Нечерноземье, и в казахстанские степи и на руины Ленинакана. Россия, Смоленщина, защита Отечества — главные темы его творчества. Живет в Москве.

Баба Тоня, конечно, предложила молодым остаться у нее, ей-то радость на старости лет среди людей пожить, но Григорий решил иначе. Нужен свой дом. Сначала хотел ставить его на берегу речки, потом передумал: тянуло родительское пепелище. Стал было прикидывать, как и что. Даже ямы под столбы начал копать, да на втором «штыке» наткнулся на обгоревшую деревяшку. Выдернул ее из земли, и как обожгло — была это крышка от материной шкатулки, где хранила она обычно письма, грамоты, бусы да кольцо венчальное. Сглотнул горький комок и аккуратно, словно боясь нарушить покой этого места, уложил крышку обратно, заровнял яму.

Долго маялся Григорий, не мог отыскать место для дома. Не лежала душа. Но потом все же решил: место разметил на краю своего Лешаковского поля, у самой дороги. До крайнего дома отсюда добрых метров двести было, а то и поболе. Народ только головами качал — мыслимое ли дело особняком возводить хоромы?

Строился Григорий основательно. Сделал «подушку», чтобы подпол сухим был. Выкопал траншею под фундамент, ямы под угловые столбы... И пошло!.. К осени переехали. Давно это было, почитай девятнадцать лет минуло... Теперь никто и не помнит, что жил особняком. За эти годы целая улица приросла. И уже далеко за его дом вдоль дороги утянулась. Деревня теперь поселком зовется. Правда, улиц в нем всего две. Одну так и назвали «Старая», а вот улицу Григория долго думали как назвать. Победы?.. Советская?.. Новой жизни?.. Один старик, страстный слушатель радио, даже предложил назвать «имени героической борьбы корейского народа». Но встал председатель и негромко сказал: «Предлагаю назвать имени Сергея Лешакова». И уже хотели голосовать, как вдруг встала баба Тоня: «А что имени одного брата? А родители их разве не приняли мученическую смерть? Пусть будет просто улица Лешаковых».

С тех пор почтальонка носит почту по улице имени Лешаковых.

...В сарае он долго точил лопату. Любил ладный, приемистый инструмент. Взял пару старых, ржавых ведер. Сегодня у него была одна задача — начать копать подвал. Решил оборудовать в подвале ледник, как у соседа Антона, пышноусого хохла, приехавшего сюда после армии жениться, да так и осевшего здесь. С собой он привез привычки и уклад далеких украинских краев. Многое было странно деревенскому народу в его жизни. Одно приняли, на другое обиделись. К чему, к примеру, возвел Антон глухой двухметровый забор? Сроду такого не делали в деревне. Все больше тычинником отгораживались, и то скорее от скотины неумной, чем от людей. Но хозяином Антон был крепким, это факт. Многое у него деревенские переняли.

Погреба чаще делали около дома, и у Григория имелся во дворе погребок. Правда, прок от него был только летом. И то не всяким. Осенью, весной он стоял залитый водой, а зимой, случалось, промерзал так, что только мясо можно было хранить. И вот однажды увидел Григорий у соседа другой погреб, под верандой. И так все ладно, удобно. Круглый год одна температура. Подивился, поспрашивал и про себя решил летом сделать такой же. Смутила его, правда, поначалу яма под домом. Вроде не по-здешнему. Глина кругом. Копни — зальет водой по весне, и, глядишь, к осени под полом болото. Ничем его потом не выведешь — сгниет дом. Но у Антона все хитро. Ступеньки, яма, пол — все в цементе, все промазано. А на дне, под досками, под навозом, глыбы льда с зимы до зимы лежат. Если вода откуда и просочится, тут же и подмерзнет. Хорошо!

И все-таки тяжело было на душе у Григория. Не шел из головы сон. К чему бы это? Вроде все ладится. Вот и Дмитрий, средний брат, письмо отписал. На днях собирается со всей семьей переезжать в родные края. Родина-то — она тянет. Никуда не денешься. Дом уже купил на Старой улице.

Дмитрий!.. Сережа!.. Эх, ребята, ребята!.. Раньше все братья казались старшими, серьезными, сильными, а тут вдруг на Девятое мая глянул на них, и что-то оборвалось в груди. Висят на стене фотки парней, молодых да ладных. Ну разве что чуть постарше его первенца Димки. А из зеркала, что рядом на стене, смотрит на него седой, немолодой уже мужик.

Грустно стало Григорию в тот день. До слез. Понял вдруг, что не месяц прошел с тех осенних дней. И даже не год. Жизнь прошла. Его жизнь.

Но сегодня особенно все припомнилось: и запах махорки Сережиной, и заплаточка на его локте. Нет, никуда это не ушло, живет в нем, болит. И сон-то какой тяжелый, чудной. Григорий вздохнул. «Нет, надо развеяться, — подумал, — а то совсем раскисну. Старею, верно!» И крепко стиснул держак лопаты.

Подпол пахнул холодом и тяжелым земляным духом. Григорий прикинул, каким будет погреб, расчертил его, вбил колышки по углам. После этого аккуратно отгреб слежавшийся песок, на который обычно ссыпал по осени картошку. Расчистив квадрат для работы, плюнул на ладони. Можно начинать.

Поудобнее перехватил лопату, нацелил место для первого «штыка» и привычно сильно надавил на тыльник ногой. Лезвие легко вошло в землю, и тут странный, до жути знакомый скрежет обжег слух. Тело вдруг стало ватным. Он с силой оттолкнулся от лопаты и хотел откинуться, упасть, но спина уперлась в вырез пола. Мысли вертелись как в бешеной карусели: «Сейчас и меня!.. И спрятаться негде. Вот сейчас... Значит, вещий был сон. Вот оно... Третья смерть...» Мышцы скрутились в жгуты, словно защищаясь от рвущего в клочья огня... Но взрыва все не было. Секунда, вторая... Григорий с ужасом смотрел на косо торчащую из земли лопату, чувствовал, как по спине, бокам, груди бегут струйки пота. Наконец опомнился. Аккуратно, тихо вылез из подпола и вышел на кухню. Там сел у стола и дрожащими пальцами раскурил папиросу.

Как по писаному сбывались слова Дмитрия, сказанные в далеком сорок пятом: «Два раза со смертью не встречаются...»

Сергей подорвался утром. Сноп огня, рванувший из-под рук, вздыбил землю и, отшвырнув его прочь, растаял в белесом кислом дыму.

Григорий не успел испугаться. Все случилось так неожиданно, что он даже не понял, видел ли взрыв или просто пригрезилось... В тот миг он сам стоял на коленях перед такой же миной. Наверное, все-таки видел, потому что еще доли секунды не доходил до него смысл происшедшего, и он привычно, размеренно выкручивал взрыватель.

А потом вскочил. И побежал назад. Он бежал к брату, но путь к нему был только один — через две узкие полосы: его и ту, которую торил Сергей. У палки с тряпкой, обозначавшей створ, он столкнулся с Дмитрием. Без слов они бросились туда, где над рыжим глиняным срезом воронки курился, оседая, дым. Взрыв отбросил брата в сторону, на мины. И уже в первую минуту, когда они трясущимися руками тыкали в землю, один — заточенным шомполом, оставшимся от Сергея, другой — ножом, оказавшимся в кармане, стало ясно — спешить незачем. Брат лежал неподвижно. Только ветер сердито трепал веники жухлой травы да земля сухо хрупала под шомполом и ножом. Это молчание холодной пустотой залило душу, скрутило ее, сдавило обручем грудь.

Три противопехотки сняли они на пути к Сергею. Первое, что увидели, — неестественно подвернутая нога и густо испоротый осколками

ватник. Лица было вообще не узнать. Дмитрий не выдержал, отвернулся. Стянул с головы ушанку и не глядя положил ее на лицо убитого...

— Братка... — наконец хрипло, не своим голосом выдавил он. — Да как же это ты, неаккуратно-то, не уберегся...

Он еще хотел что-то сказать, но слова застряли в горле и вырвались вдруг глухим стоном.

Григорий молчал.

Потом они неловко подхватили тело, один — за ноги, другой — под руки, и медленно побрели с поля.

— Ты иди позади, — с трудом составляя слова, пробормотал Григорий. — Вперед ногами надо несть...

И они суетливо развернулись и так же молча, стараясь идти в ногу, зашагали к деревне.

Это поле было ихним, Лешаковским. Еще отец, Лешаков-старший, отвоевывал его у болотины, рыл с мужиками траншеи для отвода воды. Сколько сил в него вложил! И потому как пришло время сева, то первая борозда была его. А где первая, там и вторая, третья. В общем, как-то само собой закрепилось за полем прозвище — Лешаковское.

С войны вернулись все трое. Обошла смерть братьев. Обошла, да не обделила. Первым на пепелище отцовского дома приехал Дмитрий. Поначалу воевал он в артиллерии, но после ранения под Курском попал в повара. И как ни пытался вернуться к родным «богам войны», так до победы при кухне и пробыл. Потому и отпустили его домой сразу.

Первым Дмитрий узнал от соседей о жуткой судьбе родителей. Немцы пронюхали, что сыновья Лешакова в Красной Армии, и однажды вечером ворвались в дом, зверски избили стариков, а потом заколотили окна, двери и подожгли избу...

— Так они четвертый годочек там и лежат, — закончила рассказ Тоня, старенькая соседка, и глаза ее, бесстрастные, усталые, скользнули с лица Дмитрия за окно, где среди черных обугленных бревен сочно проросла крапива.

К возвращению Сергея — он служил в морской пехоте — за деревней на погосте у реки уже стоял над свежим холмиком крест с двумя табличками. Немногое нашел Дмитрий на пепелище. Что затерялось, что в землю ушло, что голодные псы растащили. Но братьям сказал, что все как есть в могилке, до последней косточки. Так рядом и лежат. Хоть им, братьям, полегче будет.

А поле зарастало. Перед отступлением наши саперы его заминировали, потом немцы, уходя, еще добавили... Мертвой земля стала. И начала вести счет свой кровавый. Сначала корова подорвалась, потом мальчишки сунулись...

Лешаковским его теперь никто не звал, а все чаще — Гиблым.

Сергея положили во дворе на верстак. Сами сели рядом, у стенки. Дмитрий неторопливо скрутил цигарку, потом так же неторопливо прикурил от самодельной зажигалки и наконец, выдохнув горький дым, негромко протянул:

— Вот мы и остались вдвоем.

— Остались... — Григорий в скорбном молчании смотрел в небо, на мрачные облака, тесной стаей уплывавшие к горизонту. В разрывах их то и дело проглядывало низкое осеннее солнце.

— Господи, убился! — Григорий обернулся: от дома торопливо семенила Тоня. Она подошла к верстаку, склонилась над Сергеем. Приподняла шапку, и лицо ее сразу закаменело. Она покачала головой, вздохнула, перекрестилась. — Господи, такой молодой! И не по-людски-то как. За что же так лицо-то? Такого красивого так. Не по-людски... — И она снова перекрестилась.

Взвизгнули петли ворот, и в проем торопливо шагнул председатель.

— Что у вас? — почти зло крикнул он. — Без фокусов не можете?! — Но тут он увидел верстак и уже медленно, тяжело зашагал через двор к сараю. У верстака задержался, стянул с головы кепку, помолчал. — Эх вы... — наконец протянул он устало. — Говорил вам, не лезьте на поле. Убьетесь! А теперь вот — какого мужика не за понюшку...

Он тяжело вздохнул и неловко опустился рядом с братьями, вытянув перед собой негнущуюся, простреленную ногу. Потом они долго молчали. Наконец председатель тихо, буднично сказал:

— Ты, Дмитрий, бечевку, что ли, принеси или веревку какую.

— Зачем? — непонимающе посмотрел на него Григорий.

— Дак это... По-людски же похоронить надобно. Война кончилась. Теперь по-людски надо. К завтрему гроб какой-никакой смастерю. И доски есть. Принеси бечевку-то, а то, это, надо еще сегодня ехать за хлебом. Припозднюсь, не будет хорошего.

Председатель начал подниматься. Ухватился одной рукой за верстак, другой уперся в бревно за спиной и с силой оттолкнулся от него. Верстак вздрогнул, и вместе с ним вздрогнул Григорий. Ему на миг показалось, что все это сон и вот он кончился и Сергей сейчас соскочит с доски.

— В горницу его снесите, — так же, как и председатель, буднично, негромко сказала Тоня. — Да воды натаскайте поболе. А я пока за Марией схожу. Вдвоем управимся. — И она зашагала к воротам. На полпути обернулась: — И белье свежее приготовьте.

Хоронили Сергея на следующий день.

Все так же стылый ветер гнал к горизонту облака и сквозь разрывы в них рыжее осеннее солнце торопливо мазало землю поздним холодным золотом. На погосте собралась вся деревня. Вся, что осталась...

Назавтра, не сговариваясь, поднялись рано. Молча и тщательно собирались и, когда серая предрассветная хмарь начала светлеть, уступая место долгому осеннему утру, вышли из дома. На окраине, у дороги, отбросив далеко светляк окурка, с бревна навстречу им поднялся председатель.

— Опять за свое, — хмуро сказал он. — Вот что, братья. Я в район позвонил, по весне саперов пришлют. Оживим поле. А вам хватит с костлявой играться. Слышите, хватит!

Григорий долго смотрел председателю в глаза, но тот не отвел взгляда и сам тяжелым свинцом зрачков заставил Григория опустить голову.

— Не балуйте, — почти неприязненно выдохнул он. — Одного с избытком хватит. Ежели накроетесь, с кем колхоз поднимать? Бабы, они не двужильные, и так за войну натерпелись. Давайте домой.— Последнюю фразу он произнес уже просительно.

Григорий глянул на брата. Дмитрий смотрел куда-то мимо председателя, туда, где зажатое между болотом и лесом молчало поле. Потом повернулся к Григорию. Коротко мазнул взглядом.

— Пойдем мы. Не держи нас, Петрович. И не кости. У нас там теперь свой счет.

И подбросив висевший за правым плечом тощий вещмешок, быстро зашагал по дороге не оглядываясь.

...Земля сухо хрупала под заточенным шомполом. Аккуратно прощупывая стальным жалом каждую ее пядь, Григорий на четвереньках полз вперед. Ныла затекшая от напряжения спина. Пальцы устали сжи-

мать скользкую сталь... Вот шомпол знакомо ткнулся во что-то, Григорий тотчас лег на живот и, достав из-за пояса нож, начал аккуратно, слой за слоем, срезать землю. Вскоре в сырой глубине холодно блеснул металл.

«Танковая», — мысленно определил он и уже спокойно, быстро начал окапывать мину. Наконец она, круглая, плоская, вышла вся из-под грунта. Ладонь Григория мягко легла на взрыватель. В эти секунды он испытывал чувство мстительного удовлетворения. Каждый оборот взрывателя под его пальцами словно крошил зубы сидящей под ним смерти, сворачивал ей челюсти, разрывал глотку. Он испытывал то же чувство, какое охватывало его в рукопашных, когда, ворвавшись в немецкий окоп, решетил свинцом перекошенные злобой и ненавистью лица.

Взрыватель улегся на землю. Потом Григорий для проверки еще несколько раз прощупал шомполом землю под миной и, не заметив ничего подозрительного, медленно стянул ее с места.

Теперь ею можно было хоть гвозди забивать!..

Дальше шли наши противопехотки. С ними Григорий был особенно аккуратен. И без того чуткие к любому касанию, они за четыре года, проведенных в земле, стали крайне опасны. Каждая из них могла оказаться для него последней.

Пальцы скорее угадали, чем ощутили тонкую нить проводка. И Григорий медленно, стараясь почти не касаться корпуса мины, загнул ушки на чеке, потом вытер рукавом ватника пот со лба и начал сдвигать взрыватель. Мина была сильно тронута ржавчиной, и потому взрыватель сидел крепко. Григорий надавил сильнее, потом еще сильнее.

«Вот так же и Сергей!» — молнией мелькнула мысль. Под пальцами что-то сухо хрустнуло, и он мгновенно взмок холодным потом...

На этой половине поля он испытывал странную неловкость. Мины были как бы укором ему, пропустившему немцев так далеко в том неимоверно тяжелом сорок первом. И снимая мины, он всякий раз ловил себя на том, что этой своей работой словно пытается спрятать от чужих глаз свою вину.

Они работали почти у самой опушки леса. Дмитрий, закончив торить полосу, собрал снятые мины, перенес их к куче на краю поля. И, перекурив, зашагал к крайней вешке, впереди которой «пахал» землю Григорий.

— Эй, Гриша! — окликнул он его. — Ты, чай, не в артиллерии служил?

Григорий обернулся и непонимающе посмотрел на брата. И тот, довольный его растерянностью, закончил:

— А то уж у тебя больно здорово миномет над полем торчит. Прямо в небо уставился. Так всех ангелов распугаешь.

Григорий досадливо выругался и, отвернувшись, сосредоточенно, начал торкать щупом в землю.

Минут десять молчали. Неожиданно Дмитрий негромко позвал:

— Гриша!

Напуганный этим тихим окликом больше, чем громом, тот обернулся как ужаленный.

— Что у тебя? — жестко спросил.

— Кажись все, Гриша.

— Что все? — непонимающе уставился Григорий, подымаясь с земли и мучаясь еще больше.

— Хана. Ящик разбух, взрыватель зажало.

— Ты только не суетись! — выдохнул Григорий и бегом направился к брату.

— Не подходи! — рявкнул вдруг Дмитрий. — Оба накроемся... Чека перержавела. Коснулся — она и рассыпалась. А ударник держать — сил больше нет.

Минуты четыре они молчали. Наконец Дмитрий хрипло сказал:

— Ну что, надо прощаться. Не век же здесь загорать. От судьбы не спрячешься. Отойди подале...

И эта покорность судьбе озлобила Григория. Он остервенело, громко выматерился.

— Ты чего? — спросил Дмитрий, когда Григорий вдруг начал зарываться рядом с ним в землю. — Ты чего, Гриша? Уходи!

— Замолчи! Не видишь — могилу тебе рою. Чтобы дурака такого на погост не волочь.

Пот застил глаза. Уже давно тощий слой дерна сменился суглинком, суглинок — глиной, а он все копал и копал.

Наконец окоп был готов. Прямо над головой Григория торчали сапоги брата.

— Слушай, он с наклоном в рост. Только успей в него спрыгнуть. Земля прикроет.

— Дай закурить, — попросил он, — перед смертью...

Козью ножку смолили вдвоем по очереди. Потом Дмитрий отбросил окурок и жестко сказал:

— Уходи! — и добавил упавшим голосом: — Не поминай лихом...

Григорий не шевелился.

— Не могу больше держать, — процедил Дмитрий. — Пальцев не чувствую.

— Бросай! — неожиданно с отчаянием в голосе крикнул Григорий и рванул брата за собой в окоп...

Григорий видел, как долго опрокидывался на спину в окоп Дмитрий, как бесконечно долго падал в него. Яркая вспышка, сухой грохот, вой осколков над головой...

С осклизлого глинистого дна смотрели на него в упор одуревшие глаза брата.

— Жив... твою так! — еще успел выдохнуть Григорий и тут почувствовал, как горло сжал спазм и по щекам покатились нежданные слезы. — Жив!

Контузило Дмитрия легко. Но с той минуты что-то сломалось в нем. Стал он каким-то тихим, вялым. День шел за днем, а он не вспоминал о происшедшем, не заговаривал и о поле. Наконец первым не выдержал Григорий.

— Ну что, может, закончим с полем-то? — спросил как-то вечером. И пожалел тотчас об этом. Словно кнутом обожгло плечи Дмитрия. Он вздрогнул, ссутулился и тихо сказал:

— Нет, Гриша. Я больше туда не ходок. Свою судьбу я уже подержал в руках. Не могу. — И, помолчав, добавил: — Уеду я, наверное, отсюда. Не поле это, Гриша, а погост для нас. Здесь наша смерть поселилась.

Через четыре дня он уехал к своему фронтовому другу под Ленинград. Прощались недолго. На дороге громко сигналила полуторка, и, торопливо собрав вещмешок, Дмитрий уже в дверях вдруг прижал к себе Григория.

— Поехали вдвоем? Устроимся в леспромхозе... — горячо зашептал он, но, натолкнувшись на осуждающий, тяжелый взгляд Григория, сник и уже тихо добавил: — Не ходи туда, братка. Два раза со смертью не встречаются. Это мне повезло. А твоя еще в земле сидит. Ждет. Не искушай судьбу...

На следующее утро Григорий встал рано. Тихо, чтобы не разбудить бабу Тоню, собрался, вытащил из-за печки шомпол и уже в дверях услышал в спину:

— Храни тебя господь, Григорий! — старушка не спала...

Мины... Мины... Казалось, им не будет конца. И все же этот день наступил. Григорий начал торить очередную полосу. Но метр шел за метром, а мин все не было. Вот уже полпути, вся полоса. Едва сдерживая волнение, он тщательно прощупал новую. Пусто. И не выдержав, Григорий поднял руки со сжатыми кулаками, радостно закричал:

— Лешаково это поле, слышите?! Лешаково было, есть и будет!

Наутро вся деревня собралась за околицей. Весть о том, что разминировали Гиблое поле, облетела дома в один вечер.

Григорий, в свежей, чистой рубахе, в новеньком без погон ватнике, вытащил из-за пояса топор и, подняв заранее заготовленный кол с набитым фанерным квадратом, начал загонять его в землю.

«Проверено — мин нет. Братья Лешаковы» — было выведено на фанере углем. Укрепив указатель как следует, Григорий неторопливо подошел к председателю. Откашлялся и, слегка прищурившись, совсем как отец, сказал:

— Ну что, Сергей Петрович, давай трактор, пора пахать. Морозы ударят — поздно будет.

Но председатель неожиданно заупрямился:

— Вот еще! А где гарантия, что все сняли? Трактор загнать на поле легко, только если рванет, на чем пахать? На бабах, что ли? Или на тебе? Нет, Григорий, пока я трактор не дам. А за труд ваш — великая благодарность...

И все же председатель пошел на уступки. Через два дня сам сел за рычаги трактора. Сначала с опаской, от каждого толчка сгибаясь в три погибели, но потом уже уверенно, не таясь, в два дня распахал поле. На его краю и встал дом Григория, как вызов, как утверждение.

«Почему не рванула? — думал он. — Почему?» И вдруг его осенило. «А что ты, дурак старый, вообще испугался-то? Почему должна была рвануть? Откуда мине взяться-то? Ты же ведь и дом строил, тысячу раз по этому месту ходил. Эх, дурак! Железяки в земле больше черта испугался!» От этой мысли ему стало легко. Он поднялся и хотел было вернуться к работе, но что-то остановило его. Еще секунду Григорий колебался, наконец решился. Взял со стола нож и пошел на веранду.

«Ну с чего бы это должна быть мина? — думал он, аккуратно срезая землю рядом с тем местом, где торчала лопата. — Мало, что ли, железа в земле?» Он успокаивал себя, ругал, но страх, напряжение не оставляли его. И чем ближе он подбирался к этому месту, тем осторожнее, медленнее становились его движения.

— Вот сейчас будет кусок железа или труба, — уже вслух шептал он сам себе. — Вот сейчас...

Из земли показалось изъеденное ржавчиной пятно металла. И уже по изгибу его, по форме понял — мина! Григорий закрыл глаза. «Бежать? А что дальше? Когда она рванет? Сейчас? Через час? И что вообще дальше делать? Дом новый строить?.. Приедет Дмитрий. С пепелища уезжал родительского, на пепелище брата приедет...» От собственного бессилия ему захотелось выть. Несколько минут лежал, тупо уставившись на торчащее из земли лезвие лопаты. Потом ножом неторопливо, спокойно стал обкапывать мину.

Вот из земли вылез весь ее бок. «Противотанковая, — механически определил Григорий. — Потому и молчала до сих пор. Доски сверху положил еще во время строительства, веса не хватало». Скребок, еще скребок, и вдруг лопата мягко сдвинулась и, выворачивая землю, завалилась. Григорий инстинктивно сжался в комок, но взрыва опять не было...

Наконец он полностью разгреб и очистил мину от земли, еще мгновение смотрел на нее, потом неторопливо встал и так же неторопливо, спокойно вырвал стальной блин из земли, поднял его на руках, положил на пол и выбрался из подпола.

Улица встретила слепящим солнцем. Григорий еще раз прищурившись посмотрел на зажатую в ладонях мину. Покачал головой. И, подойдя к помойке, перевернул мину вверх дном, встряхнул. Тотчас ему под ноги посыпались проржавевшие в труху детали взрывателя, в который он косо, с размаху засадил лопату.

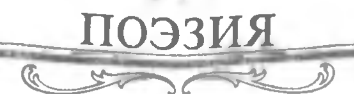
На душе было пусто и холодно. Двадцать лет он ходил по ней, жил над ней, детей растил, а она все ждала, она готовилась к встрече с ним, напрягалась из всех своих стальных сил, борясь с ржой, временем. И все-таки он ее пережил. Пережил эту свою смерть. Вот она, ржавой окалиной покорно растряслась под его ногами. Рыжей грязью рассыпалась по земле.

Он мысленно взвесил лежащий на ладонях стальной диск. «Да, на нас бы на всех хватило», — мелькнула мысль, и, напуганный ею, он с размаху швырнул мину в помойную яму...

Потом Григорий долго работал в подполе, копал ледник. К вечеру, усталый, умылся холодной водой, перекусил наскоро и, попив чаю, упал в койку. Сон накатился стремительно. И уже на самой его границе, зыбкой, неуловимой, он вдруг почувствовал, что от сердца отлегло что-то огромное, давящее, как память о войне. В душе что-то оттаяло, отпустило, словно рассосался старый рубец. И еще не понимая, что́ это, не успев даже осознать, он провалился в глубокий сон.

В эту минуту для него закончилась война...





МИХАИЛ СОПИН



БЕЗ КОНВОЯ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

* * *

Много сказано — прошлого ради.
И уверен: ему же вослед
Мы расскажем о нынешней правде,
Может быть, через семьдесят лет —
Вроде сказок, легенд и намеков,
Сочинений борцов и мессий,
Разбиваясь в пути одиноком
В тупик обновленной Руси.

...Было сердце:
«Ну где же ты, папочка?»
Спит отец — в поле холмик горбом.
Явь же — сказка про Красную
Шапочку
С эмведэвским конвойным гербом.

Годы бедствий уйдут вместе с нами
В край распятой любви матерей
Наши вопли останутся снами
Ледовитых бездонных морей.
Перемолоты бойнею папы.
Изувечены бойней сыны.
И своим, и нездешним гестапо
Наши судьбы в отвал сметены.

К вам иду, сорок первого рати,
И с дороги уже не сверну —
В тартар века, где сестры и братья
Перегноем покрыли страну.

□ □ □

* * *

Бабье лето цветет. Бабье лето.
Что ж я плачу, живой же ведь, ну...
Отломал больше трех пятилеток,
Протянул столько лет в госплену.

Клевета, что в душе прежней
нежности нет,
Что молвою людской я добит!

Я дорожку свою во клиновый цвет
Размотал за собой, словно бинт.

Не слыхать автоматного воя.
А в небесной осенней дали
В первый раз, погляди, без конвоя
Над отчизной летят журавли...

□ □ □

СОПИН Михаил Николаевич родился в 1931 году на Курщине. Еще мальчиком попал на фронт, а в пятидесятых был репрессирован. Таким образом пламя своей судьбы и полынь своего хлеба разделил со всем народом. Сейчас живет и работает в Вологде. В 1985 году в Северо-Западном книжном издательстве вышла книжка его стихотворений. Печатался в коллективных сборниках «У северных широт» и «Слово».

* * *

Не убежать, не защититься мне
От вечного заката, что в окне,
От алчности персон и персонажей,
От дотов, камер, моргов и светлиц,
От модных тканей, вытканных
из сажи,
От маринада чувств и постных лиц,
От модных морд и от безликих мод,
Отравленных лесов, полей и вод,
От униформ, от вечных норм
на корм,
От нюхающих газ слезоточивый,
От братьев пьющих, от неизлечимо
И беспробудно трезвых дураков.

* * *

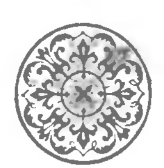
Престижные квартиры, развалюхи,
Невольные и вольные рабы,
Апостолы, герои, воры, шлюхи —
Все из нее, из классовой борьбы.
Я понял: это странная война
Плодит в душе чуму, разбой, усталость.
Взглянул в себя — там больше нет раба.
Но Человека тоже не осталось.

* * *

Молчу, «затаился...»
Откликнусь:
«Усердствуй, усердствуй!»
Все учат — как надо:
Совбоссы, собесы, литком.
О лирика жизни,
Тавро твое жжет мое сердце,
Ты платишь за труд мой
По карцерной норме пайком.
От Курска до Бреста —
Пешочком — назад до Печоры.
Меж дулом и небом
Гнездо для души не совью.

За пайку и робу
Откашлялся красным и черным,
За правду изгойную,
Жесткую лиру свою.
Не знал я одежды
Достойнее лагерной робы.
И света не ведал
Светлей, чем в барачной клети.
У гроба, Россия,
Смени арестантскую робу.
Дай в саване вольном
Во имя твое отойти.

□ □ □





ПРОЗА

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

25

Ольду Андозерскую оскорбительно жгло, когда могли её в мыслях, по виду, по соседству объединять с кланом незамужних неудачниц — старых дев или почти таких. Она была в 37 лет незамужней, да, но — принципиально, совсем по другой причине, чем все они. Они — не умели устроить своей жизни, она — сто раз могла это сделать, да не находила достойного. И умные — понимали. Но для глупого большинства: нет кольца на пальце, значит — не сумела. И она — отталкивалась, сторонилась даже рядом сесть, не то что дружить, дать себя сравнивать, время проводить с непристроенными женщинами.

Впрочем, и с женщинами вообще. За всю жизнь она насчитывала нескольких интересных женщин, всё старых, а масса их — так бледна и так неравна ей, что не вызывала у неё даже и вообще никаких чувств и никакого интереса.

Веру Воротынцеву знала она по Публичной библиотеке, но плохо понимала её назначение там: мастер своей отрасли сам знает, какие книги в ней есть, какие привлекать, разве можно этот поиск передоверить какому-то «библиографу»? По молодости (а впрочем, не первой), Вера ещё не вступила (но уже вступала) в тот заклятый клан — но и ни с какой другой стороны не было у Андозерской склонности привечать её. А сегодня лучшее, что могла эта девица сделать,— не так тревожно мелькать бы и не так пристально всматриваться, как будто она не сестра этого полковника, а жена.

Да, разумеется, полковник этот был женат, но и положение Андозерской дозволяло ей не так внимательно приглядываться к черте, разделяющей женатых от холостых, не придавать повышенного значения случайностям уже происшедших браков.

Ольда Орестовна зашла к хозяину по малому книжному поводу — и давно бы ей уйти, и вечер уже исчерпался. Но — ещё только она вошла, ещё не видела лица этого полковника, лишь сильные широкие заплечья, только услышала несколько его слов — ах, молодец! И развернулся он, весь в ветре и загаре фронта, с бело-золотым крестиком Георгия, малиновым Владимиром, и ещё как надерзил кадетской компании — в подобном обществе таких перечных речей не привыкли слышать. Ольду Орестовну это сперва позабавило, потом увлекло, разыграло, и взвинтилось в ней — самой бы тоже что-нибудь созоровать тут. Правда, вся компания уже разошлась, но сидел этот полковник — и даже для него одного она готова была изощриться. Чтобы дать ему знать об их свойстве́.

А тем временем она поддерживала диалог с оставшимися Ободовскими. Диалог этот тоже был не без интереса, хотя не вызывал задора. Скорей для изучения собеседника, чем для убеждения его. Никогда не перестаёт забавлять и восхищать дробимость и несчётность людских воззрений, всё новая и новая сочетаемость в них ограниченного числа звеньев. Эта множественность, неповторяемость убеждений так явна, так поминутно истирает всякую разделительную групповую черту, что только фанатизм и недобросовестность могут настаивать, что люди делимы на партии. Поддаются люди делению на партии лишь по недосмотру, по беспечности или по душевному неустоянию. Деление и объединение людей очевидно могут производиться по признакам и принципам более высокой ступени, чем их убеждения.

И этот революционер-инженер-патриот выказал ещё новую конфигурацию звеньев, по-своему тоже непротиворечивую. И отчётливо отвергал всякие партии. Хорошо.

А ещё была у Андозерской способность — лишняя ёмкость — поверх всякого разговора и не ослабляя интенсивности его, сопоставлять и откладывать выводы из наблюдаемого глазами. Так, без цели и без усилий, Ольда Орестовна делала выводы из этой мягкой покойности супруги рядом со вскидчивым беспокойным мужем, из ласковых касаний и обмена слов между ними, и, кажется, могла бы суммировать историю долгого ровного чистого семейного житья Ободовских, ни разу не взорванного порывом безрассудной страсти, не позыбленного подкорковым жаром. Такую видимую полноту жизни Ольда Орестовна считала бедностью. Неопробованно-рано кажется человеку, что всё уже достигнуто и узнано. Мужчины, захваченные своею работой, без затруднения находят в жёнах свой единственный, навеки не тревожимый, окольцованный, очерченный до смерти мир, а жёны воспринимают свою единственность как взаимно-верную правоту выбора. Да пожалуй и так.

С такими мужчинами незамужней женщине только и остаётся говорить о политике.

Нет! Не так понимал Ободовский:

— Дело именно в надменной самоуверенности немцев, которую надо сбить, иначе они будут нас теснить и давить! Вы в Германии не живали? Вы посмотрели бы, что это за народ! Безжалостный, отдай только им Россию! Да и нудный...

Запутывали опять Воротынцева в словесные состязания. Хотелось ему — спокойно отсиживаться, отходить от гари, оживать. Косить глаз на стреловидную аметистовую брошь в скрепе воротника.

Россию отдавать?.. Вот как раз чтобы не отдавать. Однако это не связано непременно с ненавистью к немцам. *Отдать* — он и вершка русского не согласен. Но... (приличествует ли такая точка зрения полковнику императорской армии?) ...во-первых — вершка действительно *русского*. Во-вторых, если не отдавать, то, последовательно: и не брать же! Простая совесть.

Молниеносно, взглядом наискось, подхватил Ободовский:

— Да ведь Сибирь у нас, вон, пустая лежит!

— Вот именно. И почему же столько ярости о Польше?

Чудо многообразия: могли быть — противники, а вот шагнули —

Продолжение. Начало в №№ 1—4 за 1990 год.

и притёрлись как две полированные плиты. Сошлись: поменьше мешаться в дела остального мира, пусть поживут вольготно без нас.

Воротынцев был ещё одним примером причудливого сочетания индивидуальных убеждений, подтверждал общий взгляд профессора Андозерской. Так бывает, когда не логикой соединено, а самим человеком.

В этом офицере поражало противоречие его жестоких рассказов — и вовсе не угнетённого вида. Осевши в стуле, это был камень неподъёмный, но иссылающий силу из себя. Немотивированный оптимист.

(А объёмным чувством, не мыслью: камень весомый, но не изошедший падений. Камень нерасщеплённый, но и не обработанный.)

— И чем же именно немцы так жестоки?

— А вот, например, я жил на Рейне около школы и видел, как каждую субботу, систематически! — подскочили в изгибе боли подвижные брови Ободовского, и боль была в срыве голоса, — по списку вызывают детей, провинившихся за неделю,— при их возрасте они от понедельника и забыть могли и измениться! — и секут, сколько назначено, усердно и не смягчая!

Воротынцев рассмеялся:

— Всего-то?

— Да я от этих субботних экзекуций нервно заболел! Видеть не мог! Мы уехали!

— Вообще — ничего плохого не вижу в телесных наказаниях мальчиков.

— Как??

— Ну, не с такой методической отсрочкой, не на субботу. А по-русски, под горячую руку,— в этом есть правота и родителя, и учителя. Молодому крепиться — вперёд пригодится. Когда он вырастет — его настигнут в жизни строгости покрепче, всё Уложение о наказаниях — сразу, в один день совершеннолетия. Так пусть привыкает смала, что есть его своеволию границы.

Хотела Нуся спросить, секли ли полковника самого в детстве, и есть ли у него свои дети. Хотя у них с Петей своих не было, а вот...

Возмущался Ободовский:

— Но так никогда не вырастут свободные гордые люди!

В окопах слякотных одичав, Воротынцев:

— Так смирение ещё полезней для общества.

Тут рассмеялась Андозерская. Во всякой интеллигентской русской компании, да пойти сейчас в соседнюю комнату спросить, любой бы согласился с Ободовским, никто не осмелился бы поддержать безнадёжно-мракобесный взгляд полковника. Но маленькая узенькая профессорша дерзнула присоединиться:

— Трудно уследить черту между защитой детей и вознесением их. А вознесённые дети презирают своих отцов, чуть подрастя — помыкают и нацией. Веками длились племена с культом старости. А с культом юности не ужило б ни одно.

Однако помимо всей его военной отваги, самостоятельности, решительности — улавливала в нём Ольда Орестовна какую-то неполноту осознания самого себя, странную в сорок лет. Вот та самая необработанность, и её не скрыть. Вот так, голубчик, почему-то, да...

Но чтобы согласиться о задачах воспитания, надо прежде чётко определить, к чему предполагается юность готовить. Инженеру ясно:

— Образование прежде всего нужно для того, чтобы страна была сильна и работоспособна.

— Но притом оно должно не противоречить устоявшемуся мирочувствию народа. А когда в учителя выходят озлобленные скороспелки — образование приносит разрушительное душевное действие. И от размножения школ только увеличивается разложение.

В чём скороспелки, если они знают дело? Какому это устоявшемуся мировоззрению не противоречить? Религиозному? — не принимал Ободовский:

— Но если наука сама ему противоречит?

— У каждой нации есть свои предрасположенности. В частности — к форме общественной жизни.

То есть? При какой форме правления народ предпочитает жить? А что, для России — как-нибудь особенно?

Ободовский отлично знал и мог обосновать, какой формы хочет: самой широчайшей социалистической демократической республики, но без участия партий во власти. Каждый рудник, каждый университет должны самоуправляться, как можно больше решать без верховной власти. Швейцарский принцип: община сильней кантона, кантон сильнее президента. Только так и оправдывается термин res-publica, дело общества, а не немногих. Только так общество будет реально участвовать во власти и понимать власть. (Да начало такой власти он и сам ставил на Социалистическом руднике, хоть и неудачно.) А верхняя отдалённая власть людям всегда чужда — и была, и есть, и будет, и никакие парламентские краснобаи никогда не возместят обществу его отчуждение от власти. (Хотя, когда социалисты многие бойкотировали 1-ю Думу, Ободовский метался по их митингам с речами: «предлагают оружие — надо брать!».)

Инженеру возразил полковник, но леновато, как о слишком явном,—что если уж республика, то почему такая расхлябанная крайность, чтобы каждая рота управляла сама собою и делала, что хотела. Ну там какой-нибудь совет дожей или директория. А как способно большинство само собою управлять непротиворечиво? Будут только шарахаться, хоть и с обрыва, старое сравнение со стадом. А делать историю может лишь крепкое верное самостоятельное началоспособное меньшинство.

...Вот и в этом сошлись...

Да отчего ж это мы — в крайнем, и сразу сходимся? Отчего мы с вами сразу — и... ?

Но если иногда и наплывали у Воротынцева потаённые мысли о возможных изменениях структуры правления в России — то устраивать это надо было руками, а не обсуждать здесь сегодня, хоть и с этим деловым инженером, хоть и с этой растреумной дамой.

А вот — другое... От вас тянет как бы тёплым сквознячком. Так и разнимает, со стула не встать.

Я думала — вы сильней.

Что ж будет, когда вечер кончится?..

Если вы хотите, он не кончится...

Ободовский так и отпрянул к спинке стула: *большинство* — и отметать? А *для кого же* всё, всё делается? (Впрочем, это только — в принципе. А вне социальных идей, простецки обобщая собственный опыт, замечал он: что и сам всегда тянет за двадцатерых, и немногие другие, наперечёт, создавали осуществление в любой области. А большинство, действительно, вело себя не так, как ему полагалось по теории: тяготело к нерешительности, осуждало риск одиночек или уж кидалось крушить — так всё подряд.)

В образованном русском обществе — такой уклон, боковой повал, что далеко не всякий взгляд допускается высказать. Целое направление, в противность этому уклону, морально воспрещается — не то, чтобы там на лекциях, но даже в беседах. И чем *свободнее* общество, тем строже давит этот негласный запрет. Если о человеке предупреждают — «так он же правый!» — «как, правый?» — и все шарахаются. Обрывается тому человеку жить, общаться с людьми, высказывать мнения. Как будто можно было бы всем отказаться от правых рук или покупать перчатки только левые. Как сегодня нарубил тут полковник — только и может новичок, с первого шага, не оглядясь.

По именно от него — и осмелела сегодня Андозерская. В своей

университетской среде она жила под постоянным гнётом этого запрета нежелательных обществу мыслей. Она так выбирала каждое выражение, она так неполно и косвенно смела высказываться! Но завидно свободная речь Воротынцева потянула и её. А риск — при растекшейся компании — был даже и мал: чудаковатый этот инженер едва отвлекался от своего блокнота, а дрёмная счастливая жена его была не из настороженных общественных спорщиц. И дерзко снимая все запреты, до самых неуклонимых (и предвидя ликование полковника), Ольда Орестовна сощурилась на одного, на другого и сказала весело:

— Как вы сразу и решительно шагнули к республике, господа! Как легко вы отбросили монархию! А вы не подчиняетесь просто моде? Кто-то крикнул первый, и все повторяют почти попугайно: что монархия — главное препятствие к прогрессу. И это стал отличительный признак *своих* — хулить монархию в прошлом, будущем, вообще всегда на земле.

Она — шутила? издевалась? Что за дикость? Профессор всеобщей истории и в XX веке обороняла — что? —

— Са-мо-державие??

— В частности. «Долой самодержавие» застлало все мысли, всё небо. Во всём на Руси — виновато самодержавие. *Любимый враг*. А между тем слово самодержец исторически значит только: не-данник. Суверен. А отнюдь не значит, что всё делает сам как хочет. Да, все полномочия власти у него нераздельны, и ему не ставит границ другая земная власть, и он не может быть поставлен перед земным судом, но над ним — суд собственной совести и Божий суд. И он должен считать священными границы своей власти — ещё жесточе, чем если б они были ограничены конституцией.

Что это? что слышал Ободовский? Образованный человек в полный голос защищал дикое мракобесное самодержавие? Нельзя было ушам поверить! Неужели ещё сегодня можно подыскать слово в его защиту? Даже не вообще абстрактной монархии — но и русского полицейского самодержавия? И — может быть *этого* конкретного царя? Да самая мысль об этом ничтожном бездарном царе так издёргивала Ободовского, что когда их пловучая промышленная выставка стояла в Константинополе и всех сотрудников позвали на раут к русскому послу — голодный ободранный эмигрант отказался единственный раз вкусно поесть, чтобы только ему не поднимать тоста за Николая Второго.

— Но неограниченная власть формируется жадностью царедворцев и льстецов, а никакой не божьей совестью! — воскликнул инженер.— Но отобрав волю у народа, самодержавие тупеет, глохнет и само не может проявить добронаправленной воли, а только злую! В лучшем случае оно изнемогает под своим могуществом. История всех вообще династий, не только нашей,— преступна!

Когда Андозерская бралась серьёзно излагать, такой был жест у неё: обе маленькие кисти держать зонтиками перед грудью и одною поглаживать по другой, со значительностью:

— Да, многие народы поспешили поднять руки на своих монархов. И некоторые невозвратимо потеряли. А для России, где общественное сознание — лишь тонкая плёнка, ещё долгое-долгое время никто не придумает ничего лучше монархии.

Ободовский косовато подкинул брови: его дурят? над ним смеются?

— Но позвольте, монархия — это прежде всего застой. Как же можно желать своей стране застоя?

— Осторожность к новому, консервативные чувства — это не значит застой. Дальновидный монарх проводит реформы — но те, которые действительно назрели. Он не бросается опрометью, как иная республика, чтобы сманеврировать, не упустить власти. И именно монарх имеет власть провести реформы дальние, долгие.

— Да какие ж вообще разумные доводы в наш век можно привести в пользу монархии? Монархия — это отрицание равенства. И отрицание свободы граждан!

— Отчего ж? При монархии, — невозмутимо отвешивала Андозерская, — вполне может расцветать и свобода, и равенство граждан.

Но и на лице полковника с ветровым загаром она тоже не различила вздрога присоединения. Он ждал.

И тогда, напрягши маленький лоб и собравши силы (взялась — не сорваться), уже не так авторитетно-вещательно, но с проворностью знающей хозяйки, как отполированные столовые ножи, протирая один за другим, выкладывают на скатерть,—Ольда Орестовна подавала им фразу за фразой:

— Твёрдая преемственность избавляет страну от разорительных смут, раз. При наследственной монархии нет периодической тряски выборов, ослабляются политические раздоры в стране, два. Республиканские выборы роняют авторитет власти, нам не остаётся уважать её, но власть вынуждена угождать нам до выборов и отслуживать после них. Монарх же ничего не обещал ради избрания, три. Монарх имеет возможность беспристрастно уравновешивать. Монархия есть дух народного единения, при республике—неизбежна раздирающая конкуренция, четыре. Личное благо и сила монарха совпадают с благом и силой всей страны, он просто вынужден защищать всенародные интересы—хотя бы чтоб уцелеть. Пять. А для стран многонациональных, пёстрых—монарх единственная скрепа и олицетворение единства. Шесть.

И улыбалась чуть. Легли широкополотенные негибкие столовые ножи параллельно—и сверкали.

И смотрела победно на полковника. Она ожидала наконец его уверенной сильной поддержки, вот сейчас они соединятся в доводах.

Но он—молчал, как-то замято, опозданно.

Неужели вы этого не разделяете? Откуда такая неуверенность? Подобает ли она столь славному воину, да ещё из началоспособного меньшинства?

Я... что-нибудь не так?.. Вам что-то смешно?..

Ах, просто ваши военные дороги—это далеко ещё не все дороги жизни. Бывают такие тропинки, над такими безднами, о-о!..

Но — горная пушка проходит там? Но — лошадь со вьюками?

Не-ет, конечно, нет, как вы могли подумать!..

— Да как же можно рассчитывать на его самокритичность? — воскликнул инженер, измученный, что вдруг надо доказывать снова это всё пройденное: — Монарх окружён вихрями лести. Он поставлен в жалкую роль идола. Он боится всяких подкопов и заговоров. Какой советчик может рассчитывать логично переубедить царя?

— Чтобы провести свои взгляды,—хладнокровно отбивала Андозерская,—всё равно надо кого-то переубеждать, не монарха, так свою партию, и потом разноголосое общество. И переубедить монарха никак не трудней, и не дольше, чем переубедить общество. А разве общественное мнение не бывает во власти невежества, страстей, выгод и интересов?—и разве общественному мнению мало льстят, да ещё с каким успехом? В *свободных* режимах угодничество имеет последствия ещё опаснейшие, чем даже в абсолютных монархиях.

Но чем была так хороша? Закидом головы с уверенным взглядом? Чуткой струнной шеей? Или вкрадчиво певучим голосом?

Но если не лошадь со вьюками, то как же там пройти?..

Пустяки. Возьмётесь за отлёт моего платья. Пройдём!..

— И вас не коробит подчиняться монарху?—пытался пронять ее Ободовский простейшими чувствами.

— Но вы и всегда кому-нибудь подчиняетесь. Избирательному большинству, серому и посредственному, почему это приятней? А

царь — и сам подчиняется монархии, ещё больше, чем вы, он первый слуга её.

— Но при монархии мы—рабы! Вам нравится быть рабом?

Андозерская гордо держала головку никак не рабью:

— Монархия вовсе не делает людей рабами, республика обезличивает хуже. Наоборот, восставленный образец человека, живущего только государством, возвышает и подданного.

То есть чисто теоретический образец? Но так можно далеко забрести.

— Да какая же во всех этих доводах ценность, если все они перекрываются случайностями рождения?! Родится человек дураком— и автоматически царствует четверть века. И поправить никому нельзя!

— Случайность рождения—уязвимое место, да. Но и встречная же случайность—удача рождения! Талантливый человек во главе монархии—какая республика сравнится? Монарх может быть высоким, может не быть, но избранник большинства—почти непременно посредственность. Монарх пусть средний человек, но лишённый соблазнов богатства, власти, орденов, он не нуждается делать гнусности для своего возвышения и имеет полную свободу суждения. А затем: случайности рождения исправляются с детства—подготовкою к власти, направленностью к ней, подбором лучших педагогов,—отважно защищалась девочка в кресле, держа две кисти зонтиками.—И наконец, метафизическим...

Я такого—никогда не говорила на лекциях. Я это—для в а с сказала. А вы—не рады? не согласны?

Я вас огорчил? Я не хотел... Но есть вопросы, через которые...

Через которые... Да вот—Николай I и Александр III заняли трон, никогда к тому и не готовясь, немалые примеры. А к сегодняшнему Государю, с его несравненным умением окружать себя бездарностями, а честных людей предавать,—к нему плохо относятся все эти доводы. А когда случайность самодержца ещё превращается в случайность Верховного Главнокомандующего...

Но хотя полковник так и не поддержал её вслух — он сидел совершенно на её стороне, как бы издавна записанный в её гвардейцы.

— ...Метафизическим пониманием своей власти как исполнения высшей воли. Как помазания Божьего.

Ну уж, этого «помазания» даже и в шутку не мог инженер слышать!

— Да что это за формула трухлявая, «помазанник Божий», до каких пор? Что за маниакальный гипноз «помазанничества» у самого заурядного человека? Кто из образованных людей сегодня может верить, что некий там Бог в самом деле избрал и назначил для России Николая Второго?

— Нисколько не мёртвая! — отважно настаивала Андозерская. Уже отступленья и не было.—Она выражает ту достаточную реальность, что *не люди* его избрали, назначили, и *не сам* он этого поста добивался. Если престолонаследие не нарушается насильственно, а мы ведь разбираем именно этот чистый вариант, то людская воля оказала вмешательство лишь при выборе первого члена династии. Впрочем, при воцарении первого члена этой династии некий перст Божий, согласитесь, на Руси был.

Перст, может, и был, но потом дровишек наломали. И за престол дрались, и отнимали, и убивали. (Но не вслух, это не для лёгкой беседы.)

— А дальше течёт независимая от людей, от политической борьбы традиция династии. Как в Японии: одна династия третью тысячу лет. Это уже как природа сама.

И Вера, оказывается, стояла тут. Без прежней тревожной ревности, удивлённо, впытчиво слушала.

— Вот в этом и суть помазанья, что даже отказаться не волен монарх. Он не гнался за этой властью, но и избежать её не может. Он принял её — как раб. Это — больше обязанность, чем право.

Сестра — очень внимательная студентка. Как раб! — это её поразило.

Но брат — так и не поддержал ни в чём ни разу. Да ведь он уже и заговаривался, что если например республика, совет дожей...

А Ободовский спорить любил, если что-нибудь выспаривалось к делу,—тогда земля подбрасывает сразу бежать и делать. А уж когда пошло насчёт помазанья — увольте. У него достаточно хорошо была уложена и продумана вседемократическая республика. Да вообще пора уходить, но теперь надо было дождаться звонка Дмитриева, так неудачно. Он и слушать покинул. Перелистывал блокнот и в полотворота на крае стола рисовал.

Воротынцев переклонился к Ольде Орестовне и снизил голос. Чуть издали можно было подумать, что он ей шепчет комплименты:

— Так в чём же тогда цель этого несчастного помазания? Чтобы Россия безвыходно погибла?

Вера отошла.

— Вот это нам — не дано, — почти шёпотом ответила и Ольда Орестовна.

Даже глазами больше. Карими? зелёными? совсем не учёными глазами.

— Поймётся со временем. Уже после нас.

Скажите, а когда загорается надежда — как узнать: не обманывает ли она? Это — о н а?..

Надо иметь опытность сердца.

Но, всё-таки, республики она ему простить не могла:

— А при республике?—спросила она.—Все разумные решения несравненно сложней, потому что им продираться через чащу людских пороков. Честолюбие при республике куда жгучей: ведь надо успеть его насытить в ограниченный срок. А какой фейерверк избирательной лжи! Всё—на популярности: понравишься ли? В предвыборной кампании будущий глава республики—искатель, угодник, демагог. И в такой борьбе не может победить человек высокой души. А едва избран—он перевязан путами недоверия. Всякая республика строится на недоверии к главе правительства, и в этой пучине недоверия даже самая талантливая личность не решается проявить свой талант. Республика не может обеспечить последовательного развития ни в каком направлении, всегда метания и перебросы.

— При республике,—очнулся и протрубил Ободовский,—народ возвращает себе разум и волю. Свободу. И полноту народной жизни.

— Люди думают, — отбивала Андозерская, — только назвать страну республикой, и сразу она станет счастливой. А почему политическая тряска—это полнота народной жизни? Политика не должна поедать все духовные силы народа, всё его внимание, всё его время. От Руссо до Робеспьера убеждали нас, что республика равносильна свободе. Но это не так! И—почему свобода должна быть предпочтительней чести и достоинства?

— Потому что *закон* обеспечивает честь и достоинство каждого. Закон, стоящий выше всех!—Ободовский снова загорячился.—А при монархии—какой закон, если монарх может перешагивать закон?

Ольда Орестовна зябко повела плечами (оба так легко охватывались бы одной рукой!), но позицию держала:

— А закон—разве безгрешен? Всегда составлен провидчивыми умами? В рождении законов—разве нет случайности? И даже перевеса корысти? Личных расчётов? Dura lex sed lex — это дохристианский, весьма туповатый принцип. Да, помазанник, и только он, может перешагнуть и закон. Сердцем. В опасную минуту перешагнуть

в твердости. А иной раз — и в милосердии. И это — христианиее *закона*.

— Ап-равдание! — подёрнулся, отмахнулся инженер над блокнотом.—С такой формулировкой и любой тиран охотно переступит закон. А кстати, тиран—чей помазанник? Дьявола?

Если вырвалась—и горит, бежит по рукам, по локтям—это о н а? Да! Она!! Да, конечно!

Но ни голос, ни связь доводов Ольды Орестовны не продрогнули:

— Тиран в том и тиран, что переступает закон *для себя*, а не властью, данной свыше. У тирана нет ответственности перед Небом, тут и отличие его от монарха.

Ну, если серьёзно упоминается в споре Небо как действующая историческая сила — то о чём остаётся разговаривать?

— Но мы не случай тирана разбираем. Республика тоже может расколебаться до смуты и гражданской войны.

Зазвонил, наконец, телефон, и всё решилось.

— Андрей Иваныч? — высунулись дамы из той комнаты.

— Мой Дмитриев, наверно, — сворачивал блокнот Ободовский.

Евфросинья Максимовна из коридора:

— Пётр Акимыч, просят—вас!

Ударило алым по лицу Веры. (Андозерская не видела её, а — видела.)

Ободовский взметнулся туда. Никому не интересно, но услышался его заволнованный голос:

— ...Да, но простите, здесь уже поздно, теперь ни к че... Тогда завт... Что?.. Что?!.. Что-о???..

Дамы высунулись опять, а за ними возвысился и приват-доцент.

— ...На Большом Сампсо... ? А где вы сейчас?..

Ободовский отнял трубку и с бровями смятенными, голосом недоуменным? или горестным? или радостным? — спросил вдоль коридора:

— Вы знаете, господа... Как бы не... Кажется... Началось!

Н а ч а л о с ь?!? Ну мало ли что могло начаться: отливка орудийного ствола, хирургическая операция, тяжёлые роды, наводнение Невы, война со Швецией,—нет!! Все до единого одноминутно однозначно безошибочно уверенно поняли это безличное слово как удар басового колокола: НАЧАЛОСЬ!!!

Что ещё другое могло н а ч а т ь с я?!

И кто же теперь в силах уйти? Как же теперь по домам разойтись, не узнав, не поняв?

— Он — далеко?

— За Гренадерским мостом.

—Так зовите! Зовите его сюда!!

Все — оставались.

НАЧАЛОСЬ!!!

26

Теперь в столовой все объединились — или разъединились—как на вокзале, ожиданием поезда.

Общего ли? Не с разных ли сторон и в разные?..

И как при вокзальном ожидании сбиваются мысли, не собираются на связном разговоре, успеть бы только себя проверить, всё ли твоё с тобой, если поезд подкатит вдруг, — так и в шингарёвской столовой сейчас восьмеро гостей не занимали друг друга, пренебрегли обычаем посверкивать зубами, побрякивать языком, коль свёл их случай лицами друг ко другу.

А ушли в ожидание. Или глазами проверяли *своих*.

Ведь — близко! Ведь скоро. У входа...

До Гренадерского моста, да мост, да мимо гренадерских казарм, да по Монетной — кварталов десять?

И как на вокзале одни проводят последние минуты непринуждённо, благодушно или деловито — читают газету, сидят в ресторане, в почтовом отделении, а другие не усиживают даже на пассажирских диванах, но чемоданы пододвинув к выходу, сидят на них, а третьи и вовсе не в состоянии сидеть, когда поезд уже объявлен, и беспокойно ходят по залу, мотаясь перед глазами всех.

Так и младшая из дам-активисток, в тёмно-зелёной блузе с бурыми всплесками, найдя изломанный путь в обход стола, но с достаточною проходкой, напряжённо и непрерывно по нему ходила, точно в одном месте изламывая направление, точно в тех же паркетных клетках разворачиваясь. Головою опущена, она никого не видела, углублена в своё молчание, но кажется не молчала, а что-то говорила ритмически, про себя или шёпотом:

Народу русскому: Я скорбный Ангел Мщенья!
...Кидаю семена. Прошли века терпенья...

А старшая не ходила, не дёргалась, сидела с выражением удовлетворённым, почти радостным: поезд не опоздает, билет у неё в кармане, место — хорошее. Или даже злорадостным: к тем, кто не верил в расписание, ждал задержки поезда на семафорах и стрелках, а теперь и вещей не соберёт.

А приват-доцент, такой положительный, несмотря на молодой возраст, прочно сидел за пустым обеденным столом, выложив руки перед собой как отдельные инструменты, зубные ли клещи огромных размеров или гаечные ключи. Сам же за тёмно-роговыми очками прищуривался, перебирая в представлении известные ему далее несколько перегонов: прочны ли там мосты, не слишком ли круты подъёмы и спуски, каковы радиусы закруглений, достаточно ли поднят наружный рельс. И молодое учёное лицо его хотя и было озабочено, но оптимистически.

Младшая дама в напряженьи расхаживала, но ритмом не своим, а — Этого, Ступающего. Тем ритмом она была давно заражена гипнотически, и, когда никто ещё, уже слышала стуки о стыки, железный катящий скрежет и даже слитное гуденье вогнутых рельсов. И преобразуясь в известные слова, это звучало в ней, а может и произносилось чуть громче шёпота:

Я синим пламенем пройду в душе народа,
Я красным пламенем пройду по городам.
Устами каждого воскликну я «свобода!»,
Но разный смысл для каждого придам.

Не сиделось и Ободовскому. Он всё подходил к окну и откидывал штору — ожидая ли увидеть с пятого этажа, не катит ли Она уже по Большой Монетной?

А Нуся, двойное беспокойство уступивши мужу, двойную остойчивость взяв себе, сидела малодвижнее всех, без морщинки, без заботы на гладком и правда же молодом лице: все невзгоды уже в прошлом видены. Как Ту переплыли, переплывём и Эту.

А Верочка тихо жила среди книжных полок, и вдруг завихрило в один вечер — и на улице, и здесь. Тоненькая, выходила в коридор, возвращалась, выходила, возвращалась.

У младшей дамы потягивание, покручивание рук, опущенных вдоль боков, не находило себе ни места, ни сомкнутия. И вот когда непонятные бурые всплески на её платьи получили смысл: это были Огни, никак не пробьющиеся через тёмно-зелёный туман быта.

Я напишу: «Завет мой — Справедливость!»,
И враг прочтёт: «Пощады больше нет»...

Что ж до полковника с профессоршей, то, сознакомясь на этом вокзале, хотя ещё не близко, не упускали они поглядывать друг на

друга более, чем дружелюбно, и соображать: не до одной ли станции они едут? не в один ли попадут вагон?

И среди всех, весь вечер насквозь, каждый шаг этого знакомства видела Вера одна, хоть не всё время рядом и половины не слышала слов. Она видела и дальше, чего сам брат не видел! — а сказать ему не могла.

А от телефонного звонка — задрожала. Зачем-то послано было ей, чтобы сюда, в шингарёвскую квартиру, неурочно негаданно грянул — именно Михаил Дмитриевич. Зачем-то совпало, чтоб этой Новостью грянуть сюда довелось — именно ему!

Ей стало зябко, и она пошла просить у Евфросиньи Максимовны платок на плечи.

У Фрони — дети, у Фрони — хозяйство, у Фрони — гости пересидевшие, но Фроня — жена своего мужа и знает вместе с ним: увы, Это неизбежно, Это — будет всё равно, к Этому идёт, Это — у всех на уме. Была же и Фроня когда-то курсисткой, и помнит давнее-давнее-давнее, ещё — как ожидали Ту.

Студенческие напролётные ночи в пророчествах о светлом будущем. «Студенческие волнения одни встряхнут всё русское общество! Неумирающее студенческое движение заставит правительство подчиниться исторической необходимости!» А среди гимназистов становится модно помогать сидящим в тюрьме. А вот и приказчики-краснорядцы готовят прокламации в купеческом подвале в пору сладкого-долгого послеобеденного спанья хозяев. А там и лавочники в базарной лавке собираются читать нелегальную литературу: они этого слова «социализм» не понимают, но щекотно, что — против власти. Они читают, а городовой оберегает их снаружи: не накрыл бы квартальный надзиратель или свои же доносчики. Богатые ссыльные едут катером за Волгу на пикник, там поют революционные песни — и полицейские прислуживают им. А посылать деньги политическим эмигрантам, от них получать письма и принимать посланцев — нисколько не преследуется. И вот уже не продвигается по службе губернатор, чуждый либеральных идей. И только когда мясники в фартуках идут по улице и бьют камнями окна — где взять икон, поставить на подоконник в защиту? — своих ведь нет ни у кого давно, просить у кухарки с кухни. И вот — добились университетской автономии, и на этих островках свободы, куда воспрещено полицейской ноге, на сходках с рабочими собирают средства на Вооружённое Восстание! И всё общество дружно считает позором трусливую попытку унивеситетского совета: сохраняя лаборатории и коллекции, не превратить университет в штаб революционной борьбы. Бойкот реакционным профессорам! Университетами пусть владеют не профессора, а студенты! Университеты — ещё и обогревалки для прохожих, какие-то образины курят в шапках.

Зябко стягивая вкруг себя оренбургский платок, узкая — ещё уже, с ожиданием и тревогой ко входной двери, Вера возвратилась в столовую.

То хранимое обещательное выражение младшей дамы, во всех спорах так и не высказанное,— не оно ли стекало теперь с её пророческого лица, выстанывалось из горла буревестницы:

Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды.
Один ты видишь свет. Для прочих он потух.»

И только это было полузвуком. Потому что если вспоминать да спорить — этой даме полнокровной с энергичными локотками; этому приват-доценту с басовитым покашливанием, неистощимому на доводы, но по-милюковски и осторожному; этому анархическому инженеру оборачиваться из-за шторы на каждую несогласную реплику, страдальчески подрагивая веками; этой профессорше самодовольной скрывать волнение за твёрдостью тона и тихостью речи; да этому полковнику,

лже-либералу, обмякшему, а готовому и вскинуться, как полкан; да библиотечной этой девице розоветь, преодолевая робость,— если бы все они наперебой кинулись говорить, что помнят и думают,— швырнуло бы их сквозь ночь да в утро, пропустя и вестника, и весть его.

...Легко рассуждать о революции в стране, где её не бывало. Но мы пережили — и видели.

А что мы плохого видели, позвольте?

Банкеты вскладчину, разлив банкетов. Ах, это был пир свободы! Как привольно лились общественные речи! Никогда за века не выговаривали столько на Руси! И казалось: от тостов и речей сдвигается история! Вот ещё немного крикнем — и рухнут стены! За банкеты не гильотинировали, не стреляли, не сажали.

Не скажите. Например, в Сибири и за банкеты — так по все двести человек в кутузку. (Ну, впрочем, на полтора часа.)

Казалось наоборот: не за призрак ли бьёмся? Вообще возможен ли когда-нибудь, когда-нибудь переворот в такой безнадёжно-инертной стране?..

Между тем не в меру либеральные земцы не жалели тратить крестьянские собранные гроши на революционную пропаганду.

Каждое крупное убийство встречало благоговение, улыбки и злорадный шёпот.

Не убийство! Если есть партия, идейная основа, — террор не убийство, это — апогей революционной энергии. Это не акт мести, но призыв к действию, но — утверждение жизни! Террористы — это люди наибольшей моральной чуткости.

Общество левело — и по убеждениям, и из опасения перед теми, кто крикнет левее всех. Перед левым криком — паралич невмешательства, пусть останавливает кто угодно, не я. Больше всего боялись не оказаться заодно с левыми. Подписывали любой протест, даже не соглашаясь с ним.

Управляющий Николаевской железной дороги на собственные средства нанимал театр «Вена» для своих бастующих рабочих. Директор завода извинялся перед рабочими: «Я и сам в душе анархист, но — вынужден...»

А не находка ли была — *захватный путь*? Объявился Союз Издателей: возникаю! запрещаю посылать хоть страницу на проверку в Цензурный Комитет! И все, до правых, охотно сразу присоединились! И вмиг: цензуры нет! Без капли крови.

Ну да наборщики устанавливали свою, революционную цензуру: что не нравится — не набирали.

Зелёные путейские канты портили паровозы — вырывали конституцию.

Телеграфом пользовались только революционеры и сообщали, что́ им заблагорассудится.

А почему было не принять, не воспользоваться Манифестом? Разве мало? Нет, только разъярил: не надо вашего Манифеста, лучше пинком ноги *раздавить гадину*! И выборов в Думу не надо — додавить гадину!

Между прочим: как раз сегодня — 11-я годовщина Манифеста.

17-го Манифест, 18-го — Совет Рабочих Депутатов: выдать оружие пролетариату и студентам!

«Всех долой — и всё наше!» «Будет всемирная забунтовка! Будут извозчиков убивать!»

В Москве — всеобщая забастовка, нет электричества, тёмная ночь. Во дворе университета студенты рубят деревья, зажгли костры, поют революционные песни, эсеры спорят с с-д. Курсистка, дочь полковника: «А пойдёмте, товарищи, собирать еду и револьверы!» Приоткрыли ворота, вышли на Никитскую, просят в темноте у публики: «Жертвуйте студентам деньги, еду и оружие!» И в корзинку к ним сыпятся француз-

ские булки, колбасы, шелестят бумажные деньги, а в карман суют то револьвер, то нож.

Так нависали ж погромы! Манифестации с царскими портретами! Если встречный студент не снимал шапки — избивали!

Зато в больнице — левые врачи, лечили только революционеров и солдат. А из народа, кто крестится, того не брали.

Совет Рабочих Депутатов — *Финансовый манифест:* свергайте правительство! отберём у правительства золото — и оно падёт. Казённых платежей не платить, казённые выплаты принимать только золотом! Страна лежит в развалинах! (Когда всё целёхонькое.) Торговли нет! (Когда и не прекращалась.) Уч-ре-ди-тельного!

Учредительного Собрания добивались кронштадтские матросы, пока не разгромили 140 магазинов и лавок. На том успокоились.

В легальной «юмористической» прессе — прямые угрозы цареубийства. Свобода слова! — но только ораторам, угодным большинству. Говорящих не в тон толпе — заглушали свистками, кулаками, сталкивали.

В Баку жандарм вёл революционную пропаганду, агент охраны устроил типографию для прокламаций.

Провокационная власть толкала страну на смуту!

Осенью Пятого года многие напуганные уезжали за границу и переводили деньги.

Две бомбы в кафе «Бристоль» и прокламации анархистов: чтобы видеть, как подлые буржуа корчатся в предсмертных страданиях.

Губернатор идёт в уличной демонстрации с учащимися — и те выставляют красные полы его пальто как знамёна.

Москва тогда вся ощетинилась баррикадами, но больше по озорству: валили полицейские будки, трамваи. На извозчике едет барыня в меховой ротонде, а под ней везёт бомбы — и патруль, конечно, не смеет её обыскивать. Баррикад никто не охранял, никто с них не стрелял. А дружинников на Пресне было всего сотни две, и они ушли благополучно, смешались с обывателями.

А интеллигенты накупили револьверов, хотя стрелять не умели. Потом — куда их деть? И зарыть не умели. В уборные сбрасывали. Прислуге отдавали — куда-нибудь деть.

Больно вспомнить: держали революцию в руках! И упустили.

Да вообще *революции не было* никакой! Бутафория, пустили словечко.

То было — значительней, чем революция! То было — броженье России от избытка накопленной энергии, от избытка богатства. И никакой революции б не было, когда бы правительство, предусмотрительное и смелое, доверяло бы обществу и открыло бы этим силам русло. Революция всегда есть признак коренной ошибки правительства.

Да какая то была революция? Всё авантюрно, ничто не подготовлено. Две всеобщих стачки, несколько разрозненных слабых военных бунтов, одно городское восстание. Всё главное было *до* и началось *после:* террор! террор! террор!

> Отдам во власть толпе. И он в руках слепца...
> Им сын заколет мать, им дочь убьёт отца...

Ну, в Сибири было посерьёзней. Красноярск целый месяц был в руках революционеров, управлялся Союзом союзов. И войска брали его форменным сражением. А Чита держалась два месяца, хотя потом сдалась Ренненкампфу без боя. Во Владивостоке офицеры стреляли в митинг, а матросы перебили офицеров. В Елани, да по всей дороге, Меллер-Закомельский железнодорожников и телеграфистов кого вешал, кого порол резиновыми палками, голых на морозе.

А в Иркутск по амнистии привезли тысячу сахалинских уголовников, да и бросили там. Они с революционерами объединились, стали шайками грабить, револьвер к виску. Даже на компании мужчин днём и на главной улице нападали, вот какой разгул...

Солдату карательных войск платили 30 копеек в сутки (всегда почему-то 30 попадает!..). И роты ревниво следили за очередью идти на подавление.

Зато академики требовали выгнать солдат с их лестницы, чтоб не грелись.

Самоучка, мастер из народа, много самообразовывался, читал. В 95-м году спорил на заводе, что не нужно стачек. В Пятом году припомнили, застрелили в спину.

Тот год был пробным камнем для многих русских душ. В тот год можно было извериться, что у России есть будущее.

То был — праздник смелой жизни, гордая песня простора! Уповать ли, что ещё воскреснет и вернётся?

Революция прокатилась, а хлеб так и остался полторы копейки фунт, мясо так и осталось 20 копеек.

Ещё на выборах в 1-ю Думу при полиции открыто призывали к вооружённому восстанию! — и ничего.

А дальше пошло — *ографное движение:* кассы, почты, магазины, казённые винные лавки — сплошь. Ежедневные дерзкие грабежи.

Ограбили Московский Купеческий банк на 800 тысяч рублей.

Террористы писали в инструкциях: бомбы делать чугунные, чтобы больше осколков, и начинять гвоздями.

Ростовская лаборатория даже выпустила иллюстрированный каталог бомб с похвальными отзывами покупателей.

А военно-полевые суды? Расправа как с неприятелем в завоёванной стране!

Кровавая работа! Спешили залить кровью костёр революции!

Военно-полевые суды — не начало, а ответ. Они — в тех очевидных случаях убийств, разбоя, взрывов, насилия, когда расследовать — нет надобности, а откладывать наказание — распад общества. Сегодня бросил бомбу — завтра повесили, и следующий бросатель призадумается. Они только и смелые, чтоб до казни убежать или попасть под амнистию.

И поспешно казнили невинных! Или виновных, но не достойных смертного наказания!

А чем террор революционеров справедливее военно-полевого суда? В тех тайных революционных судилищах, в неведомом подпольи, где выносятся смертные приговоры, там руководствуются уже вовсе не законами, а только своей ненавистью. Кто видит и проверяет тех анонимных судей, решающих смерть человека?

> Кто раз испил хмельной отравы гнева,
> Тот станет палачом иль жертвой палача.

Революционер сознательно ставит себя в смертельную опасность! Это — самопожертвование во имя дорогих идеалов!

Но и судью за этот приговор завтра убьют самого.

Это — не суд, а расправа озлобленных людей, потерявших равновесие. Это — кровавая месть со стороны правительства!

Значит — если убивают революционеры — это Освобождение с большой буквы, если убивает правительство — это палачество? Арест и обыск — гнусное насилие, подпольная фабрика бомб — храм народного счастья?

Если вы хотите, чтобы кровопролитие прекратилось,— устраните злодеяние самой власти.

Если вы хотите, чтобы кровопролитие прекратилось, чтоб юнцы не брали браунингов, — то не поддерживайте их своим одобрением. Почему общественное мнение не осудит грабежи и убийства? Если бы Государственная Дума хоть раз осудила бы террор — не возникла б необходимость военно-полевых судов.

Господа, первая речь Робеспьера была... об уничтожении смертной казни...

Но какая ж это христианская власть, если на террор отвечает террором?

Но и весь цивилизованный мир — христианский, а смертная казнь сохраняется. Есть силы настолько злые, от которых нет иной защиты. Отменить военно-полевые суды — так будет суд Линча. После сан-францисского землетрясения расстреляли человека, помывшего руки в питьевой воде.

Палачи не успевали вешать, на каторгу тащились длинные поезда.

Просто цифры, господа! За первый год русской *свободы,* считая ото дня Манифеста, убито 7 тысяч человек, ранено — 10 тысяч. Из них приходится на казнённых меньше одного десятого, а представителей власти убито *вдвое* больше. Чей же был террор?.. Остальные — несчастные обыватели, убитые-раненные экспроприаторами, революционерами, просто хулиганами, бандитами и карательными отрядами.

Например, священник в храме читал послание о примирении. Студент выстрелил в него и убежал из церкви.

Например, цеховой заходит в знакомую квартиру, пятилетний мальчик доверчиво идёт к нему. Цеховой закалывает мальчика в горло и ворует... бельё.

А то — убили двух стариков и нашли у них... 44 копейки.

И такое зарегистрировано: хозяева не угостили гостя пивом — и он убил их обоих.

Стреляли наугад в окна поездов.

Вызывали бесцельные крушения их.

Террорист застрелил извозчичью лошадь.

В Питере 12-летний мальчик убил мать за то, что она его не отпустила на улицу. А 13-летняя девочка убила брата топором.

Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую — кровавые мечты.

Только — начать. Начать убивать, например во имя прав человека и гражданина. Эпидемия убийств дальше выходит из-под контроля. И мы, русская интеллигенция, на этом и выращали свою просвещённость четверть века. Помните предсмертное письмо народовольца друзьям: «Жаль, мы погибаем почти только для позора умирающего монархизма. *Желаем вам умереть производительнее нас. Дай вам бог, братцы, всякого успеха в терроре!*»

— Позвольте, позвольте, да верите ли вы в народ или нет?

— Это мало — народ.

— Что же важней народа? Что ещё?

— Ещё — и *крыша,* под которой народ живёт. Общий дом для народа, иначе называемый российским государством. Пока крыша есть, мы ни во что её не ставим: в России, мол, нечего беречь и хранить, растаскивай да пали как чужое именье.

— Но избежать всеобщего пути прогресса нам тоже не дано!

— Для прогресса на Западе есть своя сильная пружина, ведущая всю жизнь. А у нас, видимо, нечто другое. Да впрочем, разве мы прогресса себе ищем? Говорим «прогресс», а в сердце колотится «революция». Тем Европа нам и заманчива, тем и интересна, что оттуда течёт революция. Впрочем и с прогрессом никто ещё не объяснил: почему миллионы людей, скопленных в одном месте, надо полагать умнее людей, просторно расселённых в другом месте? Почему предпочитать опыт первых — опыту вторых? Да кто впереди быстро идёт — ещё рискует ошибиться в развилке, не туда пошагать. У Западной Европы уже были такие очень спорные выборы после Средневековья — а мы ни одного выбора проверить не хотим, всё за ними, стопа в стопу.

...Нет, эта профессорша только тем и держалась, конечно, что

скрывала от курсисток свои истинные взгляды да занималась давними тёмными Средними веками, ещё и западными. По русской истории давно б её высвистали с Бестужевских.

Мимо гренадерских казарм, а потом по Монетной. Тут бы — три трамвайных остановки, только линии такой нет.

Отчего ж тогда так долго?.. Он цел ли? жив ли? Как зябко.

А за окнами — обычный тихий вечер. Ни выстрелов, ни зарев. Ошибка? Не так поняли?

Да откуда возьмётся революция, когда теперь не стало революционеров?

Во всех сборищах, во всех компаниях образованных людей — устала Андозерская от одинокости. С кем же дружить? Никуда не ходить?

Отливала она отлично, умница! А Воротынцев — для споров ослабел.

Я только хочу вам с к а з а т ь... Но всё нет повода... Но вы уже понимаете — что?..

О, нет... Я думала — мы просто единомышленники?..

А меня ты не спросишь, брат? А на меня ты и не смотришь? Брат: это не шутка, это петля!

А младшая дама так и не присела ни разу, как дева неспящая в ожидании Жениха. То бормотала скандальный стих Волошина, то встряхивалась от картин, видимых ей одной. И вдруг остановилась, никого за спиною, всех сразу обнимая глазами — их ожидание затянувшееся, ожидание выше разногласий, такой единственный вечер! — и содрогнулась от красоты его, и заспешила, пока не постучали в дверь, пока грубой действительностью не разрушили очарование ожидания,— передать им красоту их же минуты!

И позади себя всеми пальцами нащупав стену, с этой опорою как мелодекламируя от рояля:

— Господа! А какое жуткое и красивое ощущение! Куда мы идём? Что будет? Надвигается — что-то грозное! Мы несёмся — в бездну, сомнения нет! Несёмся в поезде со слабоумным машинистом. Всё быстрей! Все быстрей! Уже наклон неотвратимый! Всё проносится косо, вагоны болтает, сейчас развалится, спасенья нет! Но какая жуткая в этом красота, оцените! И как интересно будет *узнать* тем, кто останется жив! Наша гибель неизбежна, но форму гибели — даже вообразить нельзя, и что-то в этом завлекательное!!

Было, было здесь отзывное. Кому-то передалось.

Гнетущая атмосфера! Давящий штиль. О, если бы грянула буря! Она — фаталистически неизбежна! Ч т о-т о будет!

И чем скорей она грянет — тем меньше будет страшна и опасна!

Без революционной воли, без революционного акта ничего с Россией не поделать!

Да никто и не сомневается, что революция — будет!

Но жутко, что мы с народом разделены столетиями и между нами — пустота.

Страна великих и пугающих нелепостей.

Но Петрункевич сказал: да, вступают дикие, необузданные силы — но этому надо радоваться! Это значит: мы живём не на кладбище!

Да, мы ждём и чаем эту катастрофу! Мыслящая Россия совершенно готова к революции!

А война — в России всё равно благополучно не кончится, будет крах!

А после войны — мы Её уже и не дождёмся.

У нас в России всегда — или «поздно» или «рано». Революции? — почему-то рано, реформам — почему-то поздно.

Хоть бы узкий переворот эти военные подготавливали! — что ж одни разговоры только?!

Хочу и жажду, чтоб это была честная революция и взялась бы довести войну до конца. Мы выбираем революцию нашей горячей надеждой!

Как это распахнётся? Сладкое замирание.

Но благоразумный приват-доцент с гигантскими зубными клещами на столе выразил взвешенно:

— Ещё и сегодня можно всё спасти. Если отдать власть ответственному министерству.

Очарование — из тонкого стекла. Младшая дама вдруг утеряла, как выдохнула, всё то неистовое вдохновение, какое полчаса носило её по комнате. Подкашиваясь, шагнула и опустилась на стул.

А старшая дама, не расслабив боевитости:

— Но до каких пор терпеть издевательство над общественным мнением? Списки будущего правительства — составляют уже второй год, а всё впустую, царь на это никогда не пойдёт! Парламентарии сами виноваты — они не делают ничего решительного!

А Ободовский, покидая своё пустое наблюдательное место, отмахнулся то ли от него, то ли от приват-доцента:

— И ответственное министерство тоже не будет знать, с какого конца браться.

Старшая дама изумилась:

— Как с какого? Спасать народ!

И сказала бы дальше и объяснила бы непременно — да позвонили в дверь. И — бросилась старшая дама встречать вестника!

Но, по своей ширине, цеплялась за стулья, но не ближайшее было её место к коридору. А младшая дама, как подпахнутая ветром — откуда силы вернулись? — порхнула и — первая!

Нет, не первая. Уже была там Вера. И открыла.

В кепке, загнутой как ветром, в кожаной куртке, входя, ожидаемый вестник Необыкновенного сам удивился:

— Вы??

Что он там принёс — лицо его не пылало, не кричало, не раздиралось, длинноватое крупно-упрощённое лицо. А увидел Веру — удивился:

— Здесь??

И сняв кепку с гладких тёмных волос на пробор, приподнял узкую белую руку, открывшую ему.

Поцеловал.

Но дальше сразу много нахлынуло дам:

— Что?? Где??

— С Выборгской? А в город не пошли?

— Невский не захвачен?

— Тогда рассказывайте по очереди!

— Тогда раздевайтесь — и с самого-самого начала!

Что-то косоватое или угловатое было в его движениях, может от медленности,— куртку снимал, и одна рука долго с другой не выравнивалась, — от медленности, так не подходящей к этому случаю. Тужурка на нём инженерская, в петлицах — скрещенные молоточки, или что там у них.

Он даже не знал, в чью квартиру пришёл, он только сейчас прочёл на медной пластинке и думал — не ошибка ли? Вера успела шепнуть ему. Он ещё глазами ожидал хозяина, а вместо него — единственный знакомец, наконец, но уже накоротке:

— Проходи, проходи, Миша.— И руку пожимая, невольно тише почему-то, а может от этого разноголосого крика: — Серьёзное?

Дмитриев ещё тише, большеглазый, тёмный:

— Очень.

Очень! Очень! — всё равно слышали дамы, и обгоняли его и предваряли остальных. А Ободовский ввёл его в столовую:

— Господа! Инженер Дмитриев!

Не стал он обходить здороваться, таково нетерпение было общее, кто сел, а кто и нет, кто на стол в наклон:

— Пожалуйста! Пожалуйста! Рассказывайте!

— Ждём и слушаем!

— Только по порядку, по порядку! — предвкушали.

И Дмитриев тоже не сел — остался при стене, близ коридорной двери, да так, кажется, и удобней рассказывать девяти человекам. Он и стал косовато: на одной ноге тяжесть, и плечи неравны. И голова наклонена.

Он сам, кажется, не охватывал, откуда ж, если «по порядку».

— Н-ну... Вообще по заводам никаких забастовок не было всё лето, сентябрь, октябрь... Но последнее время среди рабочих какие-то странные слухи. Такие упорные, как кто-то их специально распускает. То будто на какой-то фабрике, а точно не называют, рухнуло здание и несколько сот задавило. То на каком-то заводе будто бы взрыв — и тоже несколько сот. Спрашиваешь: а — на каком? Я вот с одного на другой езжу, и на Невскую сторону и на Нарвскую, и на Выборгскую, — нигде не было! Не верят. То больше: что в Москве общее восстание, и полиция отказалась подавлять, и войска отказались. Приехал с московского завода знакомый, а там, говорит, наоборот: будто в Питере восстание, и Гостиный Двор разгромили, разграбили, и полиция не мешала. И даже *листки* пошли — о том же... Последнюю неделю такое напряжённое настроение: лист железа упадёт, грохнет, обычное дело, а сейчас — бросают станки и толпятся к выходу: может, уже обваливается? Тут ещё слухи, что на днях опять призыв и будут учётных брать. И белобилетников проверять.

Так, так, но — на Выборгской что?

— А на Выборгской — самые высокие ставки, самый лучший подбор квалификаций. От этого — уверенность, что их не разочтут, в армию не возьмут. От этого и самый большой задор: нам всё можно! И к полиции — тоже злее всех Выборгская сторона. С Эриксона из окна если вылетит железная плитка, то не куда-нибудь, а — по затылку городовому. От рабочих — к солдатам передаётся: в запасных полках есть рабочие здешние, да солдаты с работницами гуляют, всё это связано. Вот ведёт унтер команду солдат в баню — мимо постового так не пройдут, кричат из строя: «Фараон! Харя!!», и все смеются, а городовой только утирается, что ему делать?.. С этого четверга—на Эриксоне, на Новом и Старом Лесснере — летучие митинги, как обычно: при выходе со смены делают пробку и кричат. В пятницу Старый Лесснер после митинга не разошёлся, а пошёл к Финляндскому с марсельезой, там их рассеяли. На Минном кричали: «громить купцов, товар прячут!». Это сейчас легче всего зажигается: если лавочники — мародёры, так бить лавки — законно! А сегодня утром на Минном забастовала дневная смена, и вышли три тысячи человек с марсельезой на железнодорожное полотно, сели...

Три тысячи? Да с марсельезой? Нет, тут *что-то есть,* не зря его ждали.

Чтобы толкнуть, чтобы всё толкнуть — только ведь и нужен один такой эпизод. Как рождается лавина: от Выборгской — Питер, от Питера — вся Россия!

Дмитриева и самого забирало. Да он и пришёл-то вовсе не спокойный, теперь разглядели, это бывают такие люди, их волненья даже не заметишь: не тонкая, не светлая кожа, грубоватые губы.

— А — какие требования? — спросила старшая дама.

— Да вот... — никаких, — Дмитриев мрачно.

Никаких! — даже леденит. Вот это уж самое серьёзное, когда и разговаривать не хотят!

— А днём сегодня — Рено, человек с тысячу, среди работы вышли — и пошли по Большому Сампсоньевскому. Несколько человек за-

Хочу и жажду, чтоб это была честная революция и взялась бы довести войну до конца. Мы выбираем революцию нашей горячей надеждой!

Как это распахнётся? Сладкое замирание.

Но благоразумный приват-доцент с гигантскими зубными клещами на столе выразил взвешенно:

— Ещё и сегодня можно всё спасти. Если отдать власть ответственному министерству.

Очарование — из тонкого стекла. Младшая дама вдруг утеряла, как выдохнула, всё то неистовое вдохновение, какое полчаса носило её по комнате. Подкашиваясь, шагнула и опустилась на стул.

А старшая дама, не расслабив боевитости:

— Но до каких пор терпеть издевательство над общественным мнением? Списки будущего правительства — составляют уже второй год, а всё впустую, царь на это никогда не пойдёт! Парламентарии сами виноваты — они не делают ничего решительного!

А Ободовский, покидая своё пустое наблюдательное место, отмахнулся то ли от него, то ли от приват-доцента:

— И ответственное министерство тоже не будет знать, с какого конца браться.

Старшая дама изумилась:

— Как с какого? Спасать народ!

И сказала бы дальше и объяснила бы непременно — да позвонили в дверь. И — бросилась старшая дама встречать вестника!

Но, по своей ширине, цеплялась за стулья, но не ближайшее было её место к коридору. А младшая дама, как подпахнутая ветром — откуда силы вернулись? — порхнула и — первая!

Нет, не первая. Уже была там Вера. И открыла.

В кепке, загнутой как ветром, в кожаной куртке, входя, ожидаемый вестник Необыкновенного сам удивился:

— Вы??

Что он там принёс — лицо его не пылало, не кричало, не раздиралось, длинноватое крупно-упрощённое лицо. А увидел Веру — удивился:

— Здесь??

И сняв кепку с гладких тёмных волос на пробор, приподнял узкую белую руку, открывшую ему.

Поцеловал.

Но дальше сразу много нахлынуло дам:

— Что?? Где??

— С Выборгской? А в город не пошли?

— Невский не захвачен?

— Тогда рассказывайте по очереди!

— Тогда раздевайтесь — и с самого-самого начала!

Что-то косоватое или угловатое было в его движениях, может от медленности,— куртку снимал, и одна рука долго с другой не выравнивалась, — от медленности, так не подходящей к этому случаю. Тужурка на нём инженерская, в петлицах — скрещенные молоточки, или что там у них.

Он даже не знал, в чью квартиру пришёл, он только сейчас прочёл на медной пластинке и думал — не ошибка ли? Вера успела шепнуть ему. Он ещё глазами ожидал хозяина, а вместо него — единственный знакомец, наконец, но уже накоротке:

— Проходи, проходи, Миша.— И руку пожимая, невольно тише почему-то, а может от этого разноголосого крика: — Серьёзное?

Дмитриев ещё тише, большеглазый, тёмный:

— Очень.

Очень! Очень! — всё равно слышали дамы, и обгоняли его и предваряли остальных. А Ободовский ввёл его в столовую:

— Господа! Инженер Дмитриев!

Не стал он обходить здороваться, таково нетерпение было общее, кто сел, а кто и нет, кто на стол в наклон:

— Пожалуйста! Пожалуйста! Рассказывайте!

— Ждём и слушаем!

— Только по порядку, по порядку! — предвкушали.

И Дмитриев тоже не сел — остался при стене, близ коридорной двери, да так, кажется, и удобней рассказывать девяти человекам. Он и стал косовато: на одной ноге тяжесть, и плечи неравны. И голова наклонена.

Он сам, кажется, не охватывал, откуда ж, если «по порядку».

— Н-ну... Вообще по заводам никаких забастовок не было всё лето, сентябрь, октябрь... Но последнее время среди рабочих какие-то странные слухи. Такие упорные, как кто-то их специально распускает. То будто на какой-то фабрике, а точно не называют, рухнуло здание и несколько сот задавило. То на каком-то заводе будто бы взрыв — и тоже несколько сот. Спрашиваешь: а — на каком? Я вот с одного на другой езжу, и на Невскую сторону и на Нарвскую, и на Выборгскую, — нигде не было! Не верят. То больше: что в Москве общее восстание, и полиция отказалась подавлять, и войска отказались. Приехал с московского завода знакомый, а там, говорит, наоборот: будто в Питере восстание, и Гостиный Двор разгромили, разграбили, и полиция не мешала. И даже *листки* пошли — о том же... Последнюю неделю такое напряжённое настроение: лист железа упадёт, грохнет, обычное дело, а сейчас — бросают станки и толпятся к выходу: может, уже обваливается? Тут ещё слухи, что на днях опять призыв и будут учётных брать. И белобилетников проверять.

Так, так, но — на Выборгской что?

— А на Выборгской — самые высокие ставки, самый лучший подбор квалификаций. От этого — уверенность, что их не разочтут, в армию не возьмут. От этого и самый большой задор: нам всё можно! И к полиции — тоже злее всех Выборгская сторона. С Эриксона из окна если вылетит железная плитка, то не куда-нибудь, а — по затылку городовому. От рабочих — к солдатам передаётся: в запасных полках есть рабочие здешние, да солдаты с работницами гуляют, всё это связано. Вот ведёт унтер команду солдат в баню — мимо постового так не пройдут, кричат из строя: «Фараон! Харя!!», и все смеются, а городовой только утирается, что ему делать?.. С этого четверга—на Эриксоне, на Новом и Старом Лесснере — летучие митинги, как обычно: при выходе со смены делают пробку и кричат. В пятницу Старый Лесснер после митинга не разошёлся, а пошёл к Финляндскому с марсельезой, там их рассеяли. На Минном кричали: «громить купцов, товар прячут!». Это сейчас легче всего зажигается: если лавочники — мародёры, так бить лавки — законно! А сегодня утром на Минном забастовала дневная смена, и вышли три тысячи человек с марсельезой на железнодорожное полотно, сели...

Три тысячи? Да с марсельезой? Нет, тут *что-то есть,* не зря его ждали.

Чтобы толкнуть, чтобы в с ё толкнуть — только ведь и нужен один такой эпизод. Как рождается лавина: от Выборгской — Питер, от Питера — вся Россия!

Дмитриева и самого забирало. Да он и пришёл-то вовсе не спокойный, теперь разглядели, это бывают такие люди, их волненья даже не заметишь: не тонкая, не светлая кожа, грубоватые губы.

— А — какие требования? — спросила старшая дама.

— Да вот... — никаких, — Дмитриев мрачно.

Никаких! — даже леденит. Вот это уж самое серьёзное, когда и разговаривать не хотят!

— А днём сегодня — Рено, человек с тысячу, среди работы вышли — и пошли по Большому Сампсоньевскому. Несколько человек за-

бежали в Новый Лесснер, тоже подбивать на забастовку. Их там арестовали, но забастовка всё равно началась — и тоже пошли по проспекту. Сначала спокойно...

Только не по виду Дмитриева.

— ...А все они рядом, Русский Рено напротив Нового Лесснера. И тут же, против Рено — бараки 181-го запасного пехотного полка. И когда, уже часа в четыре, Новый Лесснер пошёл по Сампсоньевскому, как раз мимо казарм...

экран

Заводские корпуса, тёмно-кирпичные,
как они видятся поверх высоких кирпичных оград.
Те неуютные здания, где мы не бываем, культурные люди, там делать нам нечего.
А — есть они. Высятся. Тянутся.
Неясный шум.
Ниже.
= Из проходной вываливают, вываливают рабочие.
И идут по улице
скучной, каменной, окраинной,
беспорядочно, не строясь в демонстрацию, ещё и сами как бы не решив, зачем и куда они, а — несёт их!
Говор беспорядочный.
Кепки, кепки, картузы... Иногда — и шляпы.
Дублёные куртки с барашковыми воротниками, осенние пальто, тужурки, плащи... Чёрно-серое.
Лица — все бритые, бритые, молодые и старые, редко у кого борода или усы (но — щегольские).
В этой ли бритости, в сходстве одежды — сравнены возрасты, сравнены личности.
И несёт их — с заботой общей. Несёт, а весёлых нет.
= А там дальше на улице —
полицейский патруль: с десяток пеших городовых,
ближе они,
в чёрных шапках, чёрных мерлушковых воротниках, в тугоподпоясанных шинелях, с шашками, револьверами, снабжены изобильно, справные молодцы.
И околоточный надзиратель — в сером офицерском пальто, с узким ремнем.
Еще ближе.
У всех — оранжевого немного: плечевые жгуты городовых, тесьма петлиц, у околоточного — кант погонов.
Чем вот — *другие* лица полицейских? А — совсем другие. Больше усатых? Больше мордатых, где их набрали? А главное: чувств — никаких, а — каменная служба.
Околоточный, галуны серебряные, рукой взмахнув,
дальше они,
= команду подаёт.
Мы не слышим её.
Да ведь кучка их! — а пошли, пошли сюда строем!
Могут! Закон! — вот что они. Поди-к не послушайся...

Тут рядом — говор рабочих, друг ко другу, призывы строиться, не теряться, что-то помнить, как обещались...
Строем идёт на нас команда! Всего десяток, а — давительно идёт!
Боязливые голоса: что не попрёшь, надо заворачивать.
= Перёд толпы. Сплочены тесно, молодых больше.
Всё-таки вперёд не шагается. Начинают пятиться,
но — запевает рядом невидимый дерзкий одиночный голос:

Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжёлый твой труд!

Пятятся, отступают. Не подхватывают.
Не подхватывают, но песня — действует: сознание горькое от этих слов, лица — жёстче.
А рты на экране — молчат.
Но невидимых присоединилось два-три голоса:

Твоим потом жиреют обжоры,
Твой последний кусок они рвут.

Ну, не последний кусок, уж таких измождённых не видно. Есть — и с важностью уважаемых мастеровых. Кто распахнут — в пиджаках, есть и с белыми сорочками. А — верны слова песни! — вот так и чувствуем: рвут последний кусок, и только песней докричишься. Давай, давай, братцы!
= А полицейский десяток — ближе. Марширует — подавительно.
Околоточный подхватистый что-то увидел среди нас, кричит:
— *Военнослужащие! Выйти из толпы! Взять в сторону!*
= В толпе-то, оказывается, несколько солдат затесалось, выздоравливающие! на них узды никакой!
Перевязанный по уху,
рука на бинтовой подвеси, георгиевский кавалер.
И ещё. У вас — служба, а у нас? Кровь — кто проливал?
Голос околоточного, близко, резко:
— *Военнослужащие! Последний раз предупреждаю!*
Перевязанный по уху — распущенный парень, отвечает всем ртом и лицом,
нам не слышно,
а, видно, крепко ответил: хохочут рядом!
Хохочут! Осмелели!
Теперь видно и запевалу: длинный, худющий, без шапки (обронил?), волосы раскиданные. Поди-ка, вытяни всю прорву на себе, не так охудаешь! Лицо истянулось в усилии за всех, рот вперекрив, кадык так и прыгает:

Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтоб в игре биржевой
Они совесть и честь продавали...

И — не зря! Начинает перениматься! Запаляет песня сердца, ярее всяких уговоров! Уже и в дюжину глоток ему помогают, кричат через песню своё душевное:

Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтобы честь продавали!

= А полиция — шашки! обнажила!
И — наступает!
Шашки? ещё не значит — рубить, может — и плашмя разгонять, как повернут. Но лица у городовых — хоть н рубить, не дрогнут.

Околоточный — как в бою:
— *Нижние чины! За мятеж будете арестованы!*
= Всё ж — оседает толпа, подаётся. Страшно. Подбодряют друг друга теснотой, плечами, множеством,
да и голосами, напев марсельезный, а слов не зная, один запевала рвёт до надрыва, отчаянно, что ж отступаете, ребята? вы ж обещали!..
Царь-вампир из тебя тянет жилы!
Царь-вампир пьёт народную кровь!
Солдат с крестом георгиевским мрачен, руку больную зажали, — а не уйдёт! Не на того напали!
= Но... и шашки! шашки поднятые идут! Страшно!
= Пятится толпа, проиграно дело...
Отступает косовато, жмётся к забору какому-то, дощатому, низкому, высотой аршина в полтора.
Из сил последних, как последнюю песню в жизни, ведёт запевала:
Ему нужны пиры да палаты,
Подавай ему крови твоей!
= А полиция — уже вплотную!
во весь экран
передние! Плашмя? или рубя?
Что у этих леших разберёшь?.. Шаг на нас!
Шаг на нас!
Лица чужие: над нами смеётесь? так и мы вдарим!!
Экран пошире.
= Пятимся, нет дураков под шашки. Вдаряг — и побежим. Тысяча — от десятка, так уж сила ломит. Передним-то лише всего, задние — в безопаске...
Все голоса упали, нету.
Шаг! Шаг! От забора оттесняют рабочих, очищают вдоль забора. Продвигается полиция с поднятыми шашками.
Но последний голос отчаянного запевалы:
На воров, на собак, на богатых!
Да на злого вампира-царя!
Ах, к сердцу!
И — опять, опять попыхало глухими голосами, как дрова сырые заняло:
На воров, на собак, на богатых!
И — остановились! Нельзя нам бежать. Побежим — уже мы не люди...
Требований? Нет у нас «требований», а — пришла пора расчёта, вот и всё!
И зло веселеем в отчаянной песне, эх, нечего терять:
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись, лучшей жизни заря!
У забора так и сошлись встречными клиньями: передние из полиции и передние из толпы.
У вас шашки вскинуты? А у нас кулаки выставлены. Да глаза выворачиваются от люто-родных слов:
Бей, губи их, злодеев проклятых!
= Да куда ж вы, против оружия?
= А вы куда — противо всего народа?
= У полицейских — песни нет. Им песня и не нужна, у них — команда! Первый злодей околоточный:
— *Бей плашмя!!*
И — ударили!
У-дарили!
Ай, кому по голове, это силища!
И — ухатому тому солдату, да!..

Потеснились, попёрли, поваливаемся,
повалили назад!.. Ну, куда тут...
И — пошла полиция вдоль забора.
Дался им этот забор, очищают его зачем-то, именно забор.
Самый широкий экран.
= С поворотом распахивается перед нами долгота этого низкого забора,
а за ним — плац!
А на плацу — маршируют солдатики,
правда, с палками вместо винтовок.
= Кто — строевую ходьбу,
= кто — ружейные приёмы. Ученья — с унтерами, без офицеров.
Не то что ружей, они и шинелей носить не умеют, а туда же — солдаты.
Ученье ученьем, но замечают,
замечают, чтó здесь, сюда поворачиваются,
и даже, по произволу покидая расхлябанный свой строй, идут,
идут сюда,
да — с палками, как были!
да с палками!! А одеты — армия, сытая, здоровая:
— *Фараоны!*
— *Сволочи!*
— *Не сдавайтесь, мастеровые!*
= Полицейские с поднятыми шашками застыли, не бьют.
И околоточный тоскливо ищет глазами:
панорама плаца
за забором невысоким, в полтора аршина
сколько их! — сотни, сотни. Кто — занимается, кто — сюда смотрит, кто — идёт. А офицеров — как вымело, нет. Сами, одни, с унтерами, такими же.
= Но — забор... Стоит забор, отделяя.
= Городовые — ещё со взнятыми шашками.
Околоточный — один! Озирается: один за всю росссийскую власть, вот сошлось!
А рабочий передний клин — растаял, оттянулся,
ещё несколько стоят, как споткнутые, согнутые,
к земле,
к земле молодой подмастерье клонился, клонился,
да выворотил булыжник!!
да через несколько своих голов —
в голову городовому! Шибануло, откинуло, шашка опала, шапка слетела и —
кровь!
И команда:
— *Руби!*
У-дарили!
Кровь!
Панорама:
бегут! бегут! бегут сюда солдаты! с палками!
Улюлюканье по всему широкому пространству:
— *Морды фараонские!*
— *Гэ-гэй, своим на помощь!*
Вес-село бегут!
Кто половчее — через забор, заборчик: прыг! прыг! прыг!

Отступя.
А остальным солдатам, у забора?
Все ли сразу толкнули, все ли сразу шагнули —
у-пал забор!
Затрещал,
у-пал вперёд всей длиной! И через него
весело шагнула армия! шагнула через поваленный
— да с палками!
Ещё отступя.
А там, по плацу — ещё, ещё бегут! на фронте не увидишь такой атаки радостной: не стреляют, и враг известен!
Целый полк — врассыпную, в полный рост, палки над головами раскручивая.
Дотрескивает забор под сапогами.
Озорство на солдатских лицах:
мы-то сила и есть! мы-то не боимся!
Бегут от души:
— Эй, наших не трогать!
— Бей сволочей фараонов!
— Ура-а-а-а!!!
= Какой-то пехотный офицерик, пересекая атаку,
поднял руку, кричит, останавливает, —
куда там! не слушают, бежит братва солдатская!
Выстрел. Выстрел. Выстрел.
= Отступает, отстреливаясь, полицейский десяток.
Им не крикнуть «ура», служба не такая. Обречённо отстреливаются: не жить им, все их ненавидят.
= И стрелять уже — близко, смешалось, и шашкой не взмахнуть, поздно!
Разделили их — шинели, куртки, кепки...
Околоточного — кирпичом по голове,
сгинул, провалился под ноги.
= Разделили, шашки отобрали, шапки сбили,
револьверы выкрутили из рук, пригодятся!
= Один огрызается — растерзанный, а смелый.
Сзади его — железякой по голове! Есть!
= А запевала — как вырос ещё на одну голову, уж и был длинный, а таких не бывает, полтора Ивана, или подмостился? Вот надрывается, за всех:
Купим мир мы последней борьбою!
Купим кровью мы счастье детей!
Мы подымаемся.
= Сампсоньевский. Тысячи людей перемешано. Солдаты обнимаются с мастеровыми. Палками размахивают.
Ещё какое-то шествие, с кулаками поднятыми.
А петь достаётся запевале чуть не одному:
И взойдёт за кровавой зарёю
Солнце правды и братства людей.
Круглое малое сужение, как в трубу.
= Издали — конница,
ближе
полицейская конная стража.
Ближе, крупней, расширяясь:
полусотня на полном скаку, шапки с султанчиками, ремни крест-накрест, выхватив шашки!
Эти — уже не плашмя. Эти — рубить! и команда — была!
= А толпе — не страшно. А в толпе — перекур, обнимка.
= А в стороне — подростки, на какой улице их нет. С кирпичами, камнями, железками.

= И бежит какой-то суматошный, как сумасшедший, кружит в руке — головню, горящее полено.
= Скачет конница с шашками!
= А мальчишки дождались,
замахнулись, тоже воюем!
кинули! кинули!
да — дёру!
= А офицера — с лошади сбили.
Смяли, спутали двух ещё.
Задержалась скачка.
= А тот, безумный — головнёю крутит, вот — кинет!
А толпа — туча, швыряют и палками!
= Смятенье в полицейской коннице. Поворачивают.
= И крутится, крутится головня, отдымливая, — сливается след огненным кругом,
красным колесом.
И тот же голос неисходный, деруще-резкий, победивший:
Купим мир мы последней борьбою,
Купим кровью мы счастье детей!

* * *

Монархический строй плывет на золотом корабле русской буржуазии по безбрежному морю крови и слёз народных. Разбивайте обломки иллюзий освобождения народов штыками всероссийского деспота! За работу, товарищи! Да здравствует Вторая Великая и последняя Российская Революция!

(РСДРП)

* * *

(Продолжение следует)



ЕВГЕНИЙ ЧЕКАНОВ



НАД ПРОСТОРОМ – ВЕЧНЫМ И ЗНАКОМЫМ

Песня Иванушки

Наплутавшись по кустам,
Выйду в поле я.
Здесь — колония, а там —
Метрополия.

Потихоньку доберусь
И до берега,
Здесь — заплеванная Русь,
Там — Америка.

Там — другие города.
Много всякого...
Лишь колючая звезда
Одинакова.

Не глядели б на нее
И глаза мои...
Что, родное дурачье,
Едем за море?

Конец 80-х

Восьмидесятым приходит конец.
Бьют вразнобой миллионы сердец.
Митинги, слухи.
Враз пропадают то мыло, то чай.
— Так вот и мы пропадем невзначай, —
Шепчут старухи.

У девяностых не видно лица.
Старый ли путь дошагал до конца?
Новый ли начат?
С гор возвращаются дети-бойцы.
Водку свою допивают отцы.
Матери плачут.

ЧЕКАНОВ Евгений Феликсович родился в 1955 году в г. Кемерово, окончил факультет истории и права Ярославского университета, работает журналистом.

Публиковался в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Волга», неоднократно — в «Нашем современнике». Автор двух стихотворных сборников «Ночная тревога» и «Осветить лицо». Член СП СССР. Живет в Ярославле.

Возвращенный храм

Анатолию Грешневикову

Кирпичи и доски по углам,
Купола и кровля ждут замены.
Фрески обвалились... Божий храм,
От тебя остались только стены.

Но уже иной струится дух:
Ходит попик в будничной одежде
И поет нестройный хор старух
«Господи, помилуй», как и прежде.

И к сердцам раскрывшимся,
как встарь,
Подступает сладкая истома...

И мрачнеет первый секретарь
За окошком местного райкома.

Неужели тени Октября
Не сожгло мучительное пламя?..

...Говорят, что дочь секретаря
Чудеса творит с колоколами,
Что летит веселый перезвон
Над монастырем и над райкомом,
Над угрюмой стаею ворон,
Над простором, вечным
и знакомым...

Примета

Шагнув на проспект Созиданья,
Я стройку увидел вблизи,
Фундамент грядущего зданья
Светлел в непролазной грязи.

Но музыка брякала бодро
И бодро сновали тела,
И женщина полные ведра
Навстречу мне бодро несла.

Овеянный доброй приметой,
Как будто бы теплой волной,
Я двинулся к женщине этой...
Она поравнялась со мной,

Окинула выцветшим взором
Без холода и без тепла —
И ведра с цементным раствором,
Сгибаясь, вперед понесла.

* * *

Кризисы власти и пропасти духа...
Нет, не они занимают меня.
Все мне мерещится эта старуха,
Что вечерами сидит без огня.
Думу ли думает? Молится ль богу?
Смотрит ли молча во тьму бытия?
Знаю — тревожится... Эту тревогу
На расстоянии чувствую я!

* * *

Гром ли расколет лазурную чашу
покоя,
Ливень ли хлынет на пажити ваши
сухие,
Вихорь ли злой дерева затрясет,
как рукою, —
Ведайте, близкие: это не я,
а другие.

Если ж случится идти вам вечернею
тропкой
Рощей осенней — и дерево скрипнет
без ветра,
Или же дождик закапает, мелкий
и робкий, —
Знайте, родные: я весть подаю
с того света.

ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО



ОТ КРОВИ СКЛЕИЛИСЬ СТРАНИЦЫ...

Кузнец

Не то в кино, не то на памяти,
еще не стертой до конца,—
как с наковальни капли пламени
летят на руки кузнеца.

Лицо черно. И плечи молоды.
И с глаз отмахивая пот,
он над планетой машет молотом,
ключи для счастия кует.

Мерцает бурая окалина,
и все изделие в дыму.
А он глядит на фото Сталина
и улыбается ему.

И верит, что сквозят за рамою
лучи ответного тепла.
И на уроках политграмоты
идея — в чувство перешла.

Чтоб с буржуазными прогнозами
в стране покончить на века,
куются павлики морозовы,
прорабы будущих зека.

Чтоб люди всей земли поверили
в успехи вольного труда,
за кузнецами смотрят берии —
а то ударят не туда.

И рвутся в небо флаги рдяные,
индустриальные дымы.
И чьи-то кости безымяные
ласкают вьюги Колымы.

А он не моет руки медные,
а он все угли ворошит —
сама идея всепланетная
закалке жизнью подлежит.

И, разметая силу темную,
себя познавшая в огне,
встает за ним страна огромная.
С его мечом. В его броне.

...Сейчас при свете электроники
глядит в экран его родня.
Кузнец из старой кинохроники,
зачем ты мучаешь меня?

Как говорят, за все заплачено.
И век тебя не миновал,
что пулей битый, тифом траченный,
не тех любил, не то сковал.

А мы свое ковать пытаемся
и все по правде говорим.
То с вагой молота не справимся,
а то от дыма угорим.

Зарплаты требуем и почести,
ничто не делаем зазря.

А то — завоем в одиночестве
или напьемся втихаря...

А он — наращивает скорости,
а он кует себе, кует.
И знает все, что будет вскорости.
И наковальни не сдает.

И не унизясь до блудливого
или поспешного словца,
стирает сажу со счастливого
и вдохновенного лица.

* * *

...Опять у них Россия виновата,
что все темна, ленива и пошла, —
а потому и брат восстал на брата,
и не туда история пошла.

Решения с подсказанным ответом
нам не новы. Но это все слова.
Судить — суди. Но не забудь
при этом:
она была — и тем уже права.

Искажены, а где и стерты лица.
Резон не тот. И логика не та.

Но так от крови склеились
страницы,
что не разъять, не разорвав листа.

И незачем нам сплетнями тиранить
те жизни, что остались между
строк.
Прозревшим — честь.
А не прозревшим — память.
Прозревшим — боль.
А не прозревшим — Бог.

□ □ □

Клинопись

Пал Вавилон. Но что за дело нам
до этих стен? Какая в том утрата
двум ласточкам? Двум пальмовым стволам?
Тростинкам двум на берегу Евфрата?

Приходит время новым городам.
В крови цари восходят над царями.
Текут века. Но что за дело нам,
обнявшимся крылами и корнями?

Падет топор. Иль пламя. Иль стрела.
Потухнет мир. И сердце в нас остынет.
И мы с тобой разъединим тела
и пылью разбежимся по пустыне.

Нас не отыщут в золотистой мгле.
Да и зачем? Какая в том заслуга,
что мы когда-то жили на земле
и хоть мгновенье слышали друг друга?..

БЕЛИЧЕНКО Юрий Николаевич родился в 1939 году. Вырос в кубанской станице. После окончания Харьковского политехнического института был призван на службу в Вооруженные Силы. В 1971 году заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького. в том же году был принят в Союз писателей СССР. Автор нескольких поэтических книг, последние из них — «Полынь зацвела», «На гончарном круге», «Зов чести».

ЮРИЙ ГОРДИЕНКО



ПРИТЧА О ЕДОКЕ

Бывало, он светился весь,
Хлебая суп ли, щи ли...
Был человек — любил поесть,
Как следует мужчине.

Да было все не до еды —
Такое было время:
Хлебнет из ковшика воды
И снова — ногу в стремя...

Повесив шашку, скинув шлем
И отдышавшись малость,
Он говорил: — Теперь поем! —
Да все не удавалось.

Но он был молод, песни пел
И шел упрямо к цели.
А что при этом мало ел,
Так все кругом так ели!

В годины карточных систем
Он, над пустыми щами,
Смеясь, шутил: — Еще поем!
Накормят. Обещали.

И впрямь в иные времена
Кончался хлеб с половой,
И он садился у окна
В какой-нибудь столовой.

Садился, кончивши страду...
Но поварами века
Опять нежданно на еду
Накладывалось вето.

А тут — война... Оставив Брест,
В котлах варился адских:
Еды в обрез, воды в обрез —
Лишь бой да труд солдатский.

В усах героя — седина...
Но, выдержав осаду,
Он верил: кончится война,
Тогда за стол и сяду.

Мечтал прийти, шинель сменить —
Довольно пролил крови.
А что нахлебников кормить,
Так это нам не внове!

Мечтал, а смотришь, упекли...
И, смертный, в Магадане
Он вспоминал: — Как короли
В окопах мы едали!

На мерзлой лагерной земле
Он соглашался: — Ладно!
Когда-нибудь у них в котле
Ведь кончится баланда!

Едят же вволю хлеб да лук! —
Он думал, как о диве,
Когда, ввиду его заслуг,
Его освободили.

И хоть с поста в желудке резь,
Он, лежа на овчине,
Еще надеялся поесть,
Как следует мужчине.

Хотел в бадье заквасить хмель,
Добраться до краюхи,
И распустил уже ремень,
Затянутый на брюхе:

— Что мне до разных их дилемм?
Не выйдет этот номер!
Пускай шумят, а я — поем! —
Сказал, вздохнул и... помер.

ГОРДИЕНКО Юрий Петрович — участник Великой Отечественной войны, поэт, автор многих книг стихов. Известен как мастер художественного перевода с языков народов СССР. Член Союза писателей.



АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ЗАМЕТКИ КОНСЕРВАТОРА

I. ТРАГЕДИЯ ЦЕНТРАЛИЗМА

Второй раз за столетие мы переживаем трагедию централизма. В одночасье, усилиями партий, рухнул монархизм, империя осыпалась нам на голову грудой обломков. В гражданской войне, в горниле социальной утопии, в попытках воссоздать элементарные структуры управления на обширных пространствах мы потеряли дворянскую элиту, хрупко нарождавшееся гражданское общество, рафинированную культуру и создали вновь централизм тотального сталинского образца. На разрушении централистской идеи и на воссоздании ее мы потеряли шестьдесят миллионов своих соотечественников. Теперь мы вторично волею провидения и его земных адептов вписываемся в эту отточенную, как лезвие, спираль, подставляем свои бритые беззащитные шеи.

Разрушение централизма, а вместе с ним государства происходит по выверенному алгоритму, словно вся программа занесена на перфокарту, и последовательность операции, ее ритмы и сроки есть результат рациональных, основанных на огромном потенциале усилий.

Вот параграфы этой программы.

ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ

Была сметена интегрирующая социалистическая идеология, исключен из развития коммунистический идеал, отвергнуты стратегические цели, которые из будущего формировали наше настоящее, объединяли нас в общий социум, примиряли противоречия, доставшиеся из прошлого. Этот грядущий идеал, отдаленная почти в бесконечность «цель-мечта» проявлялись в обыденной жизни множеством установок, форм коллективного поведения, скрепляющих нас в единое государство и общество. Истребление идеологии лишило народы общего будущего, вызвало мгновенный рост национальных идей и вер, которые разрывают нас в необратимых центробежных усилиях. Сегодня мы — изорванная, разбегающаяся галактика с черной пустотой в центре.

ПАРАГРАФ ВТОРОЙ

Была предпринята и успешно осуществлена атака на централистские структуры, которые своими жесткими, негнущимися двутаврами скрепляли пространственную громаду государства, держали непомерную тяжесть окраин, позволяли в час кризиса концентрировать колоссальный потенциал. Сегодня эти структуры сломаны, и мы превращаемся в груды обломков, где хребты трутся о пустыни, а по равнинам расползаются пропасти.

«Слом командно-административной системы» на практике привел к разрушению экономики, сделав ее абсолютно неуправляемой, породил управленческий хаос, привел к деградации целых отраслей хозяйства. Сегодня наша экономика — это огромная грохочущая машина с вырванными из пазов валами, содранными колесами и шестернями. Все это еще продолжает греметь и вращаться в коробе государства, но уже ничего не вырабатывает, кроме скрипа и грохота, и никто не решается заглянуть в ее истерзанное нутро.

Армия — наднациональная — единый котел интересов, забот, задач, единая техносфера, единая пронизывающая все государство служба. Армия, своей традицией связывающая прошлое с настоящим, старика с юнцом, — гарант стабильности и суверенности. Школа драгоценного централистского опыта, позволявшего не просто выиграть ужаснейшую войну, противостоять давлению великой американской империи, но и осуществить колоссальные научно-технические программы, толкающие нас в цивилизацию двадцать первого века. Армия сегодня истребляется, как колонны в афганских ущельях. Поджигаются головные и хвостовые машины, и застывшую, утратившую движение махину начинают планомерно сжигать. Парализованный в своих действиях генералитет, доведенные до умопомрачения личный состав и младшее офицерство превращают армию в недвижную деморализованную громаду, лишают ее основных оборонных функций.

Партия, казавшаяся единой, пронизывающая своей нервной тканью всю непомерную мускулатуру страны, примиряющая в своих недрах этнические, сословные, профессиональные, мировоззренческие противоречия, — партия сегодня не может быть консолидирующей силой, ибо сама деконсолидирована, рассечена на отрезки фракций, наполнена усобицей. «Социал-демократы» стремятся к идеалу либеральных европейских партий. «Неосталинисты» видят путь к стабилизации и развитию через тоталитарный централизм. «Здоровые силы» исповедуют державную социалистическую идею, основанную на гуманистическом, концептуальном централизме. Часть прибалтийских коммунистов склоняются к демохристианству. В Средней Азии партийная форма слабо маскирует клановые организации, аналоги феодально-средневековых сатрапий. Партия, отключенная от власти, лишенная мировоззрения, ввергнутая в мировоззренческий хаос, становится ответчицей за провалы прошлого, нынешний кризис, отдается на откуп взвинченной общественной истерии, устраняется на глазах с политической арены.

Такова судьба трех важнейших централистских структур, сгорающих, как бикфордов шнур, превращаемых в длинные, от океана до океана, прожилки пепла.

ПАРАГРАФ ТРЕТИЙ

Атака на «русский фактор», на Россию, на русское. Государственная природа русского индивидуального и коллективного сознания, психологический тип русского человека, открытый для межнациональных связей, жертвенность русской экономики, культуры, этноса, способствовавшая созданию государства. Все это подвергается депрессии, отверженню, оскорблениям. Русским внушается комплекс неполноценности, их блокируют, устраивают судилища русской истории, русскому характеру, делают из них ответчиков за вселенскую катастрофу. Русофобия есть политический инструмент для разрушения многонационального государства, во многом питаемого русской способностью к объединению.

ПАРАГРАФ ЧЕТВЕРТЫЙ

Выход на поверхность экономической жизни громадных, сконцентрированных в частных руках богатств. Легализация криминальных дельцов, получивших возможность грабить незащищенных сограждан, скупать материальные ценности, власть, культуру, формировать политику, создавать общественный идеал, устранять и репрессировать неугодных. Стремительно нарастающее социальное неравенство, узаконенный идеал этого неравенства, купленная неуправляющая власть, купленная, оболванивающая культура — все это делает нас страной миллионеров и нищих, сеет ненависть, лишает гражданского единства, терзает подозрительностью и враждой.

ПАРАГРАФ ПЯТЫЙ

Мы подключаемся к мировой экономической системе, к мировым деньгам, к мировой финансовой энергии, которая должна через концессии и совместный бизнес влиться в наши омертвелые ткани, окропить нас живой водой. Эти деньги крохотными раскаленными ручейками вливаются в нашу берестяную и лубяную экономику и испепеляют ее. Протачивают для себя каналы, как в воске. И наш социалистический гигант, наш плановый монстр превращается в пень, изъеденный термитами, наполненный трухой никому не нужных рублей, инвалютных операций. Мировые финансы имеют своих хозяев, своих исследователей, открывателей. Это область огромных познаний, тайно сберегаемых от непосвященных. Пристегиваясь к мировым деньгам, мы отдаем себя в руки истинных хозяев мира. Централизм становится фикцией, средством обслуживания зарубежных негоциантов и скупщиков русской пушнины, икон, молибдена.

ПАРАГРАФ ШЕСТОЙ

Оскудение экономики, бедность, полуголодная жизнь, отсутствие перспективы, нравственная и психическая депрессия, безвластие побуждают население к забастовкам. Они еще отраслевые, захватывают то шахты, то железные дороги, то таксопарки. Но они готовы стать «межотраслевыми», остановить моторы и двигатели в целых регионах, остановить страну в целом. Лукавые политики, знающие законы массовых психозов, своими призывами к всесоюзной стачке нажимают спусковой крючок народных волнений, срывают стоп-кран всей экономической и политической жизни.

Забастовки, страшные сами по себе, чреватые столкновением с силами порядка и армией, ужасны тем, что таят в себе угрозы крупных технологических катастроф. В прошлом забастовки путиловцев и ленских приисковых рабочих при тогдашнем состоянии техносферы не грозили взрывами городов и отравлениями рек. Сегодня забастовки на атомных станциях и химических заводах, на нефтепроводах и фабриках боеприпасов грозят чернобылями невиданной силы. Горящие на горизонтах города, беженцы, спасающиеся от взорванных ядерных котлов, непроизвольные пуски баллистических ракет, убитая на огромных пространствах биосфера — вот что скрывается за всесоюзной стачкой.

ПАРАГРАФ СЕДЬМОЙ

Заключительным аккордом в этой апокалипсической симфонии является гражданская война в СССР со всей беспощадностью прежней войны, с добавлением новых кошмарных компонентов, привнесенных военно-технической цивилизацией. Мир будет с ужасом взирать на наши кровоточащие пространства, изрыгающие в атмосферу и океаны ядерные и химические миазмы. В интересах безопасности человечества, спасения планеты и рода людского не исключена коллективная попытка стран мира стабилизировать процесс в СССР. Новая антанта предпримет попытку оккупировать беспомощную, безоружную страну, установить контроль через военные комендатуры в городах и на космическом уровне.

Вот пункты разрушения централизма, из которых не исполнены лишь полтора последних.

Сейсмические волны этих грозных ударов распространяются за пределы СССР во внешний мир. Разрушена в одночасье вся геополитическая архитектура Восточной Европы, создавая которую страна заплатила громадную цену. Нарушен баланс внутриевропейских сил с непредсказуемыми последствиями. Сентиментальная теория «Европа — наш общий дом» привела к крушению восточноевропейских компартий, смене государственности, неизбежному объединению Германии. К концу двадцатого века в центре Европы вознесется немецкий индустриальный гигант, исполненный энергии, окрыленный пангерманской идеей, захватывающий в свою гравитацию исконные германские земли. Политическая карта Европы меняет цвета и конфигурацию, и кости русских пехотинцев шевелятся в своих безвестных могилах.

«Философия нового мышления», «примат общечеловеческих ценностей над классовыми» на деле обернулись пренебрежением интересов социалистического государства и утолением амбиций империалистических олигархий. Вторжение американцев в Панаму знаменует новый этап в международных отношениях, когда ослабленный, устраняемый из регионов мира Советский Союз больше не может служить сдерживающим фактором для экспансии буржуазных империй. Множество малых стран и народов, извлекавших пользу из недавнего противостояния, как мыши на дудку, послушно побегут на зов Вашингтона.

Сегодня Советский Союз слаб как никогда. Кризис семнадцатого года проходил на фоне общемирового кризиса и разрухи. Наш нынешний кризис проходит на фоне мирового процветания.

Вина за провалы пятилетней политики лежит на либералах, бездумно повторивших опыт разрушения централизма. Они, либеральные экономисты, писатели, историки, десятилетиями находясь в оппозиции к собственному государству, ориентируясь духовно и интеллектуально на демократический Запад, слишком мало узнали о собственном народе, о его психологии и подсознании, об угрюмых углах нашего социума, о наших казармах, бытовках, скотных дворах. Они вторглись со своим романтизмом, своим дилетантским нетерпением, с фальцетами своих призывов и лозунгов в глубинный, сокровенный мир народа, где притаились громадные противоречия, страшные незабытые драмы, тончайшие, неучтенные энергии, захваченные из прежних исторических эпох. Вторично либеральная мысль, вскормленная на иной культуре и политологии, пренебрегла генетическим опытом страны и народа, осуществляет безответственный эксперимент.

Катастрофическое сознание есть обыденное сознание сегодняшних дней. Катастрофа дышит в окна, туманит домашние очаги, омывает трибуны съездов, колыбели младенцев. Различные типы личностей реагируют на катастрофу различно.

В одних приближение катастрофы рождает паралич. Социальный страх, унаследованный от отцов и дедов, цепенит их, превращает в соляные столбы. И целые части общества окаменели в ожидании бед.

В других катастрофа рождает отчаяние, ненависть, тотальное отрицание, истерию крушения. «Чем хуже, тем лучше» — их клич. Они в своем страдании ускоряют, убыстряют все явления катастрофы, ее проводники, ее воплощение. Их цель — разрушение всего сущего до молекулярного, до атомарного уровня.

Третьи, не веря в земные средства, в земное разумное урегулирование, уповают на чудо. Только чудо, по их мнению, может спасти государство, защитить народ. Только Богородица, молельщица земли Русской, может заступиться. Мистические чаяния, прозрения, пророчества, ожидание Мессии, Ангела Небесного, надежда на внезапный проблеск среди чернильной тьмы — таково состояние душ в этих религиозно настроенных группах.

Четвертый, самый активный, деятельный слой, видя пропасть, слыша ее дыхание, оглохнув от рева преисподней, старается из последних усилий спасти государство и общество. Завернуть у края пропасти мчащийся без дорог, без рулевого управления грузовик. Они конвульсивно действуют, создают группы, партии, кооперативы, программы спасения, политические клубы, экологические форумы. Они выступают с инициативами, формулами спасения. Этот слой заслуживает самого пристального внимания. Если катастрофа будет замедлена, оползень застынет на половине горы, трещина в реакторе остановится в стальной оболочке,—какие рецепты спасения будут предложены обществу? Что они, эти модели развития, которыми кормятся наши интеллектуалы, за которые хватаются наши политологи и обществоведы? Куда мы пойдем, если останется земля, по которой идти?

Две формулы общественного устройства, два вектора пути, две идеологии развития циркулируют в нашем общественном сознании, исповедуются группами интеллектуалов, имеют экономические и социальные проработки, собрали под свои хоругви множество приверженцев, готовы осуществиться в политическом действии.

Одна из них — встраивание в мировое развитие. Большевики-революционеры сделали открытие, по которому буржуазная история ведет в тупик, буржуазная цивилизация обречена на гниение, и будущее этой цивилизации — пустырь с обломками прежних формаций. Больше-

вики решили выделить Россию из мирового развития, вычленить ее в самостоятельную историю, в самостоятельное человечество, в самостоятельную планету, вырвав ее, как Луну, из гибнущей, обреченной Земли. Семьдесят лет советской истории — это вычлененность, путь к суверенному. К моменту достижения етой суверенности, к семидесятым годам военно-стратегического паритета, мы превратились в Луну, взлетевшую на собственную орбиту. Но, проделав эту титаническую работу по вычлению, израсходовав на нее весь реальный потенциал развития, мы оглянулись и узрели на оставленной Земле не пустырь, а цветущие цивилизации Америки, Европы, Японии, а исследовав свою суверенную Луну, обнаружили, что моря ее без воды, долины без растений, а небо без атмосферы. И возникла идея возвращения Луны на Землю, подключение ее к живительным, плодотворным энергиям праматери. Идея возрождения. Притча о блудном сыне. Сказка о живой и мертвой воде.

Встраивание в мировое сообщество громадного евразийского материка СССР невозможно. Нет такого космодрома, куда мог бы приземлиться наш обугленный, утомленный полетом «Буран». И Запад готов принимать нас только по частям, по кусочкам, чем меньше — тем лучше. Доктрина встраивания подразумевает расчленение СССР на республики, регионы, отдельные зоны, города, городки, хутора, на отдельные индивидуальности. Нас примут расчлененными, трансплантируют поэлементно в живые организмы Запада.

Встраивание предполагает насилие. Народ, пролезший однажды сквозь игольное ушко социалистического строительства, сточивший с себя слои культуры, веры, потерявший десятки миллионов соотечественников, вторично должен проделать этот путь в обратном направлении, и сделает он это только под воздействием силы. Нас погонят в царство свободы жезлом железным. Нас повергнут в рай, исчетвертовав перед этим на плахе. Стальные вожди либерализма вызревают на наших глазах, либеральные писатели и историки готовят себя в министры внутренних дел.

Другая модель, несущая в себе черты реальных проработок, — неосталинистский прорыв сквозь отсталость, деградацию, хаос. Сталин, получив в управление разоренное, обнищавшее государство, страшно и безжалостно обобрал народ, сконцентрировал добытый в ограблении продукт в локальных центрах, прорвался сквозь эти центры в индустриальное общество, догнав на отдельных стратегических направлениях развитые страны мира. Сегодняшняя неосталинистская политика предполагает вторичный побор, вторичное обирание народа, с тем чтобы пополнить нашу оскудевшую казну, собрать по сусекам ресурсы и в тех полюсах развития, где еще кипит интеллектуальная и технологическая жизнь, совершить прорыв в постиндустриальное общество, прикоснуться к Японии и Америке на главных направлениях, превратив при этом остальные зоны страны в нищенствующий организованный лагерь, подчиненный футурологическим целям. Этот ход, эта программа развития, как и первая, предполагают насилие, тоталитарный строй, жесткую упрощенную организацию всех сфер бытия.

Так намерены действовать наши торопящиеся вожди-интеллектуалы, предлагая свои рецепты и способы выхода из катастрофы.

И что же? Нам есть из чего выбирать?

Откажемся от иррациональной, уже бесполезной любви к государству ради индивидуального спасения и блага, ради «маленького человечка», который есть центр и вершина вселенной? Или в который уж раз презрим себя, нашу малую смертную жизнь ради могущественного, пребывающего в веках государства?

Увы, народ не вынесет больше насилия. Ни того, ни другого. Подавленный, загнанный с улиц и митингов в свои общежития и бараки, впряженный в железное ярмо, повинуясь грозному вознице, указующему путь на Сан-Франциско или Магадан, народ не сдвинется с места, просто упадет, умрет, растает, ибо усталость народа велика, становая жила его порвана в прежних экспериментах, и он предпочтет умереть под ударами жезла железного, но больше не трогать с места эту чугунную колымагу, застрявшую среди льдов и пустынь.

Как же нам быть? Во что верить? Каким речам внимать?

Есть третья, похожая на утопию картина, отталкивающая натуры деятельные своей призрачностью, нематематичностью, неконкретностью. Третья модель развития, исключающая диктатуру и смерть. Ее не услышишь на митингах, не прочтешь о ней в модном журнале, не отыщешь на философских симпозиумах. Но она возможна, предчувствуется. Она где-то рядом, но не в залах, не на выставках, не под ярким светом прожекторов. Она — в подвале, на чердаке, в гнилой закопченной баньке, непритязательная, прячется, колченогая, с пузыриком на устах. Ее нужно искать, выкликать осторожно, не в мегафон, а в тихую детскую дудочку.

Наше общественное сознание представляет собой голую лесосеку с гнилыми черными пнями прежних школ и воззрений, философских и религиозных течений, экономических и социальных культур, эстетических и научных учений. Все было срезано под корень, и вместо леса, вместо грандиозной, славной на весь мир культуры, русского духовного ренессанса, запоздало и мощно расцветшего, вместо всего этого — гнилые скользкие пни, нефтяная слизь болота.

Еще недавно казалось, что так будет всегда, навеки. Но чудо — некоторые пни зазеленели, от некоторых ржавых корней кинулась вверх молодая поросль. Мы начали узнавать по клейким молодым листочкам породы прежних деревьев.

Будущая идея развития, будущая формула нашего бытия скрывается в будущем, еще не возросшем лесу нашей истребленной культуры. Только взрастив всю флору наших идей, дав ей сомкнуться в живой, трепещущий свод, мы сможем расслышать в гуле и шуме вершин истинное слово нашей жизни. А до этого все будет ошибка, конвульсия парализованного катастрофой ума.

Надо сознательно перестать торопиться. Пойти на потерю социального времени. Потратить весь следующий век на взращивание культуры. Надо перестать мыслить пятилетками, кампаниями, от съезда к съезду, от лидера к лидеру, и вновь научиться мыслить столетиями. Леса вырастают за столетия. Царства создаются столетиями.

Главный, основной тип человеческой личности должен отказаться от черт железного вождя, блистательного воина, волевого командира и менеджера. И обрести черты садовника, лесника, пастыря. Он должен обходить в непрерывном добром дозоре свое оскуделое царство и взращивать, лелеять, поливать усыхающий стебель, подпирать ломающийся. Этот забытый тип должен возродиться на нашем народном пепелище. Его ждет, желает народ.

Мы живем с топором в спине. Мы оплели этот топор своей живой тканью, обтянули своей живой кожей, но, шагая, чувствуем его лезвие под сердцем. Основная, насущнейшая задача сегодняшнего общественного сознания — это немедленно провозгласить гражданский мир, выработать теорию гражданского примирения, не дать разразиться гражданской бойне. Надо вырвать из спины топор. Надо остановить, заговорить пролитую в недрах нашей семидесятилетней истории кровь. Она, эта пролитая кровь, вопиет, разрушает все наши начинания, туманит безумием глаза. Надо, наконец, снести в общую братскую могилу красные и белые кости. Надо отслужить на этой могиле всенародную поминальную тризну, устроить братание и великое целование. Положить предел распре. Именно на этой братской могиле сойдутся сегодняшний генерал и священник, партиец и «неформал». Именно на этой могиле будет выращена культура-страстотерпица, тот будущий сад идей, в котором родится Истина.

Утопия есть сверкающая тень катастрофы. Если нам суждено уцелеть и разрушение государства и общества будет остановлено, пусть первым деянием власти станет вселенское, провозглашенное с лобного места примирение. Пусть никто не будет призван к ответу. Виноваты не нынешние люди, а пролитая прежде кровь.

Трагедия централизма есть трагедия пролитой крови. Она на всех нас. Искупление пролитой крови есть проблема культуры, морали, религии. Есть главный центр нашего измученного бытия.

Если случится страшная, немыслимая для русского сознания беда и расколется государство, и обобранный, обманутый своей тысячелетней историей народ окажется вдруг один, а недавние «братья», расхватав пожитки, кинутся в свои «национальные шлюпки» и уплывут с накренившегося корабля, — что ж, нам некуда уходить. Изнемогшие, потерявшие капитанов, со сломанной рубкой и разбитым компасом, мы спустимся, стар и млад, в полузатопленный трюм и станем откачивать воду, затыкать своими телами бреши, крепить корабельный остов. Мы выправим крен, восстановим надстройки и мачты, найдем среди клубящихся туч Полярную указующую звезду. Станем плыть.

Русская государственность, воплощая «русскую идею» политически, экономически и духовно, будет построена заново. Она собирает в себя все лучшее из долгого тысячелетнего царства и мгновенно пролетевшего семидесятилетия советской истории. Уже сегодня не востребованные перестройкой умы сложили концепцию нашей будущей экономики, образовательной системы, общественных институтов, глобальных связей русских с миром. Мы будем долго вставать, встанем страшно избитые, в переломах и вывихах, но не ожесточенные, а умудренные.

Народ наш в душе своей светел, трудолюбив и сметлив. Подключен своим духом к земным и небесным энергиям. Не в час корабль русской государственности будет построен, не в день собор народного идеала будет воздвигнут. Но есть чертежи и работники.

II. РУССКИЙ ФАКТОР

Мы — неестественное общество. Не выросли из органики жизни, из естества, из природных энергий. Мы сконструированы. Советский Союз — сконструированный летательный аппарат, на построение которого пошла изрезанная, отсеченная от природы материя. Его чертежи рождались в умах теоретиков, и этот гигантский биплан, построенный из жести и берцовых костей, мог лететь лишь в том случае, если он постоянно достраивался, рационально улучшался, в непрерывных командных усилиях, исходящих из единого центра. Этот центр, помещенный в сокровенных недрах партии, должен был питаться непрерывно нарастающим знанием, углубляемой постоянно теорией. Постепенно, по мысли создателей, кожа и кости, употребленные на изготовление аппарата, будут заменены сияющими сплавами, и самолет небывалой конструкции, набрав высоту и скорость, оторвется от бренной земли со следами революций и войн, пассажиры забудут о муках строительства, узреют лазурь.

Однако теоретики были убиты. Конструкторское бюро опустело. Послед-

ний «строитель» Сталин, еще помнящий изначальный чертеж, умер, забрав с собою ключи. И с тех пор железная дверь сокровенного отсека не открывалась.

Перестройка так и не заглянула в отсек, не поинтересовалась устройством машины. Утомившись управлять из пилотской кабины, экипаж отдал рычаги управления пассажирам, а те стали крутить винты и шарниры, выкалывать заклепки и гвозди, и, лишенный управления, рассыпающийся на элементы, Советский Союз резко пошел на снижение. Вот-вот стукнет носом о землю, начнет входить в грунт, и мы, сидящие в салоне, ближе к хвосту, ждем, когда начнет сминаться в гармонь головная часть фюзеляжа.

Как действовать? Парашютировать? Крестить потный от ужаса лоб? Крепче привязаться к падающему самолету? Посылать мировые сигналы СОС? Как нам быть перед тем, как превратиться в воронку?

Если удастся на последних перед землею метрах стабилизировать полет — вернуть экипаж в кабину, отобрать у спятивших пассажиров ручки и тумблеры и выиграть время, — это время надо использовать на страшную, предельную, последнюю думу, перед тем, как принять решение.

В этой думе есть несколько ключевых фундаментальных проблем, не решив которые не взмыть. Одна из них — как быть с полиэтническим многонациональным составом государства и общества? Как поступить всем народам, которых бог поселил друг подле друга?

Впервые русское сознание, теоретическое и обыденное, ставит вопрос о целесообразности полиэтнического государства. О цене, которую платит Россия, находясь в его монолите. Впервые прозвучала мысль о возможности выхода России из интернациональной обоймы. О распаде конструкции, на создание которой русский этнос потратил тысячу лет своей жизнедеятельности.

Русский орел об одной голове, в окровавленных перьях сидит на кусту, «среди долины ровныя», и множество мелких птах, кобь и неясыть, с шумом и писком вьются над ним, норовят сильнее щипнуть, вырвать перо побольнее. Доколе терпеть?

Противники «выпадения», полагающие будущее России в целостной стоязыкой державе, утверждают — распад ее, подобный распаду грандиозной галактики, будет сопровождаться выбросом колоссальных энергий, тех, что «запечатаны» в соединенных территориях, в совместных исторических судьбах, в бесчисленных узах: экономических, культурных, семейных. Их насильственный разрыв приведет к миллионам трагедий. Вековые усилия, аккумулированные в державном теле, выделятся ядерным разрушительным взрывом.

Они, традиционные русские государственники, считают, что расчленение резко снизит могущество России, включенной в агломерацию республик, уменьшит ресурсы, людской потенциал, пространство и территорию государства, снизит его роль на международной арене. Отпавшие народы и территории будут немедленно захвачены гравитацией процветающих сильных соседей, еще больше увеличат их силу. К двадцать первому веку Россия, раздав окраины, останется голой, беззащитной перед лицом организованных активных соседей на западе, востоке и юге. Миф о вечном мире не усыпляет бдительность государственников, ожидающих в грядущем веке череду острейших кризисов, борьбу за недра, за шельфы, за пространство, имеющую выраженный военный аспект.

Они, государственники, изучившие практику Государства Российского, все дефекты и промахи в конструировании многонациональной машины СССР, полагают, что духовное, культурное, религиозное взаимодействие в пределах единого общества сулит нам множество оригинальных культур, тенденций, смешанных, перекрестных форм, гибкость и видоизменяемость, столь необходимые и желанные в будущем, когда человечество одолеет угрюмую стадию индустриализма, вступит в технотронный калейдоскопический мир, где многообразие, непредсказуемость и есть гарант развития.

Мысль о распаде СССР, о выходе России кажется им чудовищной, предательской. Слушая, как трещат и ходят ходуном межреспубликанские границы, они вспоминают славу Суворова, Ермолова, Скобелева.

Однако есть взгляд иной. «Русский сепаратизм», уставший от поношений в адрес России, горько переживающий каждую русскую смерть, каждую рану в межнациональных, нарастающих повсеместно конфликтах, ведущий счет всем нашим недородам и недоимкам, на фоне благоденствия республик, считает: «Цель России — Россия!» Утопия интернациональной мировой революции и имперская космогония «Москва — третий Рим» выпили, обескровили русский этнос, и пока этот этнос числится среди великих народов земли, пора наконец перестать расходовать его силы и соки на насыщение интернациональных мифологий. Пора сбросить с себя кусающих, неблагодарных соседей, вырваться из их урчащего клубка и остаться одним.

Их аргументы все слышней.

У России, если она окажется в границах собственного этноса, есть все, чтобы осуществить развитие, остаться великой державой. Есть несметные богатства недр, способные питать индустрию. Ресурсы пахотной земли и воды, способные кормить и поить. Выходы к океанам, обеспечивающие коммерческую и военную активность. Русский Космос снимает проблему пространства, подключает Россию к мирозданию с его энергетической бесконечностью. Мы обладаем инженерным и научным интеллектом, природным талантом, квалифицированным рабочим классом, всеми отраслями хозяйства, пусть часто угнетенными, недоразвитыми, но ориентированными в грядущее. Освободившись от амбициозных

республик, мы сбросим ненужный груз, освободим мускулы для предстоящих работ и радений.

Удерживать сегодня республики, где национальное чувство захвачено в цепкие руки народных фронтов, в жесткие, отлично организованные структуры, где национально мыслящие вожди владеют массовой психологией, — удержать их сегодня можно только военной силой. Но для этого придется провести несколько кровавых войн внутри государства, несколько «афганских кампаний». Не выиграв афганской войны, питая отвращение к самой идее «колониальной войны», не желая больше класть ни одной бритой русской головы, общественное сознание России не согласится на насилие. Оно негодует по поводу либерального соглашательства с национальными экстремистами и народными фронтами, приведшего к «карабахскому котлу» и «прибалтийскому тупику», но отказывается оплачивать грехи соглашателей жизнью своих детей. Война в Афганистане была последняя трагическая война за целостность СССР и за социалистическую мировую идею, к моменту, когда эта идея стала стремительно разрушаться, а атаки на южный фланг государства со стороны исламского фундаментализма приняли угрожающие размеры. Неудача в этой войне, обложенной пластами лжи, в том числе и сегодняшней, проецируется на весь идеологический и национальный процесс в СССР. Нельзя бросать вчерашних афганцев, израненных и оплеванных, в горнило новой бойни.

Если не войны, не «чрезвычайные положения» по всей дуге нестабильности от Прибалтики, Молдавии до Закавказья и Средней Азии, то огромные дотации, многомиллиардные подачки от русского стола к столу взбунтовавшихся домочадцев, — вот что еще некоторое время может удержать республики, стремящиеся к выходным дверям советского «общего дома». Но хватит этих последних рубашек с худого русского тела, хватит этих заросших лебедой суглинков и избушек под мокрой соломой в соседстве с розовым туфом армянских селений и ландшафтной архитектурой прибалтийских вилл. Миллиарды, идущие на «национальные взятки», мы потратим у себя, в своих деревнях, детских домах, в инженерных КБ. Мы восстановим храмы и библиотеки, используем эти деньги в экологических и антиспидовых программах.

Постоянное сдерживание русского национального чувства, эксплуатация этого деформированного чувства в целях управления многонациональной страной, боязнь всего русского, могущего задеть, оскорбить, ранить чувствительное самосознание других народов, — все это нестерпимо. И оно кончится, когда Россия останется одна. Раскрепощение национальной энергии, присоединение всех худосочных форм экономики, культуры, политики к плодоносным живительным токам даст немедленный результат возрождения. Патриотизм — есть не учтенный нашими энергетическими программами вид творящей энергии, а русские как никто умеют ею пользоваться для восстания из праха гражданских усобиц и смут.

Такие идеи выражает сегодня русская мысль, глядя на истерию, захлестнувшую республики.

Конечно же, проблема роспуска СССР не выясняется на бумажном листе. Или на сходке «русских земцев». Она не выясняется на заседании Политбюро. Ни на Съезде Советов, где слишком часто нарциссы от политики, блистая радикализмом, не демонстрируют государственных и моральных подходов. Эта проблема выясняется в мощных научных центрах, подобных «Рэндкорпорейшен», способных создать концептуальную модель роспуска с учетом всех факторов, всех долговременных последствий. А их столь много, они находятся в таких сложнейших композициях, что только коллективы специалистов—политологов, экономистов, военных, — оснащенные концептуальной теорией, могут представить аргументированную картину, из которой поймем, что сулит распад государства. Это величайший фазис истории, в котором, как в мешке Пандоры, таятся тысячи катастроф. Нельзя опрометью разрубать этот узел. Нельзя развязывать его трясущимися неверными пальцами.

Ясно одно — если Россия выйдет из общего хоровода, должны быть соблюдены экономические и моральные интересы русского населения, осевшего в республиках. Ни один волос с русской головы не должен упасть. Ни одна слеза не должна пролиться. Русское население не будет использовано в качестве заложников в национальных и политических играх. За них, за своих соотечественников, Россия встанет всей своей державной мощью, поставит их интересы в центр своих государственных интересов. Это будет первым деянием новой России, не желающей больше жертвовать самым дорогим, что она имеет, — соотечественниками, рассеянными после всех революций по лику земли.

Но ясно и другое — гуманистический дух России окажется сильнее сиюминутных обид, не пойдет на поводу у национальных гордецов, за которыми сегодня слепо, с обожанием движутся их народы. Нет, мы не в силах отговорить прибалтов, стремящихся в хаос восточноевропейской политики с нарастающим в ней германским гигантом, с польскими незабытыми амбициями, с негарантированными посулами американских патронов. Пусть уходят, отключают от наших ГЭС свои национальные розетки, перекрывают вентили наших нефтепроводов, разбирают рельсы, ведущие в центр России. Мы не станем мешать. Пусть грузины и армяне, хранящие незаживающие обиды на наших писателей и военных, надышатся наконец свободой, той, что сулит им соседство с могучим исламским миром. Пусть везут свой изюм и урюк на рынки Ирана и Турции, а мы на Урале наполним прилавки морковью. Трагедия подобных исходов очевидна. Вожди и пророки, побуждающие наро-

ды к подобным исходам, будут со временем прокляты. И русское чувство, как это бывало всегда, отзовется на стоны.

Впрочем, в разговорах о выходе, о распаде нынешнего СССР имеется в виду сохранить триединство славян, глубинное, проверенное десятью веками братство, где языки, вера, история, опыт тягчайших испытаний заставляли прижиматься друг к другу три славянских народа. Стоять спиной к спине, отбиваясь от врага. Обращаться лицом к лицу в миг ликования.

И все другие народы, драгоценно инкрустирующие великую Россию, сидящие на великих реках, у великих океанов, и великих степях и предгорьях, — все они останутся в братстве. Понимают неразрывность наших духовных тел. Умирает Россия, умирают и малые народы. Расцветает Россия, и они расцветают.

Вражда, нетерпение застилает бельмами историческое зрение. Не замечаются сегодня медленные действующие в истории потоки, омывающие Евразийский континент с Россией в центре. Эти потоки будут действовать завтра, всегда. Народы-соседи, когда кончится мучительный и грозный период, после всех разочарований, потерь, станут снова ощущать эти вечные реки истории.

Что же делать русским, если все-таки хлопнут в горнице двери и утихнут разгневанные шаги ушедших соседей? За что приниматься? С чего начать? В чем практическая задача русских политиков, получающих в управление «постимперскую», «постсоветскую» Русь?

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛОВ.

На наших расплющенных, со следами железа и крови губах должны прозвучать слова, объясняющие нас самим себе, открывающие в нашем измученном сознании цель и смысл появления нас среди остальных народов. Мы должны понять, к чему стремились в веках, что чувствовали в себе неизменно в счастливейшие минуты истории и в дни великих скорбей. Что будет включать в себя «идея России», излетающей на обугленных крыльях из красного кокона «СССР»?

Из этой идеи не исчезнет мечта о правде и справедливости, о земном устройстве, где люди исповедуют братство, сострадание к слабым, где личное благо возможно, но не зиждется на ограблении соседа, а общее благо выстраивается всеобщим трудом, добровольной жертвой и вкладом. Идеал социальной справедливости мы пронесли сквозь все обманы, поборы. Его не вытравил крепостной труд на колхозных полях, рабская доля на рудниках Колымы. Общество, которое станет строить Россия, будет созвучно этому идеалу, будет соборным.

Космичность, неутоленность земным. Понимание своих целей как удаленность в бесконечность, безбрежность. Ощущение сверхзадачи, недостижимой в отдельной жизни, в конкретном земном бытии. Русское стремление к запредельному, к тайне, ядро которой содержит высший нравственный смысл, одаряет каждого из нас и все человечество в целом. Этот русский Космос наполнен православной верой и отголосками русского пантеизма, мистической философией прошлого и могучим учением о ноосфере. Русский космизм в сочетании с идеалом социальной справедливости делает Космос одушевленным, очеловеченным, каждое земное деяние сочетает с нравственным содержанием Вселенной. Соборность осенена духом. В каждом ремесле, в каждом земном проекте присутствует нравственная вселенская цель.

Могущество, богатырство. Способность на великое мировое деяние. Уготованность к великим трудам. Это свойство русской души, раскатавшей самобранку между трех океанов, было использовано для создания мировой империи, искусило народ мировой революцией. Теперь, когда оба наваждения исчезли, это свойство будет направлено на великое исцеление, на врачевание страшных ран, на выползание из пропасти, на достижение духовного очищении. Богатырство понадобится нам для подвига самопознания.

Эти три непременных компонента, дополненные, быть может, другими, пойдут на построение русской идеологии, которая откроет русло национальному чувству, распечатает затромбированные сосуды, наполнит их живым жарким чувством. Национальная энергия есть то изначальное творящее поле, в котором создаются материальные формы жизни, закладываются государственные институты, совершаются исторические деяния, строятся города и машины.

Сегодня народ пребывает в депрессии. Он морально угнетен, не видит целей. Из души источаются яды. Люди, угнетенные и несчастные, под прессом постоянно повторяемых клевет и наветов. Им внушают, что они ничтожны, не способны на труд, проиграли историю, и доля их — кормиться у разбитого корыта, в которое время от времени будут подбрасывать заморский силос.

Для великого народа, изведавшего столько несчастий, разгадавшего столько тайн, не может стать идеалом заморский прилавок, заваленный кульками мяса. Как не могут стать идеалом ускорение технического прогресса или абстрактные общечеловеческие ценности, напоминающие паточную рекламку Интуриста.

Только национальный идеал с его земной и космической компонентой способен открыть в нас океан энергии. Из него и станем черпать, приступая к национальным программам.

АРМИЯ.

Ей в условиях разрухи, раскола государства, развала дружественных союзов, ей в период восстановления России — особая роль. Армии должна перестать демократизироваться, а начать наконец военизироваться. Лодки будут продолжать свои плавания в Мировом океане. Авианесущие корабли, быть может, сменив свои имена «Баку» и «Тбилиси» на «Георгия Победоносца» и «Андрея Первозванного», останутся в составе флотов. ПВО продолжит наблюдение за полетом стратегических разведчиков у границ России. Мобильные ракеты, неуязвимые для удара, продолжат броуновское движение по железным дорогам. Россия, теряя союзников, не должна достичь в своих оборонных возможностях уровня Панамы, когда у заморских олигархов возникает искушение менять режимы и лидеров с помощью морских пехотинцев. Генералы должны перестать выступать в молодежных программах, а осознать стабилизирующую, охранительную роль уцелевших вооруженных сил в условиях социального и экономического кризиса. Те же, в белых манишках, с бриллиантовыми перстнями, кто сделал армию мишенью для оскорблений, добиваясь ее деградации и развала, должны помнить, что за пять разрушительных лет только армия оказалась способной на конкретные деяния и жертвы — будь то чернобыльский взрыв, или армянский подземный толчок, или азербайджанская гекатомба. Она, армия, в случае уличных боев и погромов примет в свои казармы, накормит сухпайками недавних своих поносителей, сбережет их матерей и детей от избиений. Поэтому танки, изгоняемые сегодня из Чехословакии и Германии, не должны быть брошены в мартен. Они встанут на новых границах России.

БОРЬБА С МАФИЯМИ.

Сквозняки уголовщины, веющие на наших съездах, экономических совещаниях и телепрограммах, сливаются в свистящий сквозняк, вымывающий у нас финансы, ресурсы, результаты труда, возможность дышать и жить. Известны мафиозные центры, откуда парализуют железнодорожный транспорт, блокируют торговлю, финансируют террористические операции. Известны объемы богатств и механизм их накоплений. Есть и рецепты их подавления, выскабливания из народного тела методами экономическими, политическими и военными. Перестройка загадочно тянет с ликвидацией мафий. Уничтожение криминальной грибницы, проросшей во все институты власти, во все ткани общества, — опасная, но необходимая хирургия.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ.

Следует немедленно защитить те космические и технологические программы, где еще пульсирует энергия технотронного развития, приобщая нас к мировой цивилизации. Бестолковая конверсия, переведение космической индустрии на производство садово-огородных домиков, навсегда лишает нас перспективы выступать на равных в мировом сообществе, «выключает» нас из развития, делает «страной-зоопарком», «этнографическим заповедником», на потеху американским и японским соглядатаям. Американская цивилизация двигалась рывками от проектов «Манхэттен» к «Поларисам», «Огайо», СОИ. В недрах этих проектов совершались грандиозные управленческие открытия, переводившие американское общество каждый раз на новую ступень. Эти открытия давали возможность централистски организовать экономику, науку, глобальную стратегию, были главным невоенным эффектом этих оборонных программ. Обеспечивают сегодня американцам самоконтроль, самоконструирование, управление темпом и направлением развития — то желанное качество самоконструирования, которое мы утеряли к шестидесятым годам. Наши редкие очаги, где еще творятся глобальные программы, должны стать копилкой централистских концепций, новейших управленческих подходов к сверхсложным процессам, коими являются государство и общество. Собрав по крупицам оставшееся после перестройки народное хозяйство, мы станем восстанавливать его на базе концептуального централизма.

КУЛЬТУРА.

Она, воплощая в себе национальный идеал, станет культурой-страстотерпицей, когда на каждом рубце и шве, на каждом отсеченном суке вырастает ветвь, помнящая о прежнем великом цветении, о великой просиявшей секире, о грядущем неизбежном возрождении. Эта культура, многомерная — светская и духовная, земная и мистическая, совестливая и рациональная, — соберет в себя бесценный опыт грехопадения и искупления, смерти и воскрешения, опишет и осмыслит такое в истории людей, что не случалось ни с кем — только с нами. Этот опыт невозможен в сытых благополучных цивилизациях, ищущих в своем технологическом комфорте допингов для развития. Пути нравственного совершенствования лежат в преодолении страданий, в победе над катастрофикой. И именно этот опыт нашей культуры будет драгоценен для человечества, драгоценней молибдена и золота.

ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ.

Особой программой станет восстановление русского крестьянства, вольных землепашцев, которые вернутся на свои заброшенные суглинки и супеси, на пепелища дедов и прадедов и составят особый, опекаемый всем народом слой, в чью заботу войдет восстановление связей человека и праматери-земли, труда и праматери-природы, космоса души и космоса Родины. Не создание запасов продовольствия, не выполнение аграрных установок, не арендный подряд, не укрупнение или измельчение деревень, не агрогорода или фермерские хуторки — не в этом смысл программы. А в создании физически и духовно здорового слоя, способного реставрировать исконное народное миросознание, освободиться от депрессии урбанизма и жестоких социальных экспериментов, восполнить тающее население России. И — как результат свободного землепашества, вольного самоопределения на земле — одарить соотечественников караваем.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО.

На месте разоренных укладов, выбитых до земли токовищ мы станем осторожно создавать гражданское общество, вменяя

государству его создание. Выращивание ассоциаций, культурных центров, производственных негосударственных союзов, клубов по интересам, профессиональных и творческих объединений. Поощрение инициатив, индивидуальных и коллективных, направленных на возрождение. Этим будет озабочена русская государственность с первых своих шагов. Все слои общества, все сословия и классы будут вправе проводить свои интересы через изобретенные ими структуры. Рабочий класс, как никто озабоченный социальной справедливостью, работающий в условиях техники, страдая от технологических отставаний и экологических загрязнений, будет, по-видимому, выражать себя в движении социализма. Крестьянство — колхозное и мелкотоварное — создаст движение аграрное. Инженеры, самая обездоленная сегодня когорта, осознав свое единство и мощь, создадут движение инженеров, защитят технический и научный интеллект, станут рассматривать изобретение и открытие как дорогостоящую форму собственности, будут планировать научные и технические программы, влияя на политику государства. «Демохристиане» выразят интересы церкви. «Военное движение» — интересы армии. Либералы, вместо того чтобы проникать в чуждые им по духу структуры, разрушая их, добиваясь монополии власти, обретут свою либеральную нишу, где в условиях свободы непрестанных дискуссий воплотят идеи русского либерализма.

Но все эти медленные ростки гражданского общества, беспомощного и чахлого на первых порах, должны взращиваться попечительством центра, умного, неторопливого, оснащенного социальной теорией, «социальной ботаникой», запрещающего себе любое подавление, а только взращивание и целение. Таким центром могла бы стать партия национального возрождения, где патриоты всех сословий —ученые, рабочие, священники, военные — посвятили бы себя первоочередным делам возрождения. Этой партией могла бы стать Российская коммунистическая партия, на создании которой настаивает значительная часть нынешних партийцев. Если, конечно, такая партия уцелеет среди партийных расколов, не разделит горькой участи ПОРП, СЕПГ, БКП, не пренебрежет в своих партийных маневрах целями и идеалом России.

Все, что написано здесь, имеет вид эскиза, лишено конкретных социальных и экономических проработок. Может усекаться, достраиваться. Но труд возрождения России уже включает в себя не только эмоции, чаяния, митинги и богослужения, но и работу политологов, культурологов.

Этика, которую мы будем исповедовать во время этих тяжких трудов возрождения, будет этикой социального стоицизма, взаимопомощи и терпении. Мы не станем откликаться на оскорбления, на кликушеские наветы, на чернильные брызги, желающие испятнать наши светлые намерения.

Неизвестно, как назовут потомки нынешние времена — «годами революционной перестройки» или «пятилеткой великого ренегатства». Ясно одно — среди всех крушений и ломок, всех умолчаний и лжи возник «русский фактор», который теперь нельзя не учитывать, нельзя затоптать и убить. Сохранится ли Советский Союз как целостность или ему суждено распасться, «русский фактор» будет нарастать поминутно. Только он один, если правительство на него обопрется, может удержать страну от распада. Он один, в случае распада, станет формирующим центром для всех прошедших сквозь катастрофу.

Самолет с надписью «СССР» утюжит верхушки деревьев, экипаж играет в поддавки, а нам, сидящим в разгерметизированном салоне, оставлена последняя минута решать.

III. ДОСТАТОЧНАЯ ОБОРОНА

Явления, захватившие сегодня наше внимание, — всеобщая мука, социальный страх — суть внешние проявления фундаментального процесса передачи власти. Страна меняет хозяина. Утомленные, полуразрушенные, утратившие волю к власти централистские структуры сдают ее без боя другим, новым, дееспособным, сформировавшимся за последние двадцать лет нашего иллюзорного благополучия.

Мы вдруг обнаруживаем, как в экономике, социологии, общественном сознании проявляет себя мощный упитанный пласт, условно именуемый «криминальной буржуазией» или «буржуазным социумом», накопивший в себе громадные витальные силы, финансовые ресурсы, опыт управления этими ресурсами, сформировавший свою структуру, идеологию, методы выхода «на поверхность». Именно он, динамичный, агрессивный, знающий свои цели, принимает сейчас власть у одряхлевшего аппарата, еще недавно претендовавшего на выражение общенародных, общегосударственных интересов.

Экономических централистских структур практически не существует. Социальная справедливость погребена. Экономика антинародна. Государственный сектор распадается на глазах как весенняя льдина. Действует и развивается только буржуазный сектор. Зажигает рекламы на площадях больших городов, закупает телеканалы, издает законы и уложения. Нарастает благополучие и преуспевание буржуазии, нищает народ.

Советские органы, и прежде выморочные, эфемерные, заявляют себя только на съездах народных депутатов, которые после всех ожиданий обернулись огромной говорильней, вязким болотом плохо переваренных концепций, варевом непродуманных бесполезных законов.

Поразительна, трагична судьба партии, исчезающей бесшумно, как дым. Коммунистическая партия задумывалась ее жрецами как централизованная сила, действующая в направлении от жреца и вожди к народу, воспринимающая народ как объект воздействия, удара, насилия. Партия создавалась как инструмент воплощения грандиозных футурологических утопий, сконцентрированных в узких кругах интеллектуальных создателей. За годы своего существования партия, утратившая интеллект и теорию, теряя из вида грядущее, многократно перерождалась, меняла смысл и сущность, и сегодня по воле своих собственных лидеров приходит к трагическому финалу. Ныне партия напоминает хорошо проложенные по всей территории страны линии электропередачи, укрепленные на прекрасно сконструированных стальных опорах, однако вся эта грандиозная многомерно разветвленная сеть отключена от источников тока, от электрических станций, с одной стороны, и от двигателей, моторов, источников света — с другой. По этой опустевшей сети уже не идет стратегическая инициатива центра. По этим проводам не течет энергия идей, приказов и замыслов. Эта сеть мертва, на нее безбоязненно садятся черные птицы, каркая, расклевывают ее от арматуры до повисших к земле проводов.

Исчезая, Коммунистическая партия распадается на три разнородных фрагмента. Из ее рядов выламывается и уводится мощная социал-демократическая фаланга, ориентирующаяся на недавно латентные, вышедшие на поверхность буржуазные круги, предпочитающие не создавать свои политические структуры, а воспользоваться частью уже существующих, с их собственностью, кадрами, организационным опытом. Этой партии жить и цвести, владеть заводами, землей и культурой.

Второй обреченный фрагмент партии — коррумпированный, многократно перерожденный, ущербный, мыслящий эгоистично и кастово — не нужен уже никому. Он будет выдуваться, как легкая костная пыль исчезнувшего скелета.

Последний, третий фрагмент — та часть партии, которая мыслит себя централистски, все еще ждет инициатив из центра, готова стать партией единомышленников, взять на себя бремя власти в рассыпающейся, гибнущей стране. Она готова жертвовать, чутко ищет созвучных ей лидеров, трагически ощущает свой удел. Она, еще крепкая, верящая в социализм, будет отдана на растерзание общественному сознанию, взвинченным народным фронтам, обездоленной публике, когда от коммунистов потребуют ответа не только за ленинский эксперимент в начале века, не только за кровь сталинизма, не только за стагнацию Брежнева, не только за дилетантизм и катастрофику первых лет перестройки, но и за то, что она, партия, заведя страну в тягчайший кризис, покидает штурвал управления, самораспускается, уходит с арены, предав поверивший ей когда-то народ. Этот страшный и справедливый упрек будет предъявлен последним партийцам, необратимо устранит их от власти, обречет их самих на роль изгоев, заставит испить чашу политического гонения.

Единственной, последней из всех централизованных структур, сохранившей общенациональный идеал, действующей во имя всей страны, всего народа, остается армия. Она, армия, в силу этих свойств тоже подвержена сегодня интенсивному давлению и нападкам. Ее разрушают как последний оплот централизма, последнее вместилище народности.

Сегодня, в переходный период паралича и деградации власти, армия, как и десять лет назад, остается единственной силой, способной выполнять грозные, предельные функции, вмененные ей трагическим веком. В «застойные годы», когда буржуазия наворовывала свой капитал, а бесконтрольный аппарат проедал национальный доход, когда интеллигенция лгала или тихо ныла, а рабочие и крестьяне молча саботировали, лишь армия выполняла свой исторический долг. К середине семидесятых годов был наконец установлен военно-стратегический паритет с противниками, достигнут тот баланс оборонительных сил, о котором мечтали вожди, создавая государство и армию. Армия, установив паритет, завершила им период конфронтации, открыла путь к осмысленному, в недрах паритета разоружению.

Позднее армия воевала в Афганистане, в течение десяти лет принося кровавые жертвы, затыкая телами «афганцев» дыры в нашей неуклюжей политике, беря на себя ответственность за фальшивые разработки наших востоковедов и американистов — нынешних витий перестройки.

Она же, армия, компенсируя безответственность энергетиков и технологов, беспомощность аварийных и спасательных служб, кинулась на взорвавшийся чернобыльский реактор, голыми руками выхватывала из зоны взрыва обугленный графит и уран.

Она же, единственная, подменяя собой гражданские силы и средства, бросилась в армянский эпицентр, вытаскивала из-под дымящихся развалин Спитака раздавленные трупы армян. В последнее время, покрывая издержки национальной политики, ставя кровавые латки на дырявый кафтан демократических преобразований, армия появляется во всех зонах межнациональных конфликтов. Оказывается в состоянии гасить, хотя бы ненадолго, блуждающие очаги гражданской войны.

И эту последнюю опору государства уничтожают у нас на глазах, делают нас свидетелями избиения армии.

Кто, почему заинтересован в истреблении обороны страны?

С одной стороны, существование в мире военной сверхдержавы Советов, оснащен-

ной грозным оружием века, постоянная непредсказуемая угроза со стороны СССР были серьезным дискомфортом для бурно развивающихся цивилизаций Запада. С другой стороны, скопившийся внутри страны буржуазный потенциал развития стремится к слиянию с мировыми деньгами, с мировой метрополией, и единственной преградой оставалась военная мембрана, стена конфронтации.

Мы — свидетели того, как второе по величине военное образование планеты разрушается и исчезает как дым, словно выпаривается в каком-то чудовищном котле, повторяя судьбу своей предшественницы — армии русской империи.

Вот направления ударов и иссечений, направленных на Советскую Армию.

Направление первое. На армию взвалили ответственность за атомный апокалипсис: утверждают — ее страшнейшее оружие грозит миру Последним часом. Ее угрюмый милитаризм ведет к концу света. Под этим лозунгом началось стремительное разоружение, которое привело к уничтожеиию в одностороннем порядке целых классов новейшего оружия, доставшегося народу ценой огромных вложений, жертв, отказа от бытовых благ, сконцентрировавших в себе интеллектуальную мощь инженерии.

Считаиные месяцы понадобились для изгнания наших соединений из стран Восточной Европы. Целые группировки наших войск — танки, самолеты, пехота — выдворяются из Европы ударами сухих кулачков новоявленных восточноевропейский полнтиков. Разрушены буферные зоны, сломан паритет, прогнулись границы, мы в нашем противостоянии отброшены к предвоенным временам, когда мощь Запада вкупе с нарастающей германской угрозой концентрировалась против наших, теперь уже оголенных рубежей.

Направление второе. Армии предъявляется счет за опустошение национальной экономики. Утверждают на все лады — оборонная промышленность высосала как вурдалак живые соки индустрии, опустошила прилавки, обескровила народное хозяйство. Пацифистски настроенные экономисты начали невиданное по масштабам иссечение из военного комплекса целых производств, направлений научно-технических разработок. Бестолковая, безответственная конверсия приведет не просто к деградации вооружений, но к исчезновению перспектив научно-технического развития. Закрываются не просто заводы — распускаются коллективы рабочих, ученых, разработчиков, на сотворение которых нация затратила десятилетия своих организационных усилий. Воссоздать такие коллективы будет невозможно. Разрушая эти единственные имеющиеся у нас очаги развития, мы раз и навсегда обрекаем себя на третьестепенную роль, на полное выпадение из технотронных вариантов развития.

Направление третье. Мифом о деградации личности в армии, о царящих в ней повсеместно насилии и садизме, проблемой неуставных взаимоотношений, и впрямь серьезной, общественному сознанию внушается ужас перед перспективой военной службы. Пропагандой посеян массовый антиармейский психоз. Уже сегодня солдаты в частях плохо управляемы, готовы дезертировать, уклониться от выполнения приказа. Матери, семьи видят в армии источник несчастий для своих сыновей и мужей. Армия отрывается от народа. Отсекается ее генетический корень. Она одиноко повисает в атмосфере нелюбви и подозрительности.

Направление четвертое. Особым объектом психологической обработки стало младшее и среднее офицерство. Когда молодые лейтенанты, заброшенные на хребты и перевалы Севера, на локационные и ракетные точки, оказываются в нечеловеческих условиях, в домах-бараках со свисающими с потолка ледяными люстрами, под которыми стынут их юные жены и млечные дети, они уже не способны ни выполнять боевую задачу, ни просто оставаться в нормальном морально-психическом состоянии. Недовольство офицеров, помещенных в скверные, а подчас и ужасные социально-бытовые условия, нарастающая напряженность в офицерской среде используются лукавыми политиками для отсечения офицерского слоя от остальной армейской структуры, сталкивают младших офицеров с высшими военачальниками, ловят их в тенета неформальных антиармейских организаций.

Направление пятое. Генералитет, Генеральный штаб подвергаются поистине ураганному обстрелу. Генералов изображают как скопище чванливых некомпетентных людей, не способных управлять военной машиной, не способных установить контакт с армией и народом. Образ генерала-шута стал излюбленным мотивом молодежных изданий и телепередач. Человек с генеральскими лампасами становится синонимом военного переворота, грядущих жестокостей и напастей.

Направление шестое. Особенно драматично складывается судьба афганского контингента. Этот бесценный фермент армии, обладающий реальным боевым опытом, проявивший свою способность воевать и проливать кровь за государство, последний контингент «государственников», погибавший во имя государственной идеи в ущельях и пустынях Азии, — этот контингент, вернувшись на Родину, был государством отвергнут. Государство не защитило его, испугалось его, отдало на откуп общественным и национальным стихиям. Государство предало этих людей, откупившись пустопорожними льготами, отрекшись от идеалов, которые само проповедовало. И афганское движение, пытавшееся на первых порах консолидироваться, сложиться в «афганское братство», сегодня являет собой противоречивый, рассеченный, враждующий между собой конгломерат. В Закавказье афганский ветеран из Баку руководит подготовкой азербайджанских боевиков, а в это же время бывший «афганец» из Еревана, может быть, его сослуживец и сотоварищ, инструктирует армянские отряды ополчения. А третий «афганец», русский офицер, вертолетчик или танкист, ставит между ними свою броню, они стреляют в него, а он — в них. Пули, не нашедшие их в Гиндукуше, настигают их здесь, под Степанакертом и Душанбе.

Направление седьмое. Постоянное ввержение армии в национальные конфликты с последующим предъявлением моральных и юридических счетов — один из самых изощренных и безнравственных способов угнетения армии. Получившие ярлыки «палачей» и «мародеров» войска уже практически парализованы, отказываются выполнять приказы генералов и офицеров. Немудрено, что командованию становится все труднее заталкивать армию в хлюпающие межнациональные дыры и раны. Армия отказывается верить своему комсоставу, политическому руководству страны.

Все эти методы и приемы, применяемые последовательно и одновременно, являются хорошо организованной службой по разложению армии противника, используют рекомендации военно-пропагандистских служб зарубежной военной разведки, и невидимые нам аналитики могут поздравить себя с успехом их подрывных операций.

Итогом этой умной пропаганды, натравливания одних военных на других, армии на народ и народа на армию, уже в ближайшее время может стать ситуация бастующей армии. Армия, выходящая на забастовку со своим боевым оружием, с танками, самолетами, зенитно-ракетными комплексами, — этот грозный фантом становится реальностью, возвращая нас к легендарным временам броненосца «Потемкина». Бастующие авианесущие крейсеры и стратегические эскадрильи — ответ армии на травлю.

Необходимо немедленно, осознав эти грозные процессы, сформулировать программу обороны оборонных представлений народа, программу защиты армии от распада, сохранить эту структуру, все еще несмотря ни на что способную претендовать на выражение общенародных идеалов и целей.

Пора прозреть армейскому командованию, стратегам и «оборонщикам». Утопические мифологемы о вечном мире в XXI веке, об эре грядущего всеземного процветания обернутся угрюмой конфронтацией. XXI век грядет как век нарастающих кризисов и общемировой нестабильности. Распад СССР, выпадение его из мирового развития и мрачное сползание в третий мир, уход СССР с арены военного противостояния приведет к мировому дисбалансу, способному пошатнуть хрупкие структуры всей цивилизации, о чем уже сегодня толкуют западные политологи. Разрушение сложившихся финансовых, экономических, геополитических связей приведет к нестабильности, на которую все страны мира будут реагировать всеми возможными средствами, в том числе и военными. Перед лицом возможной активности, перед лицом нарождающихся экзотических видов оружия мы окажемся без оружия, без идей, без оборонного сознания, без геополитических военных поясов.

Армия как ничто другое нуждается сегодня в защите. Она скована своей субординацией, своим внутренним централизмом, своей присягой и верностью государственной власти. Она не в силах сама заявить о своей проблематике, защитить себя невоенными, гуманитарными средствами. Наивно верит в государство и власть. Поэтому в нашем общественном движении необходимо отдельное направление, гражданская инициатива, быть может, военная партия, которая взяла бы на себя защиту оборонного могущества страны. Как любой сословный слой, как любая корпорация, армия должна иметь гражданский канал для выражения сугубо армейских интересов. А ведь армия не клан, не сословие. Наша армия — форма народной жизни, народной идеологии и сознания.

Военно-патриотическая инициатива должна решить ряд неотложных задач. Необходимо довести до народа правду о разрушаемой армии, об истинных политических целях ее разрушения. Армия, чувствующая себя сейчас изолированной, должна знать, что народ видит ее проблемы, ее муку и страдания, что народ не разобщен с ней, готов ее защищать. Лишенной идеологии, включенной как марионетка во всесоюзную распрю, утратившей ценностные ряды и представления, армии необходимо вернуть ее идеологическое содержание — идеологию национального спасения и национального возрождения.

Надвигающийся, быть может, неизбежный хаос вменяет армии особую, не свойственную ей функцию — не карательную, как пытаются нас напугать тоталитаристы, не жандармскую, как пытаются нас обмануть либералы, но сберегающую, направленную на сохранение тех очагов развития, которые, возможно, еще не будут затронуты хаосом. По существу, армии надлежит выполнить ту миссию, которую когда-то выполняли монастыри в поры нашествий и экспансий. В казармах будут укрываться от смерти и побоищ, от разорений и голода. Туда придут, как турки-месхетинцы, как беженцы Баку и Степанакерта, — придут люди культуры, инженеры, ученые. Только армия в условиях гражданского хаоса будет в силах сберечь их, сохранить ферменты будущего развития, оборонить ценности и святыни, чтобы потом, когда минует беда, они могли быть возвращены в жизнь. Армия должна готовиться к этой роли, осознать ее, перестать заниматься одними сугубо военными делами, резко включиться в общественно-политический процесс, заявить народу о том, что она готова исполнить сберегающую, общенациональную миссию. Армия не является слепой функцией власти, она — инструмент волеизъявления народа.

Вышли на общественную арену церкви. Церковь больше не скрывается на своих утлых амвонах, за оградой погостов и кладбищ. Помимо акций милосердия, проповедей добра и блага, одна из миссий церкви в ее общественном деянии — обратиться к армии со страстным и ярким призывом защитить на-

род от крушений и внутренней смуты. Это будет то долгожданное слияние церковного идеала и нравственности с армейской действительностью, с ее оскуделой духовностью.

Сегодня борьба за сбережение армии являетоя последней борьбой за государственность, народность, Россию. Разложение и истребление армии сделает нас беззащитными перед хищниками, стремящимися расчленить СССР на лакомые, быстро перевариваемые ломти, сломить сопротивление России, не желающей — из последних сил — стать подножием в экономической и культурной иерархии жестоких, псевдогуманных цивилизаций мира.

История станет судить о жизнеспособности и сопротивляемости народа по его нынешнему отношению к армии. Она станет судить о сегодняшних генералах по их способности вывести армию из жесточайшего окружения, из второго за двадцатое столетие котла, где перемалывается военная мощь России. Она, история, произнесет свой суд красному офицерству, трагически заступающему сегодня место белого офицерства. Она назовет имена предающих армию, ведущих ее на заклание.

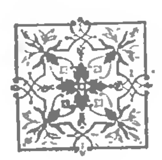
Опасность столь велика, ее очертания столь тщательно маскируются, что долг интеллектуалов и аналитиков—пойти на предельный риск, вскрыть перед обществом конечные цели беспощадной антинациональной программы по истреблению армии.

Идеология национального спасения глубоко близка любому нашему гражданину, любому воину, будь то седовласый генерал или безусый новобранец. Взамен унылой, догматической, изжившей себя внутриармейской пропаганды, где красные уголки пестрят дешевой бумагой, плохо выкрашенной фанерой, возникнет идеология национального возрождения. Нам, в наших горьких условиях, не нужна армия, покоряющая мир, готовая врываться на танках в горящие европейские столицы. Нам нужна армия для самосохранения и самозащиты. Нам нужна та достаточная оборона, без которой общегосударственная идея готова сегодня погибнуть, исчезнуть с земли навсегда.

Нет, не «большую казарму» готовит армия обществу, ратуя за поддержание в народе доблести, мужества, суверенности, уповая на достойную жизнь в грядущем, не отрекаясь от величия в прошлом. Идеал коммерсанта, рок-звезды, политического лукавца не сможет вытеснить из народного сознания идеал ратоборца, заступника, мученика за народ и отечество.

Армия поделится с индустрией своим опытом грандиозных свершений. Поделится с культурой опытом жертвенности и стоицизма.

Будущее России — не казарма, не концлагерь, не концессия, не придаток олигархических империй, а целостное стабильное общество с общенародным идеалом истины, справедливости и добра.





КАРЕМ РАШ

АРМИЯ И КУЛЬТУРА

Культура есть здравый смысл, ибо она — психическое здоровье. Культура есть красота, ибо она — физическое здоровье. Культура есть достоинство и совесть, ибо она—нравственное здоровье. А еще культура — это верность отцу и матери, верность роду и отечеству, это правдивость и нежность, доброта и бесстрашие, которые всегда вместе, ибо сострадание есть отвага души. Значит, культура — это преданность всем своим истокам, словом, она есть любовь, она — здоровье, она — верность. Все эти слова равнозначны по смыслу. Нечистый воздух, грязная вода, отравленная почва — следствия того, что подлинная культура заменена как бы на чиновный «соцкультбыт».

Подлинная культура тяготеет не столько к образованию, сколько к воспитанию. Культура есть то, что не имеет специализации, не поддается подсчету, неразложимо и чего нельзя приобрести с дипломом или степенью, а тем более с должностью. Потому крестьянин может быть глубоко культурен, а академик — хамом, офицер может быть высококультурен, а культуролог невежествен, а то и просто, по К. Марксу, «профессиональным кретином».

Культуре не учатся по книжке, ибо она вся в поступке, в действии, в живом слове. Лишившись здравого смысла там, где надо принять решение на уровне целого организма, мы призываем в советчики специалистов, профессионалов, академиков, то есть тех, кто всю жизнь буравил частность, и запутываемся окончательно, забывая, что нобелевский лауреат может, допустим, расщеплять атом, но быть полным олухом в неразложимой жизни и политике. Все наше столетие запуталось при оракулах-профессорах. Один профессор, вроде Фрейда, наотрез отказывался рассматривать человека выше пояса, экономиста-профессора никакими силами не оторвать от желудка, технократ — беднейший из всех — верит в науку, другой профессор-оракул — Корбюзье — вещал, что дайте людям типовую солнечную каморку, и не надо ни революций, ни религий, и ведь этот идиотизм десятилетиями с упоением тиражировался. Еще один

Педагогические идеи Карема Багировича Раша получили всесоюзное признание и поддержку общественности двадцать лет назад, когда основанная им мушкетерская школа «Виктория» в Новосибирске прославилась новизной программы, лицейским духом и глубоким пониманием фундаментальных основ воспитания.

Вышедшую недавно книгу очерков К. Б. Раша «Кто сеет хлеб — тот сеет правду» наш известный публицист М. Антонов назвал на заседании секретариата Союза писателей РСФСР «самым выдающимся литературно-публицистическим явлением за семьдесят лет Советской власти».

Про книгу о воспитании «Приглашение к бою» А. Лиханов сказал в предисловии: «Работа К. Раша — сгусток мысли, отчетливо сформулированный путь, которым надо следовать, воспитывая юношество, блестящая энциклика педагога, который знает, что надо делать. А это такая редкость!»

Книгу К. Б. Раша «Сибиряки против СС, или Противление злу силой», вышедшую под названием «Парад», полковник Е. Цветаев, кандидат исторических наук, принимавший самое деятельное участие в выходе мемуаров Г. К. Жукова и С. М. Штеменко, признал лучшей в послевоенной литературе по народности и глубине проникновения в стратегические замыслы воюющих сторон.

По признанию ведущего советского социолога в области сельской жизни профессора В. Староверова, он должен был после работ К. Б. Раша о земледельческом мировоззрении внести серьезные поправки в научный поиск целого направления.

По мнению ряда авторитетных ученых, принципы, заложенные К. Б. Рашем в свою педагогическую систему, талантливо реализованные в ленинградском детском доме и углубленные в программе сибирской мушкетерской школы «Виктория», представляют собой первую после разработанной К. Д. Ушинским целостную педагогическую систему, вновь возвращающую нашу педагогику на почву отечественной культуры.

При искренней любви к русской культуре К. Б. Раш верен родным истокам, пре-

лингвист-структуралист — Леви-Стросс заявил, что в человеке нет вообще никакой тайны, а вместо души — хорошо просматриваемая кристаллическая решетка. Все они вместе и по отдельности «рисовали» свои портреты и навязывали их другим. Потому-то мы и пришли к этим гербицидам в культуре или вдруг увидели, как сказал бы Дерсу Узала: «Много лет тайга ходи — понимай нет».

А В. И. Ленин заклинал, предупреждал и завещал: «Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии». Слова выделены самим Владимиром Ильичем Лениным.

Мы попробовали приблизиться к первоначальному понятию, которое заключено в слове «культура». Что касается вооруженных сил, то каждый полагает, что в словах «армия» или «флот» для него нет загадок, и отчасти прав, и именно отчасти, даже если он отслужил в вооруженных силах всю жизнь.

Что такое армия? В чем смысл, дух и назначение этой древнейшей опоры русской и советской государственности? Народ, с тех пор как осознал себя, живет в известных рамках общности, где вооруженные силы являются гарантом ее спокойствия. Войско — важнейший из краеугольных камней безопасности державы. Народ воплотил эти представления в образ былинных витязей, которые суть первый «офицерский корпус». Князья-воины изображены на столпах храмов, чтобы дать прихожанам наглядный урок государственности, и наш предок каждый день благоговейно проникался этой становой идеей родной державы. Пахарь и без пропаганды знал, что без воинской дружины он — легкая добыча алчных, вероломных и неспокойных соседей. Тайна русской государственности и армии в том, что исторически русский народ вел непрерывную войну за свое физическое существование. Во все века князья и позже цари волею обстоятельств становились во главе этого тысячелетнего противостояния. Имена Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского становились общенациональными символами. В этом главная причина долгой веры народа в царскую власть и ее непогрешимость. Князья и тысячи других мужей, таких, как Боброк, Ермак, Пересвет, Коловрат, Платов, Суворов и, наконец, Жуков, — это начальники, воеводы и командиры русских сил, все тот же офицерский корпус. Это люди высочайшей духовности и главные в обществе носители подлинной культуры, ибо если на свете нет большей любви, чем «душу свою положить за други своя», стало быть, нет и выше культуры...

Русская и Советская Армия, через лучших своих сынов не раз доказавшая это, и поныне стоит на этом принципе, а потому порукой — остров Даманский, Афганистан, смертоносные реакторы Чернобыля... Такая армия и есть культура. На переломах истории армия оказывалась главной, реальной надеждой народа.

Актер живет на чужих характерах, перевоплощаясь. Офицер держится на верности самому себе. Это противопоставление кажется искусственным, но оно не более надуманно, чем скрытое противопоставление, заключенное в теме «Армия и культура». Будем противопоставлять не для углубления разницы, а для рельефного высвечивания особенностей, затертых и захватанных неверным и частым употреблением.

дациям и написал книгу о величайшем полководце Востока, курде по национальности, победителе крестоносцев — Саладине.

Для характеристики общественного лица писателя следует отметить, что К. Б. Раш — член правления Детского фонда СССР им. В. И. Ленина, член экспертного совета Фонда культуры СССР, где он возглавляет научно-общественный совет по программе «Лицей» (речь идет о создании в стране учебного заведения типа пушкинского лицея). Он один из основателей и член правления Фонда славянской культуры и письменности, член научного совета «Русской энциклопедии», правления «Товарищества русских художников» и правления патриотического объединения «Отечество». Свидетельство глубокого понимания писателем значимости ратного труда — произведение, опубликованное в 12-м номере журнала «Москва» за 1988 год под названием «Предестинация, или Похвальное слово Российскому флоту». Это новое слово в понимании основ русской государственности.

Ученый совет Военной академии Генерального штаба поддержал кандидатуру К. Б. Раша при выборах в действительные члены Академии педагогических наук и отметил: «Все труды Раша К. Б., вне зависимости от жанра, пронизаны военно-философской мыслью о назначении армии, об историческом пути народа и роли флота в его судьбе, о достоинстве солдата и нравственных основах воинского служения Отечеству. К. Рашу свойственна широта мышления наряду с глубоким осмыслением стратегических замыслов противоборствующих сторон, потому его книги о войне полны свежих мыслей, неожиданных сопоставлений, зрелых военно-научных суждений... Статьи, принятые к печати «Военно-историческим журналом» на тему «Вооруженные Силы и культура», тяготеют к нравственным воинским поучениям». Раш К. Б. в качестве делегата от Таманской гвардейской дивизии принимал участие в первом Всеармейском офицерском собрании. Приказом министра обороны Раш награжден кортиком, символом офицерской чести.

Работа Раша «Армия и культура» — событие в духовной жизни армии и флота и сразу стала настольной книгой для офицеров. Ее перепечатывали, пересказывали, а в некоторых гарнизонах даже переписывали от руки.

Когда-то Константин Леонтьев (о нем ниже), разбирая «Анну Каренину», заявил вызывающе: «Нам Вронский нужнее и дороже самого Льва Толстого. Без этих Толстых можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека». А ведь Леонтьев искренне преклонялся перед силой художнического пера Толстого и сам был не последний писатель.

Что в заявлении этого человека, которого Лев Толстой добродушно назовет «разбивателем стекол»: только умаление писателя или в его противопоставлении гвардейского офицера знаменитому сочинителю есть кроме парадоксальности еще и глубокое значение, скрытое от глаз массового читателя, который, кстати, есть предтеча массовой культуры? Отмахнемся ли мы от этого, еще раз повесив на Леонтьева бирку «консерватор»? Леонтьев, хотим мы того или нет, фигура крупная, личность глубокая и знаменательная. Первое желание, которое приходит на ум с бессознательно внедренной репрессивностью мышления, — это и в самом деле повесить ярлык «реакционер» и в угол пыльный, чтоб не мешал. Но Леонтьева этим не испугаешь, он гордился своей причастностью к консерватизму. Может, не будем голову прятать под крыло?

Когда прилетел в Москву Челентано, итальянский эстрадный певец, то «герои» перестройки — газетчики устроили драку в Шереметьеве за то, чтобы взять первым у него интервью. Когда же в Москву прилетели Герои Советского Союза офицеры-«афганцы» Руслан Аушев, В. С. Кот, В. Е. Павлов, А. Е. Слюсарь — люди, показавшие высочайшие образцы долга и отваги, ни один человек их не встречал. Люди, которые в любой стране стали бы народными героями, окружены молчанием.

Почему странные, приплясывающие, дрыгающиеся существа с гитарами навязываются телевидением в качестве кумиров? Уж не для того ли, чтобы сделать молодежь здоровее, отважнее, честнее? Или это особая милость, оказываемая за то, что они заимствуют, выкрикивают и хрипят на чужой манер? Случайно ли фестиваль песен воинов-интернационалистов в Москве проходит на задворках стадионов вроде «Авангард»? Туда прилетают за свой счет со всей страны молодые ветераны, катят инвалидные коляски, идут жены и дети. Перед нами подлинно народное явление. Прибегают на него с нечистыми намерениями представители некоторых иностранных телекомпаний, а от нас на эпизод приходят только от телередакции «Взгляд».

Отчего промолчали, по существу, все газеты, когда прошел грандиозный фестиваль славянской письменности в Новгороде в мае 1988 года, и все как одна, захлебываясь и перебивая друг друга, говорят о роке? Почему все свое, родное, отечественное вызывает молчание, а все зарубежное, чуждое, особенно если оно не созидательно, вызывает ликование? Сможем ли мы убедить тот же Запад вести с нами достойный, честный и прямой диалог, если будем холуйски показывать, как мы ему подобострастно и нелепо подражаем и как все свое презираем и не уважаем, чтобы заслужить его одобрение? Воспитаем ли мы трудовое и честное поколение, если с детства будем приучать к тому, что Иммануил Кант с исчерпывающей и беспощадной прямотой называл «сладострастным самоосквернением»?

Почему развлечению дан бесспорный приоритет перед воспитанием? Случайно ли те, кто не «служит Советскому Союзу», имеют на телевидении, которое смотрит весь народ, лучшее время и приоритет перед теми, кто служит Советскому Союзу? Никогда подлинный досуг не был развлечением. Он всегда созидателен. Вы думаете: неверная, разрушительная установка берет начало в застойных временах орденоносного Брежнева? О, нет.

Валериан Майков, сын ратника 1812 года Николая Майкова и брат известного поэта Аполлона Майкова, отметил через несколько лет после смерти Михаила Лермонтова: «Все ударились в так называемую изящную литературу; все принялись или писать, или читать романтические элегии, поэмы, романы, драмы; некому было думать ни о славянизме, ни о европеизме в России. Затем явилась «Библиотека для чтения», и тогда, по собственному ее сознанию, начался в русской литературе такой смех и такое веселье, что серьезные вопросы сделались, наконец, совершенно неуместными».

Мы имеем длительную традицию анекдота, эстрадного хихиканья, всеразрушающей иронии. Еще Пушкин заметил, что глупая критика не так заметна, как глупая похвала. Созидательный здравый смысл и ответственность подмечали критикой и ковырянием в недостатках с ущербным вниманием ко всему нездоровому. Мы беллетризируем все и вся до полного разжижения и расслабления. В журналах вялая беллетристика выше рангом, чем дельная глубокая статья историка-мыслителя. Первая набирается крупным шрифтом, корпусом, хотя она ближе к развлечению, а историк всегда будет набран мелким слепым петитом. Вот такие мы эстеты и знатоки изящного. Солому с крыш скормим коровам, но на искусство эстрады и балет отдадим последнее.

Когда умер первый Герой Советского Союза боевой летчик генерал-полковник Н. П. Каманин, человек, который руководил отрядом космонавтов, то некролог не был подписан главой государства. Когда в тот же месяц умер эстрадный певец Л. О. Утесов, под некрологом стояла подпись первого лица государства. Утесов, тот хоть целая эпоха в эстраде... Но вскоре ушла из жизни актриса из Прибалтики, имени которой никогда не приходилось слышать, и некролог снова подписывает глава великой державы. Что же мы ждем от молодежи, как мы можем поднять уважение к труду, чести, к производству и семье, если герой страны генерал-полковник Каманин в табели заслуг перед Родиной стоит ниже эстрадного певца? Вспомним, сколько раз мы видели по телевизору эстрадных певцов и сколько

раз выдающихся военных врачей в Афганистане или прославленных — увы, в узких кругах! — героев — командиров атомных подводных лодок.

Перестройка есть перегруппировка сил перед наступлением. Может ли победить армия, если она противостоит противнику не передовыми частями, а выставив вперед обозы и героев тыла, и движется на врага с авангардом приплясывающих и дрыгающихся гитаристов, которые оглушают со страху себя и противника электрическими децибелами? Впереди идут предприимчивые газетчики, десант аэробики, усмехающиеся пародисты, женоподобные танцовщики, потому что «в области балета мы впереди планеты всей». На острие атаки — министерство культуры, точнее, министерство зрелищ и развлечений, и комсомол, который пытается шефство над флотом и армией, по существу, заменить шефством над досугом и кооперацией. Итак, один с сошкой — семеро с гитарой.

Можно понять горечь, которую испытывают сотрудники военкоматов при виде нынешних призывников, воспитанных министерством развлечений и эстрадным обществом. Подросток убежден, что полноценный человек тот, кто слушает «маг» и знает дюжину по памяти «дрыг»-ансамблей (слово «рок» надо переводить точно: это значит «вертеться и дрыгаться». Иначе «рок» по-русски прямо-таки имеет роковую, многозначительную глубину). Сегодня рок уже позавчерашний день, так же как «порно», секс сметены спидом на Западе. У американских школьников на первом месте среди ценностей стоит здоровье, а мы доразвлекались до того, что у наших детей в шкале ценностей здоровье стоит на седьмом месте. Это не может не вселять тревогу. Не может быть ни солдата, ни пахаря, ни рыбака, ни инженера, ни отца, ни матери с подобной дегенеративной шкалой ценностей.

Хулиганство и беззакония, случающиеся в среде военнослужащих, мы заменили обтекаемой формулировкой «неуставные отношения». Эти уродства, привнесенные в войска извне, должны выжигаться из армейской среды. Но неуставные отношения не есть «болезнь» только армии. Нет ни одного коллектива «на гражданке», в котором не было бы в той или иной форме неуставных отношений. Если таковых не существовало бы в жизни, вернее, если бы они не принимали столь уродливый характер, то следовало бы распустить завтра же милицию, суды, прокуратуру. Неуставные отношения пронизывают жизнь каждой школы, бригады, общежития, института. И название им — «неписаные правила».

Неуставные отношения в армии существуют столько же, сколько и сама армия. Когда общество здорово, то они могут быть полны и благородства, взаимовыручки, боевого товарищества. Таких примеров в армии сейчас больше, чем уголовщины, которую дружно смакуют. Все закрытые учебные заведения держатся на неуставных отношениях. Кстати, чем аристократичней на Западе закрытый колледж, тем суровее в нем порядки, тем голоднее жизнь, и отпрыски богатейших семей живут зимой в нетопленых комнатах. Это потому, что они еще не имели счастья начитаться книжек наших «педагогов-новаторов», которые хотели бы и из нашей школы тоже сделать один большой эксперимент, а учебу превратить в непрерывное «шоу», где дети сидят на педсоветах с учителями. Школа благородно консервативна. Общество не всегда доверяет новаторам не из ретроградства, а из глубокого и спасительного чувства, что детство не может быть предметом эксперимента для энтузиастов. Жизнь не праздник, и школа призвана готовить молодежь к тяготам жизни. Потому в хорошей школе должно быть честно, светло, радостно, но всегда трудно. В учении всегда должно быть очень трудно. Школа не может быть ни развязной шоу-площадкой, ни угрюмой казармой. Для здоровья детей и молодежи не досуг и не телеразвлечения нужны, а порядок, строгость, справедливость, братская доброта и помощь...

Армия последние семьдесят лет была и есть единственный институт общества, путь которого полон жертв. Армия всегда расплачивалась своими лучшими сынами и никогда, даже в страшные годы, не запятнала себя ни репрессиями, ни чванством, ни малодушием. Армия не состоит из святых. В ней разные люди. Но она мужественно выполняла свой долг, даже когда камни кричали в так называемые мирные дни, и молча умирала, когда Родина требовала. Это ложь, что сплошь и рядом кричали: «За Сталина!». Кричат только в кино. В бою трудятся, а не митингуют.

Словом, кто хочет искоренить безобразия в армии, тот должен поставить главным жизненным принципом девиз «честь — смолоду», а на острие перестройки выставить тех, кто у станков, на пашне, в больницах, в школах, на перевалах Афганистана и в Мировом океане показывает, что такое честь в действии.

Первым шагом для этого должен быть призыв ко всем фронтам комсомола, школ и минкультов повернуться лицом к коренным отечественным ценностям и традициям. На Западе уже в магистральную моду среди молодежи (после хиппи, панков и рока) вошла мода «яппи», то есть верность своему флагу, своей стране, своим ценностям, добротной одежде, честная государственная карьера. Запад уже начал культивировать патриотизм всюду.

«До 1825 года все, кто носил штатское платье, признавали превосходство эполет. Чтобы слыть светским человеком, надо было прослужить два года в гвардии или хотя бы в кавалерии. Офицеры являлись душой общества, героями праздников, и, говоря правду, это предпочтение имело свои основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем трусливые и пресмыкающиеся чиновники». Эти слова принадлежат А. И. Герцену. Армию принимали не за ее золотое шитье, а за героизм, проявленный в сражениях за Бородино, Лейпциг, Ульм, Дрезден, Париж...

В 1825 году русские офицеры доказали свою любовь к Отечеству, выйдя 14 декабря на Сенатскую площадь...

И сегодня на вопрос, смогла ли Советская Армия сберечь драгоценные традиции русского воинства, офицерского корпуса, в то время самого отважного и самого образованного в мире, ответ однозначен: традиции сохранены и приумножены.

Армия, куда собираются самые здоровые силы народа, по суворовским заветам должна быть школой нации. Наполеон в свое время признавал, что победа в войне только на четверть зависит от материальных факторов. Три четверти приходится на боевой дух. Армия не изолирована от общества. Она неразрывна с народом. Недуги общества отражаются на ней непосредственно. Офицеры несут бремя воспитания. Нет ни одного командира, который не был бы учителем, только педагогика эта труднейшая и самая истинная, ибо офицер действует по принципу «делай, как я».

Вся история русской литературы со времен создания Петром I новой армии пронизана идеей миролюбия. Ей служили офицеры Державин, Хемницер, Лермонтов, генералы Денис Давыдов и Павел Катенин, инженер-поручик Федор Достоевский и поручик Лев Толстой, кавалергард Александр Фет и майор Алексей Толстой.

Советская Армия сберегла эту столбовую традицию миролюбия, и когда мы произносим «военно-патриотическое воспитание», мы вкладываем в эти три слова, ставшие привычными с детства, любовь к родной армии и обществу. Ибо их противопоставление в любых странах считалось делом подстрекательским и преступным, а тем более это неприемлемо в стране с народной армией. Пропаганда войны у нас карается законом, это знает каждый. Когда отрицание войны подменяется отрицанием необходимости и важности службы в армии, когда борьбу за мир предлагается вести через «антивоенное патриотическое воспитание» — это звучит по меньшей мере двусмысленно.

Армия достойна самого глубокого почтения за то, что она всегда первой откликается на любую беду, будь то пожар или наводнение, за то, что офицеры, служа Отечеству, лишены порой не только театров и библиотек, но и многих радостей, которые для большинства из нас само собой разумеющееся. У армии всегда будут недруги, не надо убаюкивать себя маниловщиной. Армия стоит на дисциплине, а для разгильдяя это невыносимо. Армия держится на труде, а бездельникам и паразитам это не по нутру.

Кто спас недавно Польшу от хаоса, анархии и унижения национального, кто в последний час удержал ее на краю пропасти? Войско Польское! Стало быть, кого враг чернит? Разумеется, тех, кто стоит на страже социалистического Отечества — народную армию.

Есть ли в нашей армии недостатки? Конечно, есть, и даже, видимо, больше, чем нам хотелось бы. Должна ли она меняться? Разумеется, ибо, как говорят лингвисты, «не меняется только мертвый язык». Но надо признаться, что эти недостатки, как правило, результат наших общих недоработок. Если мы в школе, ПТУ, институте, обладая и временем, и всеми средствами воздействия, не разбудили в душе молодого человека высоких чувств, называемых патриотизмом, если не воспитали в нем трудолюбия, стойкости, дисциплинированности, надо иметь мужество спрашивать с себя. Нельзя думать, что, надев военную форму, парень будто по волшебству освобождается от всего дурного, от накипи бездуховности, безответственности...

Мы вправе предъявить к нашей армии самые высокие требования. Но всегда должны помнить и то, что армия — это мы сами, наша плоть и кровь и наши предания.

Память — фактор оборонный. Сегодняшнему воину должны быть одинаково дороги подвиги ратников Куликова поля и небывалая стойкость героев Ельнинского сражения, первых советских гвардейцев. Наша память хранит подвиги панфиловцев и защитников Сталинграда, небывалую стойкость ленинградцев...

Мы все помним. Память о подвигах дедов и отцов — наше идейное оружие.

Вспомним Афганистан, где подверглись суровому экзамену все стороны нашей жизни. Были ли в Афганистане случаи моральной ущербности среди военнослужащих? Думаю, что да. Любой войне сопутствуют преступления, коли от них не избавлена даже мирная жизнь. Даже такой войне, как «священной памяти двенадцатого года». Известен гневный приказ Кутузова, и не один, направленный против дезертиров и мародеров русской армии. Но есть правда народная, которая совпадает с художественной, а есть правда «военкоматская», протокольная, окопная, тыловая, штабная, трибунальская и сотни других частных фактов, правд и кривотолков. Даже Лев Толстой, ко времени написания «Войны и мира» уже убежденный антимилитарист, который не упустил даже подергивающейся мышцы у наполеоновской ляжки и пухлой шеи Кутузова, и тот не воспользовался трусами, мародерами и дезертирами. Он понимал, что это не народная правда о войне. С такой ли взвешенной мудростью пишем мы о нашей армии в момент испытаний, выпавших на ее долю? Верны ли мы сыновней традиции?

Армия соединяет в себе все умственные силы общества, все его слои и возрасты, все производительные силы Родины. Мы в глубине сознания безмолвно отдаем ей все лучшее, потому что считаем армию и флот наиболее чистым, сильным и возвышенным выражением нашего Отечества. Иные упрекают офицеров в равнодушии ко всему, что не касается их профессии, в том, что они отгородились от общества. Между тем это происходит чаще от некоторого рода профессиональной застенчивости, которую можно скорее отнести к их заслуге. Если в прошлом офицеры и относились с предубеждением к штатским, то толь-

ко потому, что им казалось, что у гражданских лиц недостаточно ревности к славе Отечества.

Любовь к своей армии, верность ее традициям есть самый верный признак здоровья нации. Нападки на армию начинаются всегда, когда хотят скрыть и не трогать более глубокие пороки общества. Чаще всего неприязнь к армии проистекает от нечистой совести и страха перед службой и долгом.

Наша армия при любых перекосах казенщины и самодержавия почти всегда была носительницей благородных устремлений. В военных учебниках всего мира курсанты самых различных стран постигают военную науку по идеям англичанина Генриха Ллойда, швейцарца Жомини и немца Клаузевица — и все три столпа военной мысли в разное время были боевыми офицерами русской армии. Случайно ли это? Нет. Как не случайно и то, что автор полонеза «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый росс» Осип Козловский, юношей офицером сбежав из родной Польши, пошел волонтером в русскую армию и сразу же — на приступ Очакова.

Афганистан только заставил нас посмотреть на себя строже, как на боевой поверке, чтобы реалистично и сурово спросить с себя, верны ли мы родной традиции, но не для того, чтобы бегать с ушатами грязи.

В 1945 году, вспоминает очевидец, митрополит Иосиф служил молебен по советским воинам, павшим за Югославию, в кафедральном соборе Белграда. Вдруг он сделал паузу и стал пристально всматриваться в толпу. Прихожане насторожились — военная тревога еще жила в сердцах. Воцарилась в церкви мертвая тишина. Наконец митрополит нашел взглядом тех, кого искал, и медленно поклонился им в пояс. Тысячная толпа молящихся обернулась и увидела двух советских офицеров. Так первоиерарх сербской православной церкви выразил свою признательность советским воинам-освободителям и в их лице всему нашему народу. Русские солдаты не впервые пробивались через горные теснины Балкан на помощь братьям.

Бог войны — это дух, боевой дух решимости, терпения, выносливости и ратного братства. Дух, говорят, веет где хочет. Но в бою он вливается в солдата и обретает форму, силуэт, осанку нашего ратника. Мы узнаем этот облик с детских лет. Это единственный в нашей отечественной истории образ, который отлился в знакомый со школы скромный и обаятельный тип боевого русского офицера. Из всех категорий наших граждан в характерный, особый тип отформовался только офицер. Мы, может быть, часто неосознанно недовольны бываем своими офицерами, потому что привыкли мерить их по высокой шкале декабристов, толстовского Тушина, Багратионов, Раевских, Скобелевых, Нахимовых, Телегиных и Рощиных из «Хождения по мукам» и сотен других. Мы знаем с юности, каков он, русский офицер, и ревниво следим за тем, чтобы не снижалась шкала. Правда, часто мы склонны себе прощать многое, а офицеру — почти ничего. Наш офицерский корпус прошел экзамен Афганистаном. Враги это знают, потому ждите самых изощренных, тонких и неуловимых подкопов и разрушений имени советского офицера, или, как они сами называют, «имиджа» офицера, то есть образа его.

Мы чаще всего говорим о границах, рубежах Отечества и его защитниках в День пограничника. Границы государства — тема общенародной значимости и одна из немногих, на наш взгляд, заслуживающих постоянного внимания. Мы очень много теряем, суживая проблему границ до степени политико-административной карты.

Россия — единственная в мире страна, которая выделила для защиты рубежей наиболее энергичную, жизнеспособную и боевую часть своего народа — казачество. И что поразительно, выделила *стихийно*. Казаки в свою очередь, по словам Л. Толстого, «создали Россию», присоединив и освоив Урал, Сибирь и весь Юг России. Границы — это понятие естественно-историческое и для нашей страны полное особого смысла, начиная с богатырских застав былинных богатырей. К сожалению, эти исторические параллели никогда не фигурируют в печати, когда речь идет о современных пограничниках, а связь между ними очевидна.

Охрана границы не только борьба со шпионами и диверсантами. Это охрана физического здоровья народа: вдоль всей южной границы СССР расположены уникальные противочумные станции, на которых трудятся безвестные зоологи, люди редкой самоотверженности. Они не только охраняют, но при надобности приходят на помощь нашим соседям.

Пограничная застава, противочумная станция, таможня, которая борется с ввозом в нашу страну наркотиков или подрывной литературы, — все они охраняют физическое и моральное здоровье нации. На морских рубежах это сторожевые корабли. На всех границах запечатлены на мысах, банках, вершинах, заливах, островах и проливах имена славных русских моряков. На прибрежных скалах кресты и судовые колокола в память о погибших говорят о том, что рубежи — это тема актуальная, волнующая и ежедневная. Мы нуждаемся в новом осмыслении пограничной службы.

Мы слишком много уже написали о безграничных просторах и неисчерпаемых богатствах. У хорошего хозяина не бывает безграничной территории. Каждая пядь отмерена, как показал остров Даманский.

«Безграничные» разговоры нанесли огромный ущерб психике молодежи. *Безграничность* сродни *безродности*, то, что не имеет конца и края, не укладывается в сознание, не имеет очертаний, не имеет пределов. Безграничность наконец сродни вседозволенности, она лишена качества, национального самосознания.

Культура и сила начинаются с ощущения границ, с тормозов, с императивов. Без ограничений, без границ, без запретов не бывает *благородства*. Вот для чего нужно пропагандировать границы, пределы и рубежи под любым предлогом.

Любовь к Отечеству и знание его начинаются с границ. Не с очертаний на карте, а со знания границ в их исторической перспективе, с теми жертвами, которые были отданы на рубежах.

Ни один народ не отдал столько защите рубежей, как русский, украинский и белорусский. Даже общий любимый былинный герой Илья Муромец был одним из богатырей русской заставы, он — порождение границы.

Ту же столбовую традицию богатырской заставы несут наши моряки в Мировом океане и воины сухопутных войск.

В минуты опасности народ проявляет себя до конца, и все тайное становится явным, обнажаются ресурсы и надежды нации. Кого вспомнили 7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея, когда враг был на пороге? Почему в минуту смертельной опасности не вспомнили ни Стеньку Разина, ни Емельяна Пугачева, а вспомнили Кузьму Минина, Александра Невского, Дмитрия Донского?.. Вот факт, дающий повод к разработке целей стратегии в пропаганде военно-патриотического воспитания. В минуты опасности на помощь народ призывает не разрушителей (пусть даже благородных искателей правды), а защитников и созидателей. А теперь вспомним, сколько книг, не считая стихов и поэм, посвящено Разину и сколько Минину. Спасителю Отечества Кузьме Минину — ни одной книги, ни одной поэмы, ни одной песни.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что борьбу с фашизмом возглавил русский народ в содружестве с другими народами нашей страны. *Братство* народов было и остается *платформой* всей нашей идеологии. Но чтобы союз был монолитным, надо, чтобы ведущий народ, *авангардный* народ был всегда крепок. Враги знают, что крепость Советского Союза зависит прежде всего от крепости русских. Поэтому они стараются принизить культурное и духовное наследие русского народа. Попутно стараются оглушить нас придуманными революциями: «сексуальной», «модной», «проблемой отцов и детей», псевдомолодежной революцией, зеленой революцией, научной, технической, электронной и т. д. Все эти псевдореволюции нужны для шума, чтобы унизить страшную революцию в истории, ибо, как говорит восточная мудрость, вор любит шумный базар.

Мы до такой степени поддались на уловку буржуазной пропаганды, что сами не заметили, как стали прославлять русскую историю и культуру с какой-то оглядкой, стыдливостью и краской на лице. Уступая шаг за шагом, мы теряем наступательный дух и готовность к отпору.

Афганистан подверг жесточайшей проверке все наши культурологические установки. Боевые будни породили ратное братство, но они же и отбросили как хлам все, чем мы сейчас заполняем досуг молодежи. Весь музыкальный «импорт», все джазы, роки, диско, как чужеродная накипь и пена, спали сами собой. Каких же песен требовали бойцы? Они хотели слушать только напевы своей Родины.

Созидающая деятельность русской армии — от строительства древних твердынь и засечных черт, от строительства городов в Новороссийском крае, на Азово-Моздокской линии, прокладки Военно-грузинской дороги, Чуйского тракта, Транссиба и до создания БАМа. Мы писали о военных строителях на БАМе вполголоса, глухо и стыдясь, а на самом деле это продолжение великой традиции. Ни одна европейская держава не имела такой созидающей армии и такого подвижнического офицерского корпуса, как у нас.

Какие темы мы можем предложить молодежи?

Вкус к дисциплине. Дисциплина и благородство. Дисциплина и честь. Дисциплина как проявление созидающей воли. Сознательная любовь к дисциплине. Дисциплина — это порядок. Порядок создает ритм, а ритм рождает свободу. Без дисциплины нет свободы. Беспорядок — это хаос. Хаос — это гнет. Беспорядок — это рабство.

Армия — это дисциплина. Здесь, так же как при закалке стали, главное — не перекалить металл, для этого его иногда «отпускают».

Наши публикации должно пронизывать стремление — высоко поднять престиж современного офицера. Вернуть офицеру самоуважение, увлечь молодежь величием солдатского долга. Солдат в русском обществе всегда был окружен особым ореолом. Тем более это важно сейчас, когда в Советской Армии впервые в истории человечества весь офицерский корпус — из народа. Но корпус — это не абстрактное понятие. Это живые люди, порой лишенные элементарной социальной защищенности в острых проблемах быта. Чтобы офицер выполнял свой долг, он должен быть спокоен за свой личный «тыл», за семью. Пока здравствует семья, здравствует народ и армия. Пока существует русская семья, существует русский народ. Семья воспринимает, развивает и передает от одного поколения к другому через тысячелетия духовно-национальную память.

Семья взлелеяла чувство национального долга и совести. Сама идея Родины-колыбели — лона моего рождения и Отечества — гнезда моих отцов возникла из недр семьи, воплощая телесное и духовное (Родина и Отечество, мать и отец) начала, которые в живом единстве выражают идею семьи. Здоровый семейный очаг будет греть и светить всю жизнь и в труде, и в военных буднях. Если здоровье народа зависит от здоровья семьи, то защита семьи есть защита Отечества, потому защита семьи — тема военно-патриотическая.

Почему доход сейчас в семье больше, чем до войны, а детей меньше? Только ли занятость женщин виновата? Не разлит ли в воздухе дух потребительства, желания «пожить»? Пожить для себя, а зна-

чит, для своей утробы, а не для семьи и Отечества. Не преувеличены ли намеренно крики о трудностях в связи с воспитанием и отсутствием детсадов? Не скрыта ли за этим нытьем нечистая совесть? Почему жили раньше беднее, а детей имели? Не является ли семья из троих (отец, мать, ребенок) уродливой игрой в семью? Если двое уходят и остается один, значит, нация занимается самоубийством. Надо всего несколько поколений, чтобы она исчезла. Оставлять после себя одного ребенка на всем свете без братьев и сестер, по существу, сироту, не есть ли это оборотная сторона игры в семью? Вот круг отрезвляющих и непрерывных вопросов, которые должны идти в армейской печати из номера в номер, как набат. Какое это имеет отношение к армии? Прямое. Не может быть сильной державы со слабой семьей. Крепость семьи такой же оборонный фактор, как и память.

Об этом еще раз напоминает нам гиммлеровский план «Ост». Вот как выглядел план нацистов по бескровному «мирному» истреблению русского, белорусского и украинского народов.

«Целью немецкой политики в отношении населения русских территорий будет стремление к тому, чтобы рождаемость у русских держалась на гораздо более низком уровне, чем у немцев...»

«На этих территориях мы должны сознательно проводить политику, направленную на сокращение неродонаселения. С помощью пропаганды, в первую очередь в прессе, по радио, в кинофильмах, листовках, брошюрах и т. д., мы должны настойчиво внушать населению мысль, что иметь много детей — это плохо. Нужно подчеркнуть, каких огромных материальных затрат требует воспитание детей, сколько всего на эту сумму можно приобрести, каким опасностям подвергают свое здоровье женщины, решившие рожать, и т. д.».

«Одновременно следует широко пропагандировать противозачаточные средства. Применение этих средств, как и аборты, не следует ограничивать ни в малейшей мере. Нужно всемерно способствовать расширению сети производящих аборты пунктов. Например, можно организовать в этих целях специальную переподготовку акушерок и фельдшериц. Чем аборты будут успешнее, тем больше доверия будет испытывать к нам население».

«Разумеется, производство абортов следует разрешить и врачам. Никакого нарушения врачебной этики в этом усматривать не должно».

«Наряду с введением в сфере здравоохранения всех перечисленных мер нельзя ставить никаких препятствий разводам. Не следует предоставлять преимуществ многодетным родителям — ни в форме денежных выплат, ни в дополнение к заработку, ни в форме каких-либо привилегий. Во всяком случае преимущества эти не должны быть сколько-нибудь эффективными».

«Для нас, немцев, важно в такой степени обескровить русский народ, чтобы он никогда больше не обрел возможность помешать установлению в Европе немецкого господства».

«Этой цели мы можем добиться указанными выше средствами...»

В этой казенно-изуверской доктрине, выработанной генералитетом СС, нет нордического склада мышления, но есть знание о том, что любую нацию можно убрать со сцены истории, не прибегая к выстрелам, как и знание о том, что страну можно развалить до основания, не нарушая ее границ.

С середины 50-х, со времен хрущевской гнилой «оттепели», мы напоминаем корабль без системы и службы живучести. Более 30 лет мы со слабоумным оптимизмом потребителей культивируем разводы, аборты, бездетность, мы уже имеем миллион сирот при живых матерях, мы сами себя провоцируем паническими слухами о необратимом распаде семьи. Словом, мы, забыв о гражданских принципах, о долге перед ушедшими поколениями, мы, потерявшие за 30 последних лет сотни миллионов детей от абортов, мы без чужой злой воли выполняем гитлеровскую программу фашистов. Мы несемся в магазины, будто универмаги — это храмы, а ГУМ — кафедральный собор. Единственное, на что нас хватает, это искать козла отпущения и заниматься сладострастно демагогией. Ответили ли мы за 40 лет на программу «Ост» хоть одной программой созидания семьи? А ведь без крепкой семьи нет и не может быть боеспособной армии и просто здорового контингента солдат.

Воспользуемся несколькими тезисами, которые приводит генерал-полковник Д. А. Волкогонов в книге «Психологическая война». «Есть более глубокая стратегия — война интеллектуальным, психологическим оружием» — это Гитлер. «Четыре газеты смогут причинить врагу больше зла, чем стотысячная армия», — это Наполеон. Масштабы и тиражи изменились, теперь четыре газеты могут больше, чем миллионная армия. Каким образом? Дезинформацией, говоря по-русски, л о ж ь ю.

Французский специалист по теории психологической войны Пьер Нор в своей книге «Дезинформация» утверждает, что ложь есть «абсолютное оружие подрывной войны». Политработники должны бы сделать проблему хотя бы офицерской семьи одной из основных составляющих своей работы, наряду с моральной и политической подготовкой.

...Можем ли мы, имея миллион сирот в стране, располагать только восемью суворовскими училищами? Разумно ли иметь флот в Мировом океане и только одно нахимовское училище? Не следует ли нашим высшим военным училищам иметь при себе суворовские училища? Для военно-медицинской академии, например, это было бы пироговское училище. Сегодня, когда при поступлении в Рязанское воздушно-десантное училище конкурс больше, чем в театральное, мы не идем в ногу со временем и запросами молодых.

В какой части нашего общества честность, отзывчивость и рыцарство не просто рекомендуются, а введены в суровые пункты устава? Цитирую Дисциплинарный устав, ст. 3: «Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, не щадить своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга; с достоинством и честью вести себя вне расположения части, не допускать самому и удерживать других от нарушений общественного порядка, всемерно содействовать защите чести и достоинства граждан». Слова-то какие, забытые в наше потребительское время. Д о с т о и н с т в о и ч е с т ь.

Жизнь может цвести только в обеспеченном силой бытии. Мы так привыкаем к армии, ее жертвенности, что не только не замечаем, но и считаем возможным брюзжать по отношению к ней. Только сильная, умная и добрая армия, какой ее хочет видеть народ, может быть гарантом мира. Когда народ занят мирной перестройкой своей жизни, роль стражей его труда и жизни возрастает.

Армия как становой хребет русской государственности на много столетий древнее русской православной церкви и древнее славянской письменности. Из всех сказаний, поэм и летописей лучше всех народные чаяния и народный взгляд на воинство выразил автор «Слова о полку Игореве». Армия возникла тогда, когда белорусы, украинцы и русские были единым народом, с единой психологией, речью и помыслами. Армия оказалась единственной структурой, в которой это единство сохранилось, несмотря на ужасы нашествий и бедствия.

Никогда, ни при каких столкновениях держав Сечь не воевала с Доном. Это завет, оставленный народом следующим поколениям. Когда после раскола и особенно Петровских реформ усилилась поляризация русской духовной культуры, когда простой народ и верхи разделила пропасть непонимания и они отделились друг от друга, только ратное братство лучших сынов из народа и из дворян еще продолжало жить, несмотря на перекосы, крепостничество и бюрократизм. Суворовская, отеческая мудрая традиция жила в рядах войска.

Достоевский с горечью заметил: «Беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно; этого-то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «Н А Ш».

Чаще всего этой высшей награды народ удостаивал офицеров суворовской закалки, тех, кто стоял с ними под пулями. Сегодня, когда впервые в истории весь офицерский корпус — из народа и весь — «Н А Ш», мы должны помнить, что все мы в долгу перед армией. Именно то обстоятельство, что армия — плоть от плоти народа, и не дает покоя врагам нашего Отечества.

Традиция воинского подвижничества никогда не угасала на Руси. Еще боевые офицеры Петра легко переходили с армейской службы на гражданское поприще. В цене были гвардейские офицеры — смышленые, расторопные, волевые, они знали, что служат не только Петру, но и России.

«Счастлив для меня был тот день, когда на поле Полтавском я ранен был подле государя», — скажет Татищев, тогда поручик Азовского драгунского полка, он же замечательный артиллерист, географ, историк, ведущий родословную с XIV века от рюриковского князя Юрия Ивановича Смоленского. Им было с кого брать пример, размазни и «специалисты» по досугу были не в цене. О Петре Ключевский скажет: «Работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер».

Пришла пора замечательной эпохи перестройки и обновления. В этом потоке армия призвана заново осознать себя, осмыслить свое место в обновляющемся обществе и истории, ощутить себя становым хребтом и священным институтом тысячелетней государственности, понять со всей ответственностью, что чем более углубляется общество в мирную созидательную перестройку, тем более возрастает боевая готовность Вооруженных Сил как гаранта мирного труда. Задачу эту армия сможет выполнить, если будет верна тысячелетней традиции народного духа и культуры.

Афганистан поставил перед нами ряд кардинальных проблем, требующих коренной перестройки воспитания общества и обучения воинов. В боевых буднях весь груз заскорузлой схоластики, старых форм и методов воспитания воинов, вся казенная, догматическая, оторванная от жизни наглядная агитация, сухая плакатность лозунгов, отрезанная ровно на тысячелетие память, бюрократический метод, еще более одеревеневший от уставной буквальности, стал вредным, тяжелым и просто опасным. Многочисленные встречи с воинами говорят о том, что, по сути, только политическое воспитание за долгие девять лет проявило неспособность к саморазвитию, самосовершенствованию и обновлению. Солдаты-юноши, жертвуя жизнью вдали от Родины, оказались, по сути, духовными сиротами.

Мы все в долгу перед армией. Мы виноваты перед ней. Ни один институт государства за тысячу лет не принес на алтарь Отечества столько жертв, сколько наше воинство. Путь наших войск всегда был жертвенным, возвышенным и скромным. Какая категория женщин может быть сегодня по тяготам, переездам, одиночеству, неудобствам поставлена рядом с женами наших офицеров?! Никакая. Мы в долгу и перед ними. Мы в долгу и перед матерями погибших в Афганистане, ибо не смогли им объяснить, что их сыновья погибли не зря, что они стали в один ряд с великими сынами Родины, павшими на рубежах Отечества.

Мы страдаем хроническими провалами памяти. У афганцев-интернационалистов были героические и недавние предшественники. В канун фашистской агрессии

против СССР в небе Китая с японскими захватчиками сражались две тысячи только летчиков-добровольцев. По тем временам это огромная цифра. К 1940 году было уничтожено на земле и в воздухе 986 японских самолетов. Тогда по Синцзянскому тракту ходило 5200 советских грузовиков «ЗИС-5» для снабжения Китая. Думаете, в те годы мы не смогли бы у себя дома использовать эти пять тысяч машин?

Мы помогали многим. Тысячи матерей не дождались своих сынов. Русские бойцы продолжали жертвенную традицию русского воинства — не щадить жизни за други своя. Пусть не всегда это было оценено по достоинству, пусть иногда нам отвечали черной неблагодарностью, но мы помогали не в надежде на обмен любезностями, а для того, чтобы по-прежнему высоко держать честь русского имени в мире. Эту духовную драгоценную традицию бескорыстия и благородства унаследовала Советская Армия в лице лучших своих представителей. Будем же хранителями огней этой тысячелетней традиции русской ратной славы. Здесь мы чаще употребляем слово «русский» хотя бы потому, что всех нас за рубежом упрямо называют «русскими». Будем же достойны этого имени.

Когда после Крымской войны, в которой прекрасно и так ярко проявилась русская доблесть, а иностранцы злорадствовали над последствиями этой войны и русским унижением, как им казалось, тогда новый канцлер России, лицейский друг Пушкина, князь Горчаков обнародовал свой меморандум, в котором заявил, что Россия перестает интересоваться европейскими делами и безразлична к международной сваре хищных держав, что Россия поворачивается лицом к своим домашним, коренным проблемам и приступает к реформам и обустройству русской земли. Как ни странно на поверхностный взгляд, но именно это и привело вчерашних врагов России в смятение. Они бы хотели, чтобы Россия и далее беспорядочно вмешивалась во все дрязги внешнего мира и тратила на это свои ресурсы и внимание. Они с тревогой передавали друг другу ставшие крылатыми слова из меморандума Горчакова: «Россия сосредоточивается».

Они давно осознали, если Россия повернется лицом к своей земле, станет завтра для них подлинно великой и недосягаемой. Они давно уже догадывались об особом предназначении России и с тревогой задавали себе тот же гоголевский вопрос: «Что пророчит сей необъятный простор?». Нет и сегодня ничего более актуального, чем пророчество Карамзина, звучащее как программа:

«Для нас, русских, с душой, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, приведение. Мыслить мечтать можно в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России; или нет гражданина, нет человека; есть только двуножное с брюхом».

Наша отечественная традиция — это когда армия живет одной жизнью с народом. Почему общественность стенает, призывает, заклинает беречь и обновлять памятники воинской славы, почему в этом хоре голосов есть все, кроме армии? Казанский храм был поставлен на Красной площади (напротив ГУМа, где до недавнего времени был общественный туалет) не кем-либо, а национальным героем — Дмитрием Пожарским, руководителем русских войск, и сооружен в честь изгнания из пределов страны в 1612 году интервентов. Этот храм был в начале 20-х по указанию В. И. Ленина, несмотря на разруху и голод, реставрирован, а в 1935-м снесен. Теперь его решено восстановить на народные пожертвования. Участвовала в этом движении армия? Нет. Почему наша народная армия сама не охраняет и не восстанавливает те памятники, которые имеют к ней прямое отношение? В Москве нет почти ни одного храма, который не был бы приурочен к великой военной победе за свободу России, начиная с Покровского собора (храм Василия Блаженного). Все, кто носит погоны, вплоть до милиции и гражданского воздушного флота, должны повернуться лицом к родным памятникам, ибо армия без исторической памяти — это битая армия. Никогда нам не преодолеть неуставных уродств, пока мы имеем разрушенные памятники, пока солдаты не одухотворены высокой идеей охраны родного наследия.

Слово «интеллигент» в России раньше было сродни слову «подвижник» — тот, кто отдает людям всего себя и оттого богаче всех. Нет у человека ничего более ценного, чем жизнь. По природе своей, по внутренней готовности к опасности и самопожертвованию из всех родов службы наиболее требует суровой готовности к подвигу (от этого слова и подвижничество) армейская и флотская служба, то есть те, кто присягает и носит погоны. По замыслу, идее и нередкой практике эта же участь выпадает и на долю милиции. Из тех, кто не носит погон, ближе всех к ежедневному подвижничеству среди всех категорий граждан — врачи.

Повторим еще раз: нет на свете больше той любви, кто душу свою положит «за други своя».

Наиболее культурен и интеллигентен тот, кто верен этой заповеди, и не в военную годину, когда призваны почти все, а в мирное время, когда сограждане, ничего не подозревая, собирают грибы, отдыхают на пляжах, ходят в турпоходы, поют, проводят время на дискотеках или после трудового дня собираются за семейным столом. Вот почему из всех категорий граждан нашего Отечества наиболее культурен и интеллигентен воин. Когда общество это понимает, значит, оно еще молодо, свежо и необоримо. А вот когда армия становится наемной, купленной, то это верный признак, судя по истории, заката и деградации общества, ибо всеобщая воинская обязанность делает общество цельным и органичным, несмотря на все видимые издержки.

Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков писал в «Морской мощи государства», что в периоды расцвета общества флот приобретает активные черты. Эта мысль верна и для сухопутных, и для воздушных сил, или, вернее, для вооруженных сил в целом. В лучшую пору России самые пытливые и благородные силы нации собирались в армии. Так было и на Куликовом поле, и в петровские, и в суворовские времена. Это ведется от Святослава и Мономаха. И вовсе не из-за бряцания оружием, золота шлемов и блеска эполет, не из-за эстетической составляющей жизни, которая была так важна для реакционного романтика Константина Леонтьева, философа, писателя, публициста и военного врача, кончившего дни монахом Оптиной пустыни. К. Леонтьев, который оспаривал у Достоевского право быть у русской молодежи властителем дум, писал, что главная мысль — военный (при всех остальных равных условиях) выше штатского по роли, по назначению, по призванию. При всех остальных равных условиях — в нем и пользы, и поэзии больше. Это так же просто и верно, как то, что во льве и тигре больше поэзии и величия, чем в воле и обезьяне (даже и в большой, как горилла).

Итак, повторяю: армия — это и есть культура. Это не категоричность и не лозунг, а утверждение, которое могло, пожалуй, отлиться в первую строку древнего и прекрасного слова — **устав**.

Повторяю, речь идет здесь не о вымышленной армии, не об идеальном войске, нет. Речь о нашей, о родной Советской Армии, какая она есть на сегодня, со всеми достоинствами и недугами и вместе со справедливо проклятыми уродливыми неуставными отношениями. Но чтобы картина не была преднамеренно искаженной, достоинство и правда призывают нас всегда помнить о волнующих и возвышенных неуставных отношениях, родившихся среди нашей военной молодежи в горах Афганистана, когда старослужащие, которым оставалось месяц-другой до увольнения в запас, шли на мины и под пули душманов, не позволяя необстрелянным новичкам следовать за ними, пока те не приобретут опыт ведения боевых действий с хитрым, хорошо вооруженным противником. Знаете ли вы что-либо более отеческое, трогательное и просветленное в нашей жизни, полной сообщений о «бухарских», «казахских» и «сумгаитских» делах, в обществе, полном трусливо семенящих «несунов» и сыто икающих и поучающих нас жить остепененных и премированных брюзг после своих заграничных вояжей, обществе, где почтенные люди, тяжело дыша, бегают за импортом, где «пайконосцы» разгружают втихомолку багажники у своих подъездов, а миллион сирот тоскует по материнской ласке при живых матерях...

В этот застойный период — вдруг, как чудо! — забытые «русские мальчики» показывают на чужбине в огне примеры высочайшей культуры и интеллигентности. Армия, дающая таких солдат, необорима, народ, воспитавший их, первым в истории создавший новое сообщество наций и принесший на алтарь этого братства невиданные жертвы, может со спокойным достоинством считать, что он заслуживает этого благородного жребия. Вот почему офицеры, прошедшие боевую школу духовности, стали золотым фондом армии, а молодежь, вернувшаяся домой после горных боев, бесспорно, сейчас лучшая часть нашей молодежи, они все те же «русские мальчики», о которых возвестил миру Достоевский. Их присутствие среди нас дает нам всем нравственный шанс на выход из застоя совести. Они должны бы стать опорой перестройки, созидания и обновления.

Если жизнь есть диалектическое и мудрое равновесие между постоянством и изменчивостью, между традицией и новаторством, между стволом и листьями, между укорененностью и реформой, то подлинная культура всегда и во всех случаях тяготеет к постоянству, традиции, стволу, укорененности, культура **консервативна** в благородном смысле этого слова. Не будем вздрагивать при этом слове. Если бы оно было ругательным, то англичане, лучшие в мире знатоки политической культуры, не гордились бы причастностью к этому слову и заключенному в нем понятию, без которого нет ни реформ, ни обновления, ни перестройки. Будем помнить слова замечательного пианиста-новатора и музыкального мыслителя Бузони, который как-то заметил, что если есть на свете что-либо столь же плохое, как желание задержать прогресс, то это безрассудное форсирование его.

Лучшая часть русского и советского офицерского корпуса всегда была верна суворовской заповеди: «Не тщись на блистание, но на постоянство!». Это необходимо помнить каждому в период перестройки, чтобы не шарахаться и не потерять из виду горизонт и не забывать, что Франция, несмотря на хорошо оснащенные, технически вооруженные силы, была разгромлена Германией за сорок дней. А все потому, что между двумя мировыми войнами, судя по мемуарам де Голля и отзывам современников, подвергалась массированному высмеиванию, критике и просто шельмованию со стороны своей же печати, причем в тысячах разных форм.

Народ и армия были расслаблены и обезоружены этой психологической атакой. Произошло то, о чем предупреждает генерал-полковник Д. А. Волкогонов, когда в книге «Психологическая война» цитирует американского специалиста-психолога, который заявляет со знанием дела, что с помощью дезориентации и дезинформации человека «можно сделать беспомощным, как грудного ребенка: он будет не в состоянии применять свои силы».

Станем ли мы перенимать у Запада то, что он осознал ценой национального позора? Не воспользоваться ли нам хотя бы раз своим «русским счастьем», к которому звал еще Глеб Успенский: «Теперь спрашивается, если мы знаем (а наше русское счастье и состоит в том, что все это мы можем и видеть и знать, не развращая себя развращающим опытом), если мы знаем, что такие порядки в результате сулят несомненнейшую гибель обществу, их выработавшему (что мы отлично знаем), почему же у нас не хватает способности на ту простую практическую правду...». Далее писатель призывает к единственному лекарству для здоровья

нации, к честному, открытому обсуждению коренных общественных задач, не боясь даже суровой правды, которая одна способна залечить раны, которые сама наносит. Словом, он призывал к *гласности* для всех.

Память обладает мощью духовной и есть главный оборонный фактор державы. В допетровской Москве не было ни одного, как мы говорим, «памятника культуры», который не носил бы оборонного характера. Даже на городской жилплощади, в тесной квартирке, всегда есть работа рукам и уму, а в усадьбах и подавно, потому проблема досуга, коли сейчас придумана для лентяев, то тогда ее не было и вовсе. У нас разговоры, «круглые столы», печатные вопли о сносе и разрушении памятников стали уже из трагической фазы переходить в трагикомическую. Потому как «Васька слушает да ест», а общественность стенает. Общество охраны памятников создано без прав. Оно ничего не может запретить, а только причитает. Так будет до тех пор, пока памятниками культуры не займутся те, кто обязан их защищать, те, кто унаследовал их от предков и несет прямую ответственность за их сохранность.

Провалы в исторической памяти, а тем более ее атрофия — страшное бедствие для всего народа. Из-за них нация, сколь бы могущественна она ни была, духовно беззащитна перед внешними влияниями, подчас враждебными, теряет свое лицо, не дорожит своей культурой и самобытностью и в конечном счете обречена на исчезновение.

Когда речь идет о «страшном бедствии», то наступает, как сказал Мономах в поучении детям, «*мужеское дело*», стало быть, в первую очередь тех, кто носит погоны. Память всегда была мужской добродетелью.

Развитие в единстве постоянства и изменчивости, причем постоянства должно быть три четвертых, этот же баланс сил работает при традиции и новаторстве, истории и новшествах, базисе и надстройке.

Мы и впрямь видим дальше своих предков и зорче только потому, что стоим на плечах гигантов, то есть наших дедов. В то же время мы предали забвению завет Ломоносова, который всю сумму своих размышлений как завещание потомкам оставил в письме Шувалову. Четырех основных разделов этого программно-пророческого завещания не прозвучало ни разу в нашей печати. Что это за разделы? Вот они.

Первое — «о размножении и сохранении российского народа».

Второе — «о истреблении праздности».

Третье — «о исправлении нравов на большем народа просвещении».

Четвертое — «о сохранении военного искусства во время долговременного мира».

Можно смело сказать, что и другие разделы, посвященные развитию земледелия, ремесел и художеств, — все это мудрое завещание как будто обращено лично к каждому из нас и одновременно есть руководство для секретарей и мэров и всех делающих практическую политику. Мы забыли заветы отцов и в погоне за химерами теряем детей, которые ждут не схоластики, а теплоты и твердости. Шиллер, которого мы знаем только как поэта-романтика, был из числа высоких учителей народа и составителем и редактором воинских уставов. Он заметил с горечью еще тогда: «Дух абстракции пожирает то пламя, около которого могла бы согреться и воспламениться фантазия».

Философия, семья, дисциплина забыты потому, что не три четверти приходится на дух и четверть на блага, а наоборот. Победа перестройки будет зависеть от того, сможем ли мы перестроить эти соотношения в пользу совести, дисциплины, чести, духа.

Маршалы Наполеона со вздохом вспоминали солдат своей революционной юности. Тогда разутые, раздетые, плохо вооруженные и голодные инсургенты били вышколенные части врага. У революционных батальонов на материальную часть приходилась даже не четверть, а десятина. Они после изнурительных переходов, голодные, став бивуаком во фруктовых садах, не срывали ни одного плода, чтобы не запятнать честь освободительной армии. Эти солдаты и до битв не были потребителями. Жизнь не ласкала их. Мы же думаем лишь о досуге для детины, который не устает на работе, чем бы еще «пощекотать» его.

...Нам не к лицу испуганно озираться при словах «икона», «богородица», «молитва». Замалчивая или упрощая этот пласт духовной жизни, мы играем на руку врагам. Мы обязаны выделить из такого древнего и серьезного явления, как религия, спекуляции, невежество, салонное кокетство и религиозное политиканство непреходящее. Почему обойти церковь здесь нельзя? Да потому, что церковь всегда и всюду претендует на роль единственной хранительницы духовной и культурной памяти народа. В прошлом, являясь господствующей идеологией общества, она пронизывала все органы государства, все ритуалы и обряды как в армии, так и вне ее. Говоря о памяти и имея в виду офицера, разумно, думается, не уходить от родной ему воинской тематики, а попутно коснуться всегда актуального вопроса о чести воинского мундира и социальной роли офицера в обществе.

Нет более верного признака распада нравственных скрепов общества и его исторической обреченности, чем наемная армия.

Деньги и священный долг несовместимы. Нам нечего здесь перенимать у Америки. Мы выше и крепче в духовном потенциале. Мещанин этого не видит. Эта сфера ему чужда, а она решающая на чаше исторических весов. Умнейшие из них всю свою технологию с радостью отдали бы за малую толику этой нравственной силы. Да только эти ценности не купишь, ибо ничто так мерзко не пахнет, как деньги.

От армии всегда требовали, чтобы она не вмешивалась в бесплодную и обессиливающую политическую борьбу, что она должна оставаться самым чистым выражением самого Отечества, например той Франции, которая, по бытовавшему во французском обществе выражению, «пребывает вечно». Потому де Голль, вступив на нашу землю, первым делом заявил, что он принес привет от вечной Франции вечной России.

В 1813 году, когда русские полки, разбив Наполеона, двинулись освобождать Германию, Бернадот, бывший маршал Бонапарта, воевавший во главе шведских войск против Франции, а впоследствии ставший шведским королем, говорил шведам:

— Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.

Сегодня мы должны с суровым реализмом признать, что часть молодежи не последует призыву Бернадота, потому что ее научили чужим песням, приохотили к чужой одежде, к чужим мыслям.

Матисс, приехав в Москву в 1911 году, был потрясен, увидев русские иконы, сказал, что это подлинно народное искусство. Здесь первоисточник художественных исканий... Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Всюду та же яркость и проявление большой силы чувства. Ваша учащаяся молодежь имеет здесь, у себя дома, несравненно лучшие образцы искусства... чем за границей. Французские художники должны ездить учиться в Россию. Италия в этой области дает меньше. В 1947 году Матисс подтвердил свое отношение к русскому искусству, которому «предаешься тем сильней, чем яснее видишь, что его достижения подкреплены традицией — и традицией древней». Здесь, однако, придется поправить не только Матисса, но и наших искусствоведов, специалистов по жанрам. Рублев не писал иконы, чтобы услаждать эстетическое чувство своих современников и потомков. Наше безмерное самомнение мешает нам заметить, что «Троица» Рублева, по словам летописца, писана, «дабы воззрением на святую троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Чтобы победить страх, победить, выстоять, восторжествовать в окружении врагов — вот зачем постились молчальники иноки, прежде чем взяться за кисть.

Самые чтимые иконы несли в битвах как знамена впереди полков. Присутствие в Бородинской битве иконы Смоленской пречистой Божьей матери ободряло русских воинов, она облекала их как бы в духовные латы, придавала им силу и твердость. Воин доподлинно знал с детства, что Россия — удел Богоматери и он сражается за нее. У каждого солдата оставалась дома мать. Образ его родной матери сливался с образом Родины. Эти сильнейшие два сыновних чувства, слившись, рождали в нем образ Богородицы, матери всех солдат, стоявших в сече рядом плечом к плечу.

Икона Донской Богоматери, поднесенная Дмитрию Донскому, была в самой гуще сражения Куликовской битвы, воодушевляла русских ратников. Она же была с русской армией в Казанском походе Ивана Грозного.

Ничто так не воодушевляло воинов — защитников Москвы, как выставленные на стенах чтимые иконы. После Куликовской битвы Георгий, покровитель всех воинов, становится символом Москвы. Только заступничеству Владимирской Божьей матери народ приписал спасение Руси от Тамерлана, который двинулся на Русь в 1395 году и неожиданно повернул назад. Говорят, ему привиделся образ грозной жены. Что же: теперь нам прикажете слабоумно хихикать над своими предками, если они верили, что образ разгневанной России может нагнать ужас даже на Тамерлана?

Как видим, идея церковная на самом деле коренилась в суровой действительности народной жизни, она утешала и одухотворяла тысячу лет, лик Пречистой Богоматери совпадал с собирательным образом Родины-матери. В строгом лике Спаса, который возили с собой в походах Суворов и Кутузов (не было ни одного полководца, который рискнул бы выйти навстречу врагу без походной иконы), отражалась идея высшей духовной инстанции, которой он был обязан давать отчет как перед лицом совести. Спас становился собирательным образом народной совести.

Сегодня ни один человек не может пройти мимо проблемы сохранения памятников культуры, проблемы, которая давно из просветительной стала политической. Еще главари фашизма кричали: «Прежде всего уничтожайте памятники. Нация без памятников во втором поколении перестанет существовать». Память — фактор оборонный, как и любой памятник культуры. То, что враг хотел бы разрушить в первую очередь, мы должны защитить прежде всего. Армия, смысл существования которой в защите народа, первая должна внести свою лепту в защиту и сохранность и восстановление памятников Отечества. Благоговение перед народно-исторической памятью входит в баланс высокой боевой готовности. Только ваньки без родства и без памяти (ибо последнее сродни слабоумию) могут думать, что храм — это только культурный памятник.

Каждый храм в войну становился богатырем, каждый монастырь — воином.

То, что есть памятник культуры, было столетиями твердыней и убежищем для детей, стариков и женщин.

Как икона не предмет искусства, так храм не церковное культурное сооружение — в нем средоточие духовности народа.

В этих храмах хоронили, крестили и венчали предков, они уже по одному этому для сыновнего чувства неприкосновенные святыни.

Совесть народа в военной среде получала легированные добавки от риска, отваги, бдительности и мужской дружбы и после переплавки на передовой выливалась в булат воинской чести. Отсюда и ритуал воинского приветствия. Отдать честь — значит подтвердить свою верность воинскому братству, помнить о жертвах и традициях. Воинское приветствие — это жест высочайшего духовного равенства, ибо им обмениваются и рядовой с маршалом. Ритуалы армии пронизаны глубоким смыслом, они все подчинены одному — укрепить, сцементировать армию, сделать ее единой семьей.

Если младший отдал честь, а старший не ответил, то старший внес тут же свою лепту в разрушение армии. Ибо идею воинского братства превратил в идею холуйского чинопочитания. Такие случаи должны немедленно наказываться. Я часами наблюдал, как военные, проходившие мимо могилы Неизвестного солдата, не отдавали чести. Считаю такие явления позорными. Мундир и ритуал воинского приветствия — единственное, что выделяет воина в толпе штатских. И каждый случай неотдания чести мгновенно фиксируется сотнями глаз. Ничем нельзя так оскорбить армию, как не отдать честь друг другу.

Маршал Шапошников в мемуарах рассказывает, как в Петербурге армейские офицеры в нарушение устава не стали после Цусимы отдавать честь морякам — так глубока была рана от поражения и так много смысла настоящий офицер вкладывал в ритуал отдания чести.

Облик армии прежде всего зависит от культуры офицерского корпуса, от его готовности к служению, от его выучки, от его собранности, решимости и верности чести. Облик настоящего офицера в России всегда был неразрывен с обликом рыцаря.

Чтобы сформировать из курсанта-юноши истинного офицера, жизнь и быт военных училищ должны быть облагорожены лучшими традициями отечественного офицерского корпуса. В наших силах восстановить «библиотеку офицера» тридцатых и сороковых годов, вернуть офицерскому собранию забытые демократические нормы и благородные традиции полковых летописей. Нельзя мириться с тем, чтобы в военной энциклопедии не было таких офицеров, как генерал-майор Павел Катенин и офицеры пушкинского лицейского выпуска — генералы Данзас, Владимир Вольховский, адмирал Федор Матюшкин. Можно ли назвать энциклопедию военной, если молодой офицер не найдет в ней ни одного слова о выдающемся деятеле 1812 года вице-адмирале Шишкове, чьи воззвания воспламеняли Россию? Лицейский дух должен стать воздухом всех наших военных училищ, как это было пушкинской порой.

Мы обязаны вернуть народу забытые имена, утраченные названия полков, восстановить все разрушенные памятники воинской русской славы и построить новые. Пора давно вымести из казарм и клубов зубодробительную казенщину, шаблонную агитацию и рутину. Для этого необходима помощь всего общества. Пришла пора создать при Фонде культуры СССР авторитетный совет по программе «Армия и культура» для помощи в духовном и нравственном обновлении армии и флота, для выработки новой культурной стратегии.

Воспитание всегда классично, всегда тяготеет к первоосновам, к патриотизму, к трудолюбию и верности семье. В армейские библиотеки и все военные училища должны прийти наши замечательные историки Татищев, Карамзин, Соловьев, Ключевский, Сергеевич, Греков и другие. В военных училищах любого профиля следовало бы ввести курсы отечественной истории и словесности, мировой культуры и этики и истории воинской культуры. Той культуры, что придает офицеру неотразимое обаяние и привлекает к нему солдат.

Нападки на нашу страну и армию имеют давнюю историю, и нет оснований надеяться на их конец. Но иногда при первых же враждебных выпадах или несправедливом перехлесте по отношению к армии на лицах наших офицеров появляется выражение горестного недоумения. Подобное состояние не к лицу воинству. Армия должна быть готовой к защите своего достоинства печатно и устно. Нет в мире лучшей защиты, чем добрые дела человека.

Накануне революции офицеры Генерального штаба стали инициаторами замечательного движения по увековечению памятников воинской славы. Это они создали на собранные деньги музей Суворова в Петербурге и много других памятников ратной славы. Вся страна участвует в увековечении памяти павших в боях с фашизмом. Но знаем ли мы хоть один памятник, созданный армией за последние полстолетия с глубиной исторической памяти сто или двести лет, а ведь вот-вот грянет 300-летний юбилей русского флота? Почему Сухареву башню не восстанавливает флот, ведь с этой башни, с размещенной в ней Петром навигацкой школы ведут свое начало все офицеры флота?

Почему собор Казанский на Красной площади не восстанавливает заново армия — ведь собор построен главнокомандующим русской армией князем Пожарским как памятник изгнанию интервентов с русской земли в 1612 году? Почему по этому поводу стенает интеллигенция и не скажут свое слово армия и флот? Эта отчужденность и порождает в обществе недоумение и неприязнь к армии.

Нападки на нашу армию имеют, повторяю, давнюю историю. Первым принял вызов и дал отпор «клеветникам России» Пушкин. Вы думаете, клевета началась сегодня и только в связи с Афганистаном? О, нет. Вслед за Пушкиным дал бой клеветникам Федор Тютчев — племянник прославленного героя 1812 года Остермана-Толстого. В сороковых годах прошлого века пошла новая волна шельмования России и ее воинства. Федор Тютчев дал врагам бой на их же территории — он был тогда на дипломатической службе в Германии. За ним эту эстафету подхватят Герцен, Чернышевский, Достоевский. Когда дело касалось чести русского воинства, исчезали все партийные розни, ибо подвижническая и жертвенная судьба русских солдат и офицеров была всегда нашей как бы общей святыней.

Федор Тютчев напомнил немцам, что именно русские солдаты в 1813 году спасли Германию от наполеоновской тирании и уничтожения. Тогда кровь русских слилась с кровью немецких отцов и братьев, смыла позор Германии и завоевала ей независимость.

Уже не в первый раз на русских нападали, пытаясь их запачкать, именно те, кого они вчера спасли. В суровой отповеди Тютчев заметил: «Если вы встретите ветерана наполеоновской армии... спросите, кто из противников, с которыми он воевал на полях Европы, был наиболее достоин уважения... можно поставить десять против одного, что наполеоновский ветеран назовет вам русского солдата. Пройдитесь по департаментам Франции... и спросите жителей... какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, строжайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям... можно поставить сто против одного, что вам назовут русского солдата».

Откуда пришли в Афганистан наши воины-интернационалисты? Большинство их надели мундиры почти сразу после школы — они живо помнили еще учителей и класс. Все они, поразившие мир мужеством, воспитаны нашей столько раз руганной школой, все они — недавние ее ученики. При всех неурядицах семья и школа сумели сохранить и передать детям огонь старинного подвижничества. Сейчас над нашей школой нависла страшная опасность, которую она уже пережила в двадцатых годах, когда подверглась разрушительной волне экспериментов, а дети стали объектом непродуманных «открытий», анархии и выборов учителей. Ни одна страна в мире столько не экспериментировала за последние 50 лет, как Соединенные Штаты. Когда «новаторы» до основания расшатали американскую систему просвещения, там остановили энтузиастов и пришли к честному и мужественному выводу: ни один эксперимент не удался и старая гимназия с суровой дисциплиной и почитанием старших остается недосягаемым идеалом в педагогике. Пушкин и все русские интеллигенты прошли именно эту школу.

Битву при Седане в 1870 году, по словам Бисмарка, выиграл немецкий школьный учитель. Битва, изменившая судьбу Германии и карту Европы... Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона — закрытого учебного заведения, где готовят капитанов английской политики, государственности и хозяйства. Мы можем прямо заявить, что битву за Сталинград мы выиграли благодаря тому, что в 20-х годах решительно изжили «новаторский» зуд в школе. Эксперименты с выборами учителей расшатали школу и разрушили до основания народное просвещение, которое было признано лучшим в мире.

Мы не вошли бы в Берлин, если бы дети занимались только «производительным трудом», а не арифметикой и историей. «Воспитывать — значит решать судьбу, — говорил Белинский, — но не только судьбу одного человека, но и державы в целом». Нужны ли свежие веяния? Да! Ибо не развивается только мертвый язык. Могут ли дети выбирать учителя? Это гибель школы, и, как мы заметили по Ватерлоо, Седану и Сталинграду, не только школы.

Только общество офицеров способно еще судить здраво о достоинстве того или иного своего члена, как это было в старой русской армии. Выбирать или служить? Митинговать или учиться? Безделье или труд? Ни в армии, ни в школе третьего не дано, ибо благородство начинается с добровольного повиновения — это первые ступени к служению труду и подвигу.

Учитель, утверждал Ф. М. Достоевский, вырабатывается веками народной жизни. Офицер есть абсолютный эталон педагога, который не только рассказывает, но и показывает, часто ценой жизни. Офицер есть высший тип учителя, и он вырабатывается веками служением, умом и народными переживаниями. Разговоры о выборности учителей и офицеров должны быть нетерпимыми, как пропаганда социальной порнографии, ибо когда речь идет о защите детства и Отечества, то дряблая либеральность есть потакание разложению. Дети должны учиться труду только пытливому и творческому через ремесла и созидание. Детские предприятия и детский «хозрасчет» — одного порядка с детской онкологией. Труду детей не учат у конвейера. Имеет ли это отношение к армии? Да. Ничто на свете не имеет более прямого отношения к армии, чем школа. Ибо из нее приходят в армию, как бы из одной школы в другую. Если в начальных классах не упоминается, по «методике» Кабалевского, Глинка и главенствует «методика» Неменского: учить не творить образ, а разрушать его, если в той же начальной школе Михалкова и Маршака гораздо больше, чем Пушкина, Ломоносова, а Державина и Жуковского не найдешь, то будьте уверены: «судьбу решают» не в интересах народа и державы и грязь неуставных отношений неизбежна. В подростковом возрасте школьника поджидает разрушительный и чужой вой рока, а в пору мужания — свидания с «маленькой Верой». Прибавьте к этому «дефицит» и «импорт», и набор почти готов — теперь можно выбирать офицера в роте или преподавателя в вузе.

Когда-то интерес русского образованного общества к педагогике был вызван статьями Н. И. Пирогова — создателя военно-полевой хирургии — в «Морском сборнике». «Лучшие наставники страны» тогда трудились в армии, обучая военную молодежь. Неоценимы заслуги военных учителей в подъеме просвещения в России. Не пришла ли пора армии и флоту вновь повернуться лицом к школе не для «милитаризации» ее, не для шагистики, а для привнесения в школу того, на чем зиждутся вооруженные силы, — здоровья, ибо духовная и физическая закалка солдата осуществляется в школе. Какая сегодня школа, такими завтра будут армия и общество. Школа не должна быть площадкой для рефлексий и экспериментов над детьми. Призвание школы — готовить к жизни, к будням, к служению и труду. В ученье должно быть трудно, чтобы было легко в жизни. Должно быть трудно, но справедливо. Школа не может быть революционной ни в каком обществе. Школа консервативна в благороднейшем

смысле слова, ибо аккумулирует в себе лучшее, что создает народ. Общество, охраняя школу, защищает детство от тех, кто уже не раз пытался одним махом всех осчастливить.

Во всех мемуарах 1812 года вы никогда не встретите выражений вроде «защитим наших матерей», хотя многие стояли под картечью при Бородине в 15—16 лет. Они говорили: «Защитим покой отцов». Мать еще святыня, не произносимая публично, не выговариваемая. «Защитим отцов», а отец сам знает, как заслонить маму, — это его жребий и долг. Когда о матери ни слова даже в минуту опасности, это указывает на еще больший запас духовной прочности, говорит о могучих резервах, о нравственной силе. Мать вскормившая — это последний резерв мужчины. Теперь, когда юноша ни в школе не видит мужчины, ни часто в семье, почти никогда, например в песне «афганцев», не услышишь обращения к отцу. Да разве только у «афганцев»?

Не начать ли нам по крупицам, не спеша, не давая клятв, молча, собранно и честно снова собирать и созидать семью, как единственную нашу надежду? А в семье вернуть на «мостик» отца. Без семьи нет державы и нет порядка. «На небе, — говорим, — бог, а в море — капитан». Добавим: а в семье — отец. Без отца нет семьи, как нет бригады без бригадира, артели без вожака, корабля без капитана, части без командира, дома без хозяина, а государства — без главы. А без уважения к отцу не будет послушания командиру, почтения перед начальником, уважения к главе государства.

Завет матери — живи. Она дала жизнь. Потому мать всегда простит. В тюрьме, в плену, в беде, в походе — но живи!

Завет отца — отчет, как живешь. Помните полковника Тараса Бульбу? Отцовское начало прежде всего нравственное. В этом единстве любви и долга и заключена сокровенная тайна семьи и сила общества.

Гете сказал как-то: чтобы человек был просто порядочным в жизни, он должен быть героичным в мыслях. Вот мысль, полная народной правды. Из нее одной можно развить целую доктрину воспитания и заложить ее в основу общенародной концепции воспитания. Коли есть военная доктрина у государства, то не может не быть ее и в формировании личности, раз уж время вновь сделало средоточием наших первейших забот кадры, которые, впрочем, всегда решали все. Почему Гете сказал «быть героичным в мыслях»? Да потому, что стоит человеку быть только порядочным в мыслях, как он не выдержит искусов житейских, где-то умолчит, уклонится, усыпит свою совесть, даст уговорить, скользнет. Чтобы сохранить героичность в мыслях, надо иметь перед взором образ, тот идеал, без которого выстоять не дано никому. Потому-то образа и украшали красные углы теремов и изб. Мне этот образ видится всегда в длиннополой русской шинели. Этот битвенный наряд мы пронесли через смутные и героические века нашей истории. От «иноческой простоты», как сказал бы Пушкин, и беззаветности этих воинов-подвижников идет к нам спасительная передача верности и света.

Лермонтов когда-то назвал кавказскую черкеску лучшим в мире боевым нарядом для мужчин. К горной черкеске как одежде-символу можно теперь смело причислить еще русскую офицерскую шинель. Она совершенна по форме, силуэту и покрою, а главное, что бывает в истории редко, она стала после Бородина и Сталинграда национальна. Ее древний силуэт художник различит на фресках старинного письма. Даже если сейчас все беспокойные дизайнеры мира засядут за работу, они не смогут создать одежду совершеннее и благороднее, чем русская шинель. «Не хватит на то, — как сказал бы Тарас Бульба, — мышиной их натуры». Ибо это одеяние русского боевого товарищества, которое сплотило в войне с фашизмом в братском боевом союзе татар и грузин, латышей и туркмен...

Отчего так любим молодежью самый суровый вид Вооруженных Сил? Тяга юношества в училища — великий социальный и нравственный показатель верности народа родной армии, оставшейся верной тысячелетней традиции — быть основой отечественной государственности и национальной школой патриотов. Не случайно ведь сегодня в стране нет ни одного учебного заведения, которое было бы более популярно у молодежи, чем Рязанское воздушно-десантное училище. По количеству претендентов на место оно давно оставило позади все университеты и театральные институты. Не попавшие туда юноши живут по углам, а то и по землянкам в лесу в надежде, что откроется вакансия и их призовут. Мальчики знают, что израненный в Афганистане поэт, сказав: «Ты прости нас, Великая Русь, мы чисты перед нашим народом», — выразил самую спасительную во все времена на Руси правду о подвижнической чистоте воинства в длиннополых шинелях с золотым мерцанием на погонах.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ СОВЕТСКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЮГОСЛАВСКОЙ ПЕЧАТИ ДВЕ СТАТЬИ ИЗВЕСТНОГО ИСТОРИКА НИКОЛЫ Б. ПОПОВИЧА

НИКОЛА Б. ПОПОВИЧ

ВОЗРОЖДЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ РУССКОЙ НАЦИИ

КАК СПАСТИ РОССИЮ?

Не является ли парадоксальным тот факт, что после 70-летнего развития государственной и национальной жизни в рамках Советского Союза отмечается возрождение и обновление самосознания великой русской нации?

Перестройка, гласность создали условия для пересмотра прежних решений и практики в сфере межнациональных отношений, функционирования многонационального федеративного государства, его компетенций, а также пересмотра проблем, вызванных открытыми национальными, националистическими и сепаратистскими тенденциями и требованиями изменений внутренних границ Советского государства. Обсуждение национального вопроса происходит не только в рамках республиканских, союзных, государственных и партийных руководящих структур, но и в кругах интеллигенции. Причем вес общественного мнения велик как никогда.

Национальный вопрос не является единственной проблемой общества, его нельзя рассматривать изолированно от других общественных, хозяйственных, культурных и духовных сторон жизни одной нации, так же как и других наций. Ведь ни одна нация не существует сама по себе, и естественно встает вопрос о сосуществовании наций. И как ни одну общественную проблему невозможно рассматривать только в сиюминутном измерении, так и положение и жизнь нации (наций) неизбежно изучается через прошлое; хочется понять, как это «тогда» понималось, создавалось, развивалось и к чему, как сейчас видим, привело.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕ ИСЧЕЗАЮТ

Естественно, что и марксистское понимание нации не осталось нетронутым. Так, известный русский писатель В. И. Белов, депутат Верховного Совета, на его заседании 3 августа 1989 года выразил сомнение по поводу марксистского (идеологического) тезиса о слиянии и исчезновении наций. Национальные особенности, заявил он, в языке, музыке, одежде и вообще жизни не исчезли, и он надеется, никогда не исчезнут. История показывает, что люди не хотят быть людьми «вообще», они хотят быть эстонцами, немцами, французами, казахами.

Возможно ли решить национальный вопрос раз и навсегда?

Думаю, что нет, из-за простой причины, что другие, кто будет жить после нас, будущие поколения, будущая жизнь всегда будет ставить перед собой вопрос, почему и как они оказались в положении, в котором они в данный момент находятся. Они будут стремиться и собственное, как личное, и положение нации в целом изменить в направлении, которое, по их мнению, является лучшим. Поскольку человеческий труд и интерес не законсервированы и раз и навсегда не очерчены, так и жизнь нации и не умерщвлена и не остановлена, и не организована идеально.

В каком положении русские (то есть русская нация сегодня) — вопрос, который русские интеллигенты ставят, анализируют и одновременно дают негативный ответ.

Никола Б. ПОПОВИЧ родился в 1939 году. Окончил историческое отделение философского факультета Белградского университета. В настоящее время научный советник Института современной истории в Белграде, с 1982 года — заместитель ответственного редактора издания собрания сочинений И. Б. Тито. Доктор исторических наук, профессор. Автор многочисленных трудов по истории русско-сербских и советско-югославских отношений, в частности недавно опубликованной монографии «Югославско-советские отношения во второй мировой войне» (Белград, 1988).

Они исходят из социальной структуры советского общества. Кто богатый, а кто бедный?

Согласно одному исследованию, социально имущественная пирамида в Советском Союзе выглядит так: богатые — 2,3% (из них только 0,7% имеют законные источники доходов), средний слой составляет 11,2%, бедные — 86,5% населения. Если попытаться установить, кто составляет эти слои по профессиональному признаку, легко отгадать преобладающую национальную структуру определенного слоя. Весьма показательно, что русские интеллигенты утверждают: 2/3 рабочего класса СССР составляют русские, и они-то и являются тем самым бедным слоем.

РОССИЯ МОЖЕТ ПРОЖИТЬ И САМА

Говоря о современном положении русской нации и Российской республики, русские интеллигенты спрашивают — до каких пор Россия будет кормить другие республики, а те, в свою очередь, обвинять русских во всех собственных и общих неудачах.

Это дало повод знаменитому русскому писателю Валентину Распутину с трибуны Верховного Совета сказать, что Россия может прожить и сама, а кто хочет уйти, тот пусть уходит. На критику в адрес Советской Армии говорится, что тот, кто не любит свою армию, тот будет кормить чужую.

Русская национальная мысль длительное время была под запретом. Но и сегодня она опирается на великих предшественников от Герцена до Бердяева и вновь повторяет, что на русскую почву нельзя переносить западный опыт. Распутин оценивает как большую опасность так называемый левый радикализм, который проповедует реставрацию капитализма, поскольку он не учитывает особенностей России, русского народа. Центральный вопрос для Распутина (его выступление на литературном вечере 25 октября 1989 года, организованном редакцией журнала «Наш современник») заключается в том, как спасти Россию, как обновить и укрепить самосознание русских людей. На этом же вечере поэт Владимир Солоухин напомнил, что на Западе боятся русского самосознания, хотят уничтожить русскую национальную гордость и насадить русофобию. То, что подобное мнение разделяется многими, нашло подтверждение в ходе упомянутого вечера, когда около 5 тысяч присутствующих (а билеты были дорогие) аплодисментами одобрения встречали выступления ораторов, а по окончании преподнесли им охапки цветов.

Когда говорится о современном положении русских, упоминается и спланированное уничтожение русского национального самосознания, погромы русского народа (в Кронштадте, Ярославле, Тамбовской губернии я Крыму), национальных культурных и духовных ценностей. В. Солоухин приводит данные о том, что было уничтожено 92 процента православных церквей (из них в Москве — 380), что могила прославленного генерала Багратиона разрушена, древние названия городов заменены на новые и т. д. Указывая на эти печальные факты политики, истреблявшей дух русского народа, представители русской интеллигенции требуют всестороннего изучения истории великой России, образования национальной русской организации, возврата городам их старых названий, возрождения церквей и храмов, возвращения Солженицына и др.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Известный русский оперный певец Борис Штоколов на своем сольном концерте в Москве 16 октября 1989 года рассказывал, как от своих коллег из-за рубежа он получал тексты и ноты православных духовных сочинений, как ему разрешили исполнять все песни, кроме царского гимна «Боже, царя храни». Наверное, знакомство со старыми русскими православными песнопениями стало для Штоколова неожиданностью, но одновременно и доказательством того, что русская музыка существовала и до Глинки. На том концерте Штоколов выразил готовность выступить с концертом, средства от которого пошли бы на возрождение храма Христа Спасителя в Москве. (Фильм о взрыве храма советские и югославские зрители могли посмотреть на телеэкранах в прошлом году.) Кроме того, в разных местах Москвы можно увидеть плакаты, призывающие народ к сбору средств для возрождения храма Христа Спасителя.

Насколько восстановление русского национального (но не националистическо-шовинистического) сознания волнует русских писателей и других представителей интеллигенции, свидетельствуют их художественные и духовные произведения.

Усилия русских интеллигентов в целях возрождения русской нации не остались на уровне голой риторики и постановки проблем перед общественностью, но и нашли воплощение в определенных организационных формах. Среди ряда объединений стоит выделить прежде всего «Товарищество русских художников» (Ю. Бондарев, М. Алексеев, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин и др.), тремя главными целями которого являются: национальное возрождение, социальная правда и экология.

И, наконец, национальный вопрос был в повестке дня Пленума ЦК КПСС, состоявшегося 19—20 сентября 1989 года. В принятой «платформе» есть и такое положение: «В рамках перестройки советской федерации следует решить **проблемы правового статуса** (выделено автором) РСФСР (Российской республики). До сих пор осуществление ряда управленческих функций в этой республике было возложено на общесоюзные органы, что негативным образом отражалось на интересах и самой республики, и Союза, а зачастую приводило к путанице в задачах, затягиванию в решении назревших проблем. Целесообразно изучить вопрос о создании в РСФСР дополнительных органов республиканского управления, включая административные, хозяйственные, идеологические, культурные, научные и др.».

Когда обо всем этом думаешь, а особенно когда поговоришь с русскими интеллигентами, неизбежно возникают параллели о положении сербского и русского народов, об искоренении национального сознания, истории, традиций, уничтожении культурно-исторических, религиозных памятников и сооружений и др. Почему так происходит? Ответ, вероятно, следовало бы искать в том, что и советская и югославская федерации построены на основе одной политической доктрины, одной политической философии и концепции. Отсюда и одни и те же болезни.

Газета «Политика» (6.01.90).

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА УСИЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Советская внешняя политика в годы второй мировой войны представляла собой многоплановое явление. Ее составными частями были отношения с союзниками в рамках антигитлеровской коалиции, отношения с соседними европейскими государствами, а также со славянскими странами. Все они были подчинены главной военной цели — победе над силами фашистской оси. Наряду с политикой, подчиненной военным целям, Советское правительство не упускало из виду и долговременные государственные интересы. Коминтерн и идея славянской солидарности были лишь рычагом и компонентом советской внешней политики.

В годы второй мировой войны произошли изменения во внутренней политике Советского Союза. В условиях навязанной войны многое изменилось во всех странах, втянутых в конфликт, но советская государственная система и партийный аппарат сумели должным образом организовать советское общество и выиграть войну. Политика усиления русского патриотизма и национального самосознания началась еще в начале 30-х годов, одновременно с утверждением у власти в Германии нацистов. Очевидно, что этот новый курс был обусловлен не чем иным, как выводом об опасности агрессии против СССР. И ориентация VII конгресса Коминтерна (1935 г.) на развертывание антифашистской борьбы основывалась именно на такой оценке политической ситуации в Европе. В первые месяцы войны, самые тяжелые для Советского Союза, особенно во время московской битвы (ноябрь—декабрь 1941 г.), советская внутренняя политика полностью развивалась в русле русской национальной традиции, русского патриотизма. Во главу угла были поставлены универсальные человеческие и национальные ценности, защита которых оправдывала все усилия и жертвы, связанные с войной.

Историки не располагают документами советских, государственных и партийных архивов, на основе которых возможно всестороннее изучение этой темы. Но и не располагая этими документами, мы знаем о проявлениях нового национального курса советской политики. Они получили отражение в советской периодической печати того времени, что дает возможность проследить возникновение, развитие и цель политики русского патриотизма и национального самосознания.

Любая война, особенно в странах—жертвах агрессии, вызывает волну патриотических чувств, и задача организованных государственных сил общества органически включить их в мораль и боеспособность своей армии. Нацистская Германия своей расовой теорией угрожала самому существованию славянских народов. В сознании славян господствовала идея отпора Германии, а все правительства славянских государств, независимо от своей идеологии, стремились избежать войны. Советское правительство попыталось достичь этого заключением пакта о ненападении с Германией в августе 1939 г., чехословацкое правительство в интересах мира приняло Мюнхенское соглашение (1938 г.) и даже пожертвовало частью своей государственной территории, а югославское правительство после огромных сомнений присоединилось к Тройственному пакту (март 1941 г.). Правительства Чехословакии, Польши и Югославии не отдавали себе отчет в том, что, что бы они ни делали, какую бы политику ни проводили, они не могут избежать злой судьбы жертв агрессии или насильственного вовлечения в хозяйственный и военный потенциал сил оси. Во втором случае они бы сохраняли лишь видимость самостоятельности.

Война, которая шла в 1940 г. в Западной Европе, постоянно ставила перед русским человеком вопрос о ее исходе. Тогда еще был памятен пакт Риббентропа—Молотова, а советские люди думали об успехе миролюбивой политики своего правительства. Сталин отдал распоряжение советским пограничным войскам на западе СССР не допускать каких-либо инцидентов. Более того, не обращалось внимания на нарушение советского воздушного пространства. И пока таким образом сохранялся мир, Советское государство готовилось к войне, а подготовка включала и морально-политический аспект.

Начало прослеживается в сфере исторической науки, литературе и искусстве. Идея защиты отечества была красной нитью, объединявшей исторические работы С. Бородина («Дмитрий Донской»), С. Сергеева-Ценского («Севастопольская страда»), В. Соловьева («Фельдмаршал Кутузов»). В литературе подчеркивались патриотизм и нравственные качества русского народа. Достаточно вспомнить произведения М. Шо-

лохова («Тихий Дон»), А. Толстого («Хождение по мукам»), А. Фадеева («Разгром»), В. Катаева («Я сын русского народа»), Вс. Иванова («Пархоменко»)[1].

История русского народа стала источником вдохновения для создания ряда фильмов, в которых было много примеров самоотверженного служения отечеству. Уже ставшие классическими фильмы «Александр Невский» С. Эйзенштейна, «Петр Первый» В. Петрова и «Суворов» В. Пудовкина заставляли задуматься, вызывали ассоциации. Германия характеризуется как исторический неприятель русского народа, а фильм Эйзенштейна, подчеркнуто антигерманский, получил в марте 1941 года Сталинскую премию[2].

Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года в речах советских государственных деятелей было сразу же охарактеризовано как «вероломное», и эта оценка и по сей день существует в советской историографии. Эта оценка, невзирая на идеологическую природу нацистской Германии и характер самого А. Гитлера, подчеркивает тот факт, что Германия нарушила слово и предательски вероломно напала на СССР. Те, кто подчеркивал вероломность, хорошо знали чувства русского народа, его психологию и военное прошлое: русские всегда самоотверженно боролись против агрессоров, за национальное существование, за матушку Россию. Агрессия мобилизовывала и объединяла людей, а всем было ясно, что Родина опять в опасности.

Обращение к истории отчетливо видно в речи Молотова 22 июня, в которой он напомнил о судьбе Наполеона в России в 1812 году[3]. Новую войну совсем не метафорически Молотов назвал отечественной точно так же, как войну 1812 года. В этом деидеологизированном, традиционном названии недвусмысленно дана характеристика начавшейся войны. Эхо история прозвучало и в речи Сталина 3 июля, когда он напомнил о судьбе Наполеона в 1812 году и Вильгельма в 1918 году. Напоминание о сокрушительном поражении Наполеона не было простым риторическим приемом, рассчитанным на моральный эффект; отступлению перед превосходящими германскими силами в речи Сталина придавался вид сознательного, тактического отхода, заманивания неприятеля в глубь страны, точно так же, как это когда-то сделал Кутузов. Часть речи Сталина представляет собой настоящую инструкцию по ведению войны. «Сталин еще никогда так не говорил, но эти слова полностью отвечали атмосфере тех дней», — напишет один очевидец того времени»[4].

После выступлений Сталина и Молотова в газетах и журналах появились статьи, в которых описывались войны 1812 и 1918 годов. Так, «Военная мысль» (№№ 6—7, 1941 г.) опубликовала статью под заголовком «Великая отечественная война советского народа», в которой говорилось, что «началась действительно отечественная, всенародная великая и священная война против фашистских захватчиков — за отечество, за честь и свободу». В следующем номере этого же журнала появились две статьи о войне 1812 года и две о первой мировой войне. Главный вывод этих статей: народы нашего отечества никогда не были рабами чужестранных насильников и никогда ими не будут. Гитлер забыл уроки истории. Доказательством этого вывода служила и выставка «Отечественная война 1812 года», которая была организована в Историческом музее Москвы сразу после нападения Германии. Газета «Труд», сообщая о выставке, подчеркивала, что ее экспонаты говорят «о героическом прошлом великого русского народа», а посетители покидают выставку с твердым убеждением, что судьбы Наполеона не избежать и германским вождям[5]. В том же духе писал и журнал «Пропагандист Красной Армии» (№№ 13, 14, 1941 г.): «Верный своим вековым традициям, русский народ, плечом к плечу со всеми народами СССР, организовал сильное народное ополчение, которое помогает героической Красной Армии».

Наряду со статьями о победе над Наполеоном частой темой в прессе было описание Брусиловского прорыва 1916 года, победы над немецкими захватчиками на Украине, под Псковом и Нарвой в 1918 году.

В первые месяцы войны помимо статей о славянской взаимности с призывами к объединению всех славянских народов против фашизма, что составляло особый компонент советской политики, еще развернулась журналистская и публицистическая кампания, охватывающая более широкий круг проблем русской истории. В первое время явно доминировала тема Отечественной войны 1812 года, может быть, и потому, что она во многом напоминала действительность — было время немецкого наступления. В эти первые военные месяцы вышла в свет книга «Полководец Кутузов» и рецензия на нее в газете «Труд» (5.09.1941) под заголовком «Книга о героизме русской армии». Одновременно в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина была открыта выставка об этапах русской героической истории, начиная с X века, с особым разделом о войне 1812 года[6]. В дни, когда было очевидно, что предстоит невиданное сражение за Москву, «Правда» (24.10.1941) опубликовала статью «Защита Москвы». Автор ее, генерал-лейтенант П. А. Артемьев, напоминал, что в 1812 году Наполеон потерял артиллерию, обозы, а главное — боевой дух своей армии. Оборона и защита Москвы, писал генерал, будет беспощадной и гибельной для неприятеля.

В первые дни ноября 1941 года немцы приблизились к Москве на расстояние 30—40 километров. Из города были эвакуированы все народные комиссариаты и другие государственные учреждения, дипломатический корпус. Москвой овладела

[1] Комков Г. Д. Патриотическое воспитание советских людей в предвоенные годы (1938—1941). История СССР. М., 1980, с. 14.
[2] Werth A. Rusija u ratu 1941—1945. Rijeka, 1979, 1, s. 107.
[3] «Комсомольская правда», 24.06.1941 г.
[4] Werth A. Op. cit. s. 138.
[5] «Труд», 26.06.1941 г.
[6] «Труд», 11.09.1941 г.

атмосфера осажденного города. В этой обстановке проходило чествование 24-й годовщины Октябрьской революции. 6 ноября на митинге, состоявшемся на станции метро «Маяковская», выступил с речью Сталин. По мнению одного очевидца, эта речь была причудливой смесью мрачной подавленности и поразительной самоуверенности[7]. Сталин охарактеризовал нацистов как самых опасных империалистов, которые хотят поработить славянские народы, а затем сыграл на гордости русских: «И эти люди, без чести и совести, с моралью животных, имеют дерзость желать истребления великой русской нации — нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Глинки и Чайковского, Сеченова и Павлова, Суворова и Кутузова». На другой день Сталин стоял на Мавзолее Ленина на Красной площади и говорил перед солдатами с фронта или отправляющимися на фронт. Эта речь завершалась словами: «Пусть вас в этой войне вдохновляют героические образы наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова». Впервые Сталин воскресил тени прошлого, которые революция покрыла презрением и навсегда изгнала[8]. Обращение к великанам русской истории было апелляцией к русской национальной гордости. Эта речь имела огромный эффект, хотя, может быть, и вызвала тайное беспокойство у некоторых ортодоксальных марксистов. Очевидно, что обращение к великанам русской истории служило делу общенародного объединения против врага, который угрожал стереть с лица земли и прошлую Россию и настоящую. Перед этой угрозой все идеологические и какие-либо другие различия отбрасывались, так как этого требовала задача общенационального спасения. Отсюда проистекали и призывы Сталина ко всем славянам объединиться против своих исконных врагов—германцев, а югославским коммунистам объединиться со всеми антифашистами—патриотами своей страны. Таким образом, в ноябре 1941 года Сталин отставил идеологию в сторону, так же как и Черчилль, ярый антикоммунист, когда в июне 1941 года протянул руку Сталину.

Речи Сталина 6 и 7 ноября 1941 года были сигналом для журналистской и публицистической кампании, направленной на усиление русской национальной гордости. «Правда» (25.11.1941) опубликовала статью «Наши предки Минин и Пожарский», в которой сначала говорится о речи Сталина 7 ноября, а затем отмечается, что ровно 329 лет назад Минин и Пожарский освободили Московский Кремль, и враг сложил к их ногам свои знамена. В конце статьи говорится, что Минин и Пожарский — светлые примеры патриотов, которые мужественно, самоотверженно, с честью исполнили свой долг перед отчизной, когда ей угрожала смертельная опасность.

«Александр Невский» — заглавие большой статьи, в которой описывается его победа над немцами в апреле 1242 года. Автор статьи, характеризуя князя, цитирует древнерусского летописца: «Князь Александр умел побеждать, а сам был непобедим. Он много сделал для Новгорода и Пскова и за всю землю русскую жизнь отдал»[9].

Новый компонент сталинской политики, рассчитанный на усиление русской национальной гордости и морали с помощью воскрешения традиций, нашел свое отражение и в объемной статье Ем. Ярославского с красноречивым заглавием: «Большевики — продолжатели светлых патриотических традиций русского народа». Статья начинается с напоминания о «Слове о полку Игореве», о татарских набегах хана Батыя на русскую землю в 1238 году, а затем переходит к германскому нападению, цитируются речи Сталина в связи с 24-й годовщиной Октябрьской революции. В этой статье ярко выражена тенденция представить большевиков достойными последователями защитников свободы русского народа и сторонниками сохранения его традиций[10]. Этой идее посвящена и статья «Великая мощь советского патриотизма», в которой, опираясь на труды Ленина, автор дает определение отечества и отношения к нему пролетариата. Отечество, по Ленину, пишет автор статьи М. Митин, — это определенная политическая, культурная и социальная среда, которая является самым сильным фактором в классовой борьбе пролетариата, и он не может относиться равнодушно к политическим, социальным и культурным условиям своей борьбы и соответственно не может быть равнодушным к судьбе своей страны. Ленин никогда, подчеркивает Митин, не относился нигилистически к национальному чувству народа, к чувству национальной гордости. Используя авторитет Ленина, автор пишет об указаниях Ленина, что русские большевики полны чувства национальной гордости, потому что великорусская нация создала революционный класс, то есть доказала, что она способна дать человечеству великий пример борьбы за свободу, за социализм[11].

Широко было отмечено 700-летие победы новгородского князя А. Невского на льду Чудского озера в 1242 году. 5 апреля «Правда» опубликовала передовицу «К 700-летию ледового побоища», а «Комсомольская правда» в тот же день посвятила описанию этой русской победы целую страницу. «Труд» также опубликовал на эту тему большую статью «Славные традиции русского оружия», в которой говорилось, что славные традиции А. Невского и его воинов с гордостью продолжают бойцы Красной Армии в эти исторические дни борьбы против немецких фашистов.

В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года об учреждении орденов Суворова, Кутузова и Невского в прессе появилась целая серия статей о русских военачальниках.

Иностранные наблюдатели, и прежде всего британские, внимательно следили за новым, патриотическим курсом советской по-

[7] Werth A. Op. cit. s. 194.
[8] Там же. s. 198.
[9] «Правда», 24.12.1941 г.
[10] «Правда», 27.12.1941 г.
[11] «Правда», 1.02.1942 г.

литики. Они видели, что обращения Сталина к солдатам «не идеологические, а патриотические», а «русские солдаты борются не за революцию, а за Россию», что «они не представляют себя гражданами некой мировой коммунистической державы, а гражданами любимой отчизны». Одним из доказательств таких выводов служило то, что «новые военные ордена России названы именами исторических русских героев, а не героев революции. Эти награды наряду с орденом Ленина вручаются за исключительные заслуги» [12].

Учреждение орденов было хорошим поводом призвать общественность, и прежде всего военных, последовать примеру пламенных патриотов Суворова, Кутузова, Невского.

После первых статей по поводу учреждения орденов появились фундаментальные работы известных советских историков. Так, Е. В. Тарле писал о Суворове, а М. В. Нечкина о суворовских традициях в Красной Армии. В эти дни появилась книга «Суворов» К. Осипова, которую предписывалось прочитать каждому командиру Красной Армии, чтобы познакомиться с искусством великого полководца и применять его в борьбе против фашистских захватчиков [13].

Учреждение ордена Кутузова и 130-летие Бородинской битвы послужили новым толчком к освещению событий войны 1812 года. В Малом театре была поставлена драма по роману Толстого «Война и мир», которая была высоко оценена критикой [14].

Советская политика, направленная на пробуждение и усиление русской национальной гордости и патриотизма, проявление которой мы попытались осветить, стремилась к усилению морального духа армии и народа, которые, в свою очередь, видя преступления фашистов, ощутили, что государственная пропаганда совпадает с их собственными чувствами, наблюдениями, представлениями о фашистских оккупантах. «Немцы в городах и селах около Москвы, немцы в древних русских городах, таких, как Новгород, Псков, Смоленск, немцы в толстовской Ясной Поляне, в Орле, в тургеневском крае, самом русском из всех русских, — писал современник, — грабили, убивали, жгли. Россия не переживала ничего подобного со времен татарского нашествия. Гнев и ненависть к немцам, смешанные с чувством бескрайней жалости к русскому народу, к русской земле, на которую посягнул завоеватель, вызвали эмоциональную реакцию национальной гордости и оскорбленного самолюбия, которые чрезвычайно сильно отразились в литературе и музыке 1941 и первой половины 1942 г.» [15].

Ненависть к немецкому оккупанту становится составной частью сознания русского человека, а свое проявление она нашла в различных видах духовного творчества. Достаточно вспомнить статьи И. Эренбурга, повесть М. Шолохова «Школа ненависти», стихи К. Симонова, А. Суркова.

Говоря о советской политике усиления русского национального самосознания и гордости, ее последствиях и аффекте, необходимо вспомнить о военных битвах на советско-германском фронте в 1942 году. Не углубляясь в описание военных операций и статистику этих самых жестоких сражений в истории войн, необходимо обратить внимание на два основных факта. Первое: немцы вплоть до февраля 1943 года, до поражения в Сталинградской битве, находились в наступлении; и второе: СССР в ожидании открытия второго фронта вел битву один на один с силами фашистской оси. Гнев и ярость, патриотизм и национальная гордость русского человека были смешаны с ощущением изолированности, а это еще больше усиливало чувство его гордости. По словам А. Толстого, Россия чувствовала себя как «Атлант, который один держит небо над землей».

Результаты советской национально-патриотической политики проявились в высокой морали, самопожертвовании русских людей, будь то на фронте, на уральских заводах, в осажденном Ленинграде или в разоренных селах и городах. В соответствии с этой новой политикой советское руководство приняло несколько решений, касавшихся Красной Армии и Военно-Морского Флота, Коминтерна, Русской Православной Церкви и Государственного гимна. Все эти решения следует понимать как логическое следствие этой политики, а одновременно и ее выражение.

Президиум Верховного Совета СССР 9 октября 1942 года издал Указ об упразднении института политических комиссаров в Красной Армии, утвердилось единоначалие [16]. Таким образом упразднялся контроль комиссаров над командирами. В ноябре 1942 года в армии было отменено так называемое «социалистическое соревнование», и «Правда» писала, что солдат не имеет никаких других обязанностей, кроме как служить отечеству, как это делали его предки. В соответствии с дореволюционной традицией были сформированы «гвардейские» полки, а казакам возвращена прежняя слава. Советское правительство 22 августа 1943 года приняло решение об образовании суворовских военных училищ, а 21 июня 1944 года — нахимовских военно-морских училищ. В начале 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января армия и флот получили новую форму и новые офицерские знаки отличия, вернулись погоны, которые в 1917 году революционеры срывали у белых офицеров. После сталинградского триумфа, 6 марта 1943 года, Президиум Верховного Совета СССР присвоил Сталину звание Маршала Советского Союза, а 6 ноября наградил его орденом Суворова I степени.

Русская Православная Церковь после революции 1917 года испытывала притеснения со стороны новой власти, ее власть была подорвана. Когда началась война, Церковь, учитывая настроения верующих,

[12] Public Record office, Foreign office (PRO. FO). 371. 43305.
[13] «Правда». 2.08.1942 г.
[14] «Правда». 11.10.1942 г.
[15] Werth A. Op. cit. s. 213.
[16] Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938—1958). М., 1959, с. 322.

развернула широкую патриотическую работу, призывала всех верующих на защиту отечества, собирала средства для производства оружия, подарки для солдат, раненых, больных. Согласно одному источнику, около 12 тысяч верующих собрались в московском Соборном храме 25 июня 1941 года, чтобы помолиться за спасение отечества [17]. Но до нормализации отношений с Церковью было еще далеко. Только в начале сентября 1943 года состоялась встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, на которой, вероятно, обе стороны в принципиальном тоне вели речь о нормализации отношений. После этой встречи Церкви было разрешено избрать своего патриарха, Святой Синод, верховную церковную власть и возобновить издание «Журнала Московской патриархии», запрещенного в 1936 году. Кроме того, Церкви было разрешено открыть несколько богословских и теологических факультетов, а также получить статус «правового лица», которое имеет право владеть недвижимой собственностью [18]. С целью поддержания связей между Советским правительством и патриархом Московским и всея Руси был сформирован Совет по делам православной церкви при Совете Министров СССР.

Имелись как внутриполитические, так и внешнеполитические причины для изменения отношения советского руководства к Церкви. Новая политика усиления русского национального самосознания не могла продолжать игнорировать Церковь, поскольку решалась задача общенационального объединения. Британские аналитики сделали вывод, что Сталин просто-напросто признал Церковь как существующую реальность, которую не смог уничтожить. Тот факт, что Церковь в СССР имела большую поддержку среди населения, отметил посетивший Москву в октябре 1943 года архиепископ из Йорка [19]. Те же британские аналитики оценивали «советский конкордат» не как обычный жест, а как серьезный политический шаг, получивший позитивный отклик общественности США и Великобритании. Более того, «реабилитация» (часто употребляемое выражение в британских источниках) Русской Православной Церкви значительно ослабила антисоветскую пропаганду в этих странах, а с другой стороны, вызвала подозрения английских правящих кругов в связи с возможностью использования Церкви в международной политике, особенно на Балканском полуострове [20], где русские цари именно с помощью православия добивались серьезных успехов.

В мае 1943 года был распущен Коминтерн. Этот жест предназначался к Западу, так как был распущен «штаб мировой революции» и тем самым Советский Союз открыто показывал, что заинтересован в войне освободительной, а не идеологической.

Если СССР отказывался от Коминтерна и мировой революции, то логично было отказаться и от «Интернационала» как государственного гимна Советского Союза. Новый государственный гимн СССР «Союз нерушимый республик свободных» был утвержден решением Совета Народных Комиссаров в конце декабря 1943 года, а впервые прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года. В обосновании было сказано, что «Интернационал» «по своему содержанию не отражает глубоких изменений, которые произошли в нашей стране в результате победы советской системы, и не выражает социалистической сущности Советского государства». Январский Пленум ЦК ВКП(б) 1944 года одобрил это решение и постановил, что «Интернационал» будет гимном ВКП(б). Новый государственный гимн отличался сильным патриотическим звучанием:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народа
Единый, могучий Советский Союз!

В течение 1943 года в советской печати продолжается возвеличивание русской национальной гордости и патриотизма. Круг тем расширяется. 130-летие со дня смерти М. И. Кутузова было отмечено появлением новых публикаций о великом полководце. «Правда» (28.04.1943), опубликовав биографию Кутузова, писала, что в тяжелые дни борьбы за Москву солдаты услышали речи Сталина и их вдохновляют имена Кутузова, Суворова, Невского, Минина и других, сражавшихся за победу отчизны. В эти дни, писала газета, бородинский музей был превращен в больницу и здесь особым образом слились герои Бородинской битвы 1812 года с защитниками Москвы 1941 года. Бойцы были восхищены героизмом своих предков и по своей скромности не могли и подумать, что их победа над немцами в 1941 году приумножила славу русского оружия и эта слава через века будет звучать вечно. «Труд» (28.04.1943) по тому же поводу и в том же тоне писал: «...солдаты Кутузова развеяли миф о непобедимости наполеоновской армии, а Красная Армия на том же месте развеяла миф о непобедимости фашистских орд. Тот факт, что Бородинская битва и Кутузов занимают исключительное место в сознании русских людей, подчеркивала и известный историк М. В. Нечкина, напоминая, что Пушкин, Лермонтов и Толстой своими художественными произведениями увековечили Бородино, которое не только исключительный пример доблести и героизма русского народа, но и драгоценный источник его военного искусства». «Когда наших командиров награждают орденами Суворова и Кутузова, мы чувствуем, как прошлое переплетается с настоящим», — заключает Нечкина [21].

В начале октября 1943 года «Правда» сообщила и порекомендовала только что опубликованный сборник лекций видных историков В. Тарле, И. Минца, Н. Талейского, К. Базилевича, В. Бошкарева, К. Осипова под общим названием «Героическое прошлое русского народа», выпущенный Главным политическим управлением РККА.

[17] PRO, FO, 371, 43305.
[18] Werth A. Op. cit. s. 334.
[19] PRO, FO, 371, 43305.
[20] PRO, FO, 371, 43326.
[21] «Комсомольская правда», 7.09.1943 г.

О сборнике говорилось, что он призван удовлетворить значительно усилившийся интерес советских читателей к прошлому русского народа и будет полезен агитаторам и пропагандистам [22].

Бросается в глаза, что в популяризации русской истории и ее героев главное внимание уделялось военным победам и прославлению русских князей и полководцев. Видимо, в какой-то момент эта односторонность была подмечена, так как величие народа характеризуется не только его военной историей, но и достижениями в других областях человеческой деятельности, таким образом, с середины 1943 года в газетах появляются публикации о русских ученых и художниках. Поводом их появления, как правило, служили годовщины рождения или смерти. Так, в связи со столетием со дня рождения К. А. Тимирязева «Правда» (3.04.1943) и «Комсомольская правда» (3.04.1943) написали о нем не только как об ученом, но и как о великом сыне русского народа и пламенном патриоте. Статью в «Правде» написал В. Л. Комаров, глава Академии наук СССР, который закончил ее словами самого Тимирязева: «Я патриот: пламенно, инстинктивно и сознательно я люблю свою родину».

50-летию со дня смерти П. И. Чайковского были посвящены статьи «Русский гений», «Великий русский композитор». В последней о Чайковском говорилось, что он был пламенным патриотом, который радовался успехам своего народа и горевал вместе с ним. Его музыкальное творчество было служением России, народу, а сейчас на фронте отечественной войны его музыка ближе и дороже [23].

Таким же образом было отмечено 125-летие со дня смерти И. С. Тургенева, о котором писали, что он любил свою родину и народ преданной и сильной сыновней любовью. «Этот художник — гуманист, пламенный патриот, противник рабства, дикости и пруссачества — с нами», — говорится в заключение статьи [24].

Если статьями о великанах русской науки и искусства расширялась основа возвеличивания гения русского народа, что должно было еще больше воодушевить и укрепить дух общественности, то с учреждением ордена Богдана Хмельницкого, славного украинского гетмана, расширялась и народная основа. Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 октября 1943 года был учрежден орден Б. Хмельницкого (трех степеней) для награждения офицеров и солдат, которые отличились в борьбе за освобождение «советской земли от немецких захватчиков». В обосновании говорилось, что орден Хмельницкого учрежден как раз в дни, когда Красная Армия громит неприятеля на украинской земле, родине великого гетмана. О Хмельницком писали как о любимце всех советских народов, особенно украинского и русского, так как с ним неразрывно связана борьба украинского народа за объединение с русским народом.

Практика присваивать имена знаменитых русских военачальников новым орденам была продолжена и в 1944 году. Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 марта 1944 года были учреждены ордена Ф. Ушакова и П. Нахимова (двух степеней).

Наряду с публикацией статей в газетах и журналах с конца 1943 года появляются и брошюры. Их издание было возложено на издательство «Молодая гвардия», а серия получила название «Великие люди русского народа». До марта 1944 года вышло 10 наименований, а первые три были посвящены К. Тимирязеву, М. Павлову и Н. Жуковскому [25].

В области искусства большое внимание было уделено композитору Н. А. Римскому-Корсакову: 100-летию со дня его рождения был посвящен торжественный вечер в Большом театре. Сообщая о нем, газета «Труд» (19.03.1944) писала, что творчество Римского-Корсакова отразило его огромную любовь к своему народу и отечеству. Одновременно с торжествами в Большом театре в Московской консерватории состоялась премьера оратории Ю. Шапорина «Сказание о битве за русскую землю». Автор, как писала газета «Труд», с большим мастерством показал советский народ во время Отечественной войны и его высокий моральный дух, доблесть и непоколебимую волю к победе.

235-летие полтавской победы Петра Великого над шведами было широко отмечено советской общественностью: «Правда» (3.07.1944) опубликовала обширную историческую статью историка Е. Беркова, а «Комсомольская правда» (8.07.1944) писала, что полтавская битва — одна из блестящих побед на светлом пути, который прошел русский народ, борясь против чужестранных захватчиков за свою свободу и независимость отчизны.

Существенной особенностью всех этих публикаций было то, что, кому бы ни были посвящены статьи — полководцу, художнику, ученому, неизменно подчеркивалась его любовь к русскому народу и русской земле. Именно такие люди должны были служить примером русскому человеку. Фильмы «Кутузов» и «Иван Грозный» С. Эйзенштейна с непревзойденным Н. Черкасовым в главной роли несли свое политическое кредо: славили величие русского народа. Иностранные наблюдатели хорошо это видели и писали об этом; британский дипломат Д. Балфур отметил, что царь Иван Грозный показывается исключительно в позитивном плане, в то время как ранее царь и его опричники представлялись погрязшими в крови и терроре [26].

В конце 1944 года, когда Красная Армия, изгоняя неприятеля, вступила на территорию соседних государств, отмечается известный поворот в политике усиления русского национального самосознания и патриотизма. От этой политики не отказались, но появляются и первые критические нотки. Одновременно все больше внимания начинает уделяться национальным ценностям других народов Советского Союза. В журнале «Агитатор и пропагандист Красной Армии» (19—20 октября 1944) говорится, что патриотизм до советского периода исторически ограничен и только в советском государстве под руководством партии Ленина-Сталина патриотизм поднят на новую ступень и приобрел массовый, всенародный характер. В этом же журнале в последних номерах за 1944 год появилось несколько статей о боевых традициях и патриотизме татарского, узбекского и башкирского народов.

В конце победоносной войны Красной Армии стал заметен переход к политике общего признания. Поэтому логично вместо подчеркивания только русского патриотизма на первый план выходит советский патриотизм. Если речью Сталина 7 ноября 1941 года была открыта широкая дорога русскому патриотизму, то теперь именно он дал определение советскому патриотизму, после чего армии пропагандистов, журналистов и публицистов стало ясно, в каком направлении следует работать. В передовице «Правды» (17.11.1944) под заголовком «Сила советского патриотизма» цитировалось сталинское определение советского патриотизма и, в частности, говорилось, что сила советского патриотизма состоит в том, что в его основе не расовые или националистические предрассудки, а глубокая преданность и верность народу своей социалистической родины и братскому сотрудничеству тружеников всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общая жизнь и интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не разделяет, а, напротив, объединяет все нации и народности страны в единую, братскую семью.

П. Поспелов назвал это классическим определением сущности патриотизма, так как «оно раскрывает ту глубокую основу советского патриотизма, патриотизма высшего типа, который человечеству не был известен до эпохи Ленина-Сталина» [27]. Здесь же Поспелов открыто заявил, что советский патриотизм — дитя советского строя и советской идеологии, а Н. Тихонов указал, что советский патриотизм вырос из искренней любви народа к социалистическому отечеству, советскому строю и партии Ленина-Сталина [28]. Если русский патриотизм истолковывался и пропагандировался на основе истории, традиций и универсальных человеческих ценностей, то в установках советского патриотизма ясно ощущался идеологический тон.

Спустя 15 дней после окончания войны, 24 мая, Сталин выступил с речью на приеме в честь командиров Красной Армии, в которой он попытался согласовать русский патриотизм с советским патриотизмом. Он отдал дань признании советскому народу, и прежде всего русскому народу как самой выдающейся нации, которая входит в состав Советского Союза. Русский народ, сказал Сталин, получил в этой войне всеобщее признание как руководящая сила Советского Союза. Слова Сталина о том, что доверие русского народа Советскому правительству было той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом всего человечества — фашизмом, позволили Поспелову сделать вывод, что русский народ продемонстрировал непоколебимое доверие Советской власти в самые критичные моменты, в дни борьбы за Москву и Сталинград [29].

После признания Сталиным ведущей роли русского народа появились брошюры, в которых опять прославлялся русский народ [30]. В. Лебедев писал, что без помощи русского народа ни один народ, входящий в состав СССР, не смог бы сохранить свою свободу и независимость, а народы Украины, Белоруссии, Прибалтики и Молдавии не смогли бы освободиться от немецко-фашистского рабства [31]. А. М. Панкратова привела данные о том, что на 15 января 1946 года в Советской Армии было 10 511 удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, из которых 7 223 были русские [32].

Наряду с этими брошюрами появились брошюры и о советском патриотизме, в которых, безусловно под давлением политического оппортунизма и прагматизма, делались попытки нивелировать заслуги и вклад русских в победу всех народов СССР. Характерным примером тому является работа С. Колесниковой, которая утверждает, что в Отечественной войне 1941—1945 годов «ярко проявился патриотизм всех народов Советского Союза в их общей борьбе против немецко-фашистских захватчиков, советские люди всех национальностей самоотверженно боролись, защищая каждую пядь родной советской земли». Чтобы подтвердить это утверждение, она приводит национальный состав Героев Советского Союза Первого Украинского фронта: русских — 586, украинцев — 146, белорусов — 18, татар — 15, евреев — 11, мордва — 7, узбеков — 6, казахов — 6, грузин — 5, чувашей — 4, башкир — 2 [33].

Так, с окончанием войны, когда пушки умолкли и когда исчезла необходимость, была свернута пропаганда русской национальной гордости, величия и патриотизма как источника морали и самопожертвования. Советское политическое руководство отдало дань признания и поблагодарило русский народ за доверие к нему — советскому государственному и партийному аппарату — как организатору обороны и победы. Политический прагматизм и новая политическая обстановка ставили русский народ вровень с другими народами СССР, а также определяли советский патриотизм как интегральную силу, в которой сливался патриотизм отдельных народов.

Перевод О. Н. Решетниковой.

[22] «Правда», 4.10.1943 г.
[23] «Труд», 5.11.1943 г.
[24] «Труд», 11.11.1943 г.

[25] «Комсомольская правда», 9.03.1944 г.
[26] PRO. FO. 371, 47940.

[27] Pospelov P. Snaga sovjetskog patriotizma. Zagreb, 1946. s. 6.
[28] «Правда», 7.12.1944 г.

[29] Поспелов П. Там же, с. 49.
[30] Лебедев В. Великий русский народ выдающаяся нация. М., 1946; Панкратова А. Великий русский народ выдающаяся нация и руководящая сила Советского Союза. М., 1947.
[31] Лебедев В. Там же, с. 25.
[32] Панкратова А. Там же, с. 28.
[33] Колесникова С. Г. О советском патриотизме. М., 1947, с. 58.

КРИТИКА

НИКОЛАЙ ФЕДЬ

ПОСЛАНИЕ ДРУГУ, или ПИСЬМА О ЛИТЕРАТУРЕ

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать удел завидный,
Отрадно спать, отрадней камнем быть.
Микеланджело.

В своем последнем письме ты порицаешь меня за то, что в моих суждениях о литературе не хватает эстетического анализа и что недостаточно внимания уделяется в них соотношению конкретного художественного явления и действительности. Поэтому, говоришь ты, иногда невозможно понять, о чем идет речь — о поделке ремесленника с замашками кооператора-перекупщика или о произведении художника слова, которому каждая строка дается потрясением... Не дань ли это нравам критического цеха, изощренного в непостоянстве и лукавстве? Ведь забыли, что литература — это искусство слова, философия жизни. Оттого в настоящем искусстве, пишешь ты, действительность кажется нам ярче и богаче, чем на самом деле. Реальность, отраженная в искусстве,— особым способом сфокусированная жизнь; она как бы пропущена через ум и сердце художника, пронизана человеческой радостью, надеждой и страданием. Да, страданием, ибо никто не знает себя, пока не страдал. Может быть, этим и объясняется особый интерес к искусству и наше стремление найти в нем отражение частицы своего собственного бытия, одухотворенного эстетическим идеалом... Ты прав, конечно, друг мой. Но для этого художнику необходимо соблюдать, по крайней мере, два непременных условия: в совершенстве знать сложную, прихотливую природу человека и бесстрашно обнажать весь спектр драматизма жизненных противоречий — не удаляться от действительности, а стремиться приблизиться к ней. Проще говоря, быть мужественным в заявлении правды и истины.

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Для того чтобы судить о духовной и культурной жизни общества, необходимо иметь хотя бы общее представление о его экономическом, а равно державном положении. Что мы наблюдаем к концу 80-х — началу 90-х годов? Движение в сторону демократических свобод, поворот к правовым нормам жизни, рост общественного сознания. Но не только это. Одновременно с нарастающим экономическим кризисом и падением ряда социальных институтов, с идеологической неопределенностью и получили необычайное распространение коррупция, общественное неповиновение, национальные распри, бандитизм. Объявление чрезвычайного положения в ряде республик, забастовки, инфляция, дефицит, грабежи, убийства становятся обычными явлениями. И все это на фоне беспрецедентного разгула безответственности, воинственного дилетантизма и обыкновенного невежества. Разумеется, создавшаяся ситуация губительно сказывается на развитии науки и художественной культуры (литература, музыка, театр, кино), на нравах, вере, идеалах. Общество охватывает растерянность, нарастают пессимистические настроения. Отчаянные и отчаявшиеся, униженные и оскорбленные, надломленные и бунтующие... Не отсюда ли массовое увлечение всякого рода заговорными предметами, культовыми проповедями, телевизионной психотерапией.

Выступление в такое время на страницах «Литературной газеты» (3.01.1990) члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева не могло не привлечь внимания широкой общественности. Очень уж велико желание услышать из уст высокопоставленного лица объяснение создавшейся ситуации и слишком истосковались люди по честному, умному и ответственному слову, за которым должны последовать реальные действия. Статья А. Н. Яковлева выдержана в радужных тонах, хотя несколько иронична. Большой мыслитель и государственный деятель, наверное, так и должен вести себя, подумает читатель и станет внимательно изучать текст. И он будет тысячу раз прав, ибо поверхностное чтение — пустая трата времени. «Социальная температура поднялась до критической черты», — констатирует Александр Николаевич и, не медля, остужает слишком горячие головы: «Но сдается мне, что во всей этой *сумитице умов*, в круговерти событий, во *всплесках эмоций и амбиций* есть много и наносного, и *театрального. Просто изголодался человек по свободному слову, по этой* тропе надежды». (Здесь и далее разрядка моя. — Н. Ф.)

Хорошо сказано, ей-богу, хорошо — лучше и не скажешь. Но как все-таки объяснить причину происходящих забастовок либо нарастающее давление на всю нашу жизнь теневого бизнеса? Или провокационные выходки вконец потерявших голову «прорабов перестройки»? Неужто это всего лишь «круговерть событий», «всплеск эмоций», театральное действо? Неплохо было бы, если б это вкладывалось в формулу: нас «пугают с разных сторон», а мы не боимся. Но — увы! — этим дело не поправишь: в обществе растет тревога за судьбу Отечества. Как тут быть? «Не скрою, тревожит многое», — продолжает А. Н. Яковлев: «*Говорят*: развал экономики, государства, политических структур, идеалов, распад нравственности и прочее» Почему «говорят», разве это не так на самом деле? Но автор уже был во власти хорошо знакомой его единомышленникам иронии: «В этой *метели настроений* — простор коварству. Плавают на волнах аплодисментов ходоки «по делам трудового народа», которому надо и зарплату повысить, и цены снизить, другие блага дать, и хорошо бы бесплатно... Как все просто! И народу мил, и в святцы радетелей записан, и все проблемы по законам черной и белой магии решил».

Итак, воздав по заслугам тем, кто *говорит* о развале экономики, идеалов, политических структур и прочее, А. Н. Яковлев пишет о том, что тревожит *его* лично. Это — консерватизм, нетерпимость, равнодушие, безответственность и, наконец, злость и бескультурье. А еще: «не сорваться бы нам в пропасть эмоций, ослепления, националистической или иной (?) пугачевщины (!)». И призвав к «спокойной и рассудительной мудрости», которые позволят выдержать напор «антипотока», автор закончил признанием тяжести бремени, легшего на его плечи по причине «исцеления общественного организма», жаждой домашнего тепла и уюта: «тянет... к перу и ... внукам». Так предстал перед нашим мысленным взором государственный деятель, ученый и любящий дедушка.

После такого доверительного признания становится как-то неудобно, бестактно, некорректно выяснять, почему страна оказалась на краю пропасти. А может, в статье хотя бы намеком дается ответ на этот вопрос? Я решил еще раз прочитать статью и совершенно неожиданно для себя наткнулся на фразу, которой раньше или не понял, или просто не придал значения. А ведь в ней то философии, главная суть оценки современного состояния нашего общества, нашей жизни. Вот она: «Трудное, архитрудное, но *счастливое, неповторимо счастливое время*». Получается, вопреки всему надо считать, что мы живем в «неповторимо счастливое время», и вместо того чтобы радоваться, наслаждаться и прочее в этом роде, призываем к спасению Отечества, тоскуем и ужасаемся. Но, по всему видно, А. Н. Яковлев говорит вполне серьезно. Так что же происходит в действительности? Если верить нашему автору, то запестревшие в последние месяцы на страницах газет и журналов (нет, не «перестроечных»!) тревожные призывы: «Кризис назрел. Отечество в опасности!» — не более как происки злокозненного «антипотока»? Кто же прав?

Для выяснения истины нужны факты, цифры, живые свидетельства — и только они. Возьмем газеты, журналы, справочные пособия конца 1989 — начала 1990 годов. Вчитаемся в выступления, статьи, интервью рабочих, крупных государственных деятелей, депутатов, ученых, писателей. У всех нескрываемая тревога, боль, поиск выхода из тупика, в котором оказалась держава. Во всем этом нет пессимизма, однако очень далеко в до радостного возбуждения, а тем более ощущения счастья.

...Кризис в экономике продолжает углубляться, слышится со всех сторон. Осложняется криминогенная обстановка, о чем красноречиво свидетельствует статистика. За одиннадцать месяцев 1989 года выявлено 267 тысяч фактов спекуляции, незаконной продажи, перепродажи с рук, а это значительно больше, чем в 1988 году. Вместе с тем изъято и конфисковано предметов перепродажи и ценностей на 24 миллиона рублей. За нарушения правил торговли к уголовной и административной ответственности привлечено более 70 тысяч работников прилавка. Продолжает нарастать социальная напряженность. Акции прямого насилия над людьми, блокады, демонстрации и митинги протеста, забастовки стали чуть ли не ежедневным явлением. В 1988 году ежемесячно проходило 194 митинга. В 1989-м — уже 400. Только в период с февраля по ноябрь прошли забастовки на 1500 предприятий с участием 1,4 миллиона человек. Резко выросла уголовная преступность. Все больше проявлений различных форм беззакония. Если а предшествующее двадцатилетие ежегодный прирост преступности составлял не менее четырех процентов, то в 1988 году он превысил 28 процентов, с 395 до 654 преступлений увеличился коэффициент преступности в расчете на сто тысяч населения. В 1989 году ее прирост составил одну треть. Питательной средой организованной преступности стала теневая экономика, общий объем которой достигает астрономических сумм, непрерывно возрастающих. Опаснейшими проявлениями организованной преступности являются терроризм, так назы-

Продолжение. Начало в №№ 4—5 за 1989 год.

ваемые «заказные убийства» должностных лиц и граждан, занимающих активную жизненную позицию в борьбе с коррупцией. Прикрываясь Законом о кооперации, активизировали свои разбойничьи набеги на народное достояние всякого рода спекулянты, вымогатели и просто махинаторы. Как на дрожжах растут в определенных группах кооператоров сверхприбыли, извлекаемые путем эксплуатации наемного труда. Вот несколько примеров. Кооператив «Звезда» (Киев): каждый из 15 членов кооператива получал ежемесячно по 3 тыс. рублей, а каждый из 215 нанятых по трудовому договору — по 280 руб. в месяц. Каждый член кишиневского кооператива «Полимер» получал ежемесячно 15 500 рублей, в 40 раз больше каждого из своих наемных работников, а в кооперативе «Сигнал» (Челябинская область) — в 30 раз больше. В куйбышевском кооперативе «Резерв» по результатам работы за прошлый год было дополнительно выплачено 18 его членам 574 тыс. рублей, в том числе председателю кооператива — 115 тысяч рублей, а 140 привлеченным работникам — ничего. Растет бедность, отсутствуют перспективы, надвигается нравственная и психическая депрессия. Опошлены социалистические принципы, отвергнуты нравственные и социальные идеалы.

Усиливается наступление на Россию. В начале 1990 года Леонид Леонов писал, что создавшаяся в РСФСР демографическая ситуация должна быть оценена как кризисная. Если положение не изменится, то численность русских, например, сократится в два раза через 50—60 лет. Уже сегодня смертность превышает рождаемость в ряде крупных регионов РСФСР, а численность ее населения растет главным образом благодаря миграции из других республик. Опустошенные преступным невниманием к судьбам России исконно русские земли заселяются переселенцами из коренного населения среднеазиатских и других республик.

«Самые тревожные мысли приходят в голову на нынешней трагической развилке нашей истории, — с грустью констатирует Леонид Леонов. — Нам предстоит необъятный труд по возвращению к жизни пошатнувшегося Отечества. Никакие предварительные сметы, планы, расчеты не могут охватить объем ожидающей нас деятельности: вернуть в урожайное состояние запущенные, зарастающие кустарником и сорняком, отравленные химией, все еще бездорожные, уже безлесные, зачастую даже безлюдные целые районы нашего некогда былинного Севера, ввиду бесперспективности именуемого нынче просто Нечерноземкой. Пребывают в полном запустении поля, оскверненные, обеспложенные, исполосованные самонадеянными фантастическими замыслами, которые стыдливо прячут у нас под маскировочными титлами вроде культа личности, волюнтаризма, застоя и, наконец, развитого социализма, позволяющего прикинуть в уме, во что выльется очередная, уже зловещая фаза нашего бытия». И писатель продолжает: «После семидесяти лет беспомощного блужданья по вариантам утопического рая в поисках нашей земли обетованной пора и нам благоговейно, строго и вслух назвать свою путеводную и уже беззакатную звезду, единственно способную вдохновить наш народ на титанический подвиг воскрешенья бедствующей Отчизны — без чего охватившая нас апатия может последовательно переродиться в нетерпенье, отчаянье, в стихийные безрассудства и дальше по ступеням паденья. Священное, все еще полузапретное имя этой звезды давно на уме у всех — Россия».

Между тем по видеоканалу «Добрый вечер, Москва!» (28 октября 1989 г.) фантомы приплясывают с жалкими ужимками:

Хорошо, что нет царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что бога нет...

Стало быть, нет ни экономических, ни политических, нравственных или каких-нибудь других оснований назвать время столь драматических событий «счастливым, неповторимо счастливым». Возможно, такое «счастливое время» наступило в духовной и культурной сферах? Давайте посмотрим.

Один из основоположников советского кино Александр Зархи так пишет о современном кино: «Создатели фильмов разбежались в разные завлекательные зарубежно-кооперативные стороны, а уж тут каждый печется о себе, только о себе, и намертво заглох интерес друг к другу, а главное, к общему делу. На «Мосфильме» воцарилась мертвечина губительной разобщенности, эгоистичной незаинтересованности в реанимации задыхающегося искусства кино». Вследствие этого кинозалы опустели. Пути оздоровления, или, точнее, оживления интереса к кино, начали искать в пропаганде низменных страстей, в сексе, потворствуя эпидемия безнравственности, щеголяя бездуховностью и аморальностью, унижением человеческого достоинства. «Что приносит зрителям фильмы хоть и снятые с добрыми намерениями, но эффектно демонстрирующие варианты насилия и издевательств над человеком? — восклицает Зархи. — Дурман беспредельного антигуманизма может стать не менее опасен, чем наркомания... Благотворная, наконец-то явленная свобода творчества унижается до удали вседозволенности, до предательства нравственности и любви... Подчас и серьезная, наболевшая тема пропитывается соусом порнографических забав, используя то, что давно заплесневело в западной кинематографии... А еще во многих фильмах — только бы не отстать от действительности, от улицы, от навыков молодежи — обильно, смачно льется сквернословие... Это плевок на богатейшую выразительность и гибкость русского языка, на нашу культуру». Вывод кинорежиссера весьма неутешительный: «...грустно наблюдать, как, обретя с перестройкой свободу творчества, кинематографисты предают духовный мир зрителей, занимаясь кадроблудием. И в такой неблагополучный час!» Несомненно, драматизм окружающей обстановки как бы отторгнут от действий иных шустрых служителей кино.

Нищета духа, сексомания, скажем так, знаменующие собой распад человека, овладели умами не только режиссеров, но и иных критиков. Присутствие в кино секса является, по их мнению, свидетельством изящества и вкуса. Говоря о телевизионном фильме «Жизнь Клима Самгина», критик Л. Аннинский сокрушается: «У меня такое впечатление, что у Титова нет вкуса к эротике». «Теоретик» кино В. Дмитриев более категоричен и требователен к залихватскому торжеству плоти. «Нас (?) может ждать успех, если... отбросив трусость (!) и лицемерие, мы предложим зрителям высокий (?) эротизм, — вещает он. — Кино должно давать уроки... по одухотворению секса...» (Обратим внимание, как во всех этих высказываниях невинно путаются понятия «эротика» и «секс»!). Постепенно формируется «тонкий вкус», «высокий профессионализм» в трактовке подобных сцен. «...Чтобы владеть таким способом рассказа, — делится своим опытом актриса А. Плоткина,— нужно очень свободно ощущать себя по отношению к этой теме и знать ее... Но как для «наследников сталинской культуры», а если без шуток, то — русской православной, можно резко что-то открыть? Высветлить то, что всю жизнь считалось постыдным?.. Для эрот-актрисы необходим большой сексуальный опыт, без которого невозможна, по-моему, правдоподобная работа перед камерой...» Еще бы! Некто Т. Друбич глубокомысленно заключает: «Эротика, по-моему, очень детское и очень возвышенное чувство... Я думаю, что любая актриса может сняться в эротическом кино, если есть чувство вкуса, такта, а главное — талант...» Был бы спрос — «таланты» такого сорта найдутся. И точно — журнал «Смена» радостно оповещает юных читателей: героиня фильма «Маленькая Вера» — в исполнении молодой актрисы Натальи Негоды «...отдается крупным планом со всем присущим ее характеру темпераментом и сексуальным опытом...» «Высокий» секс, пошлость, мат — разве это не удар по «наследникам сталинской культуры»? В сценарии по повести В. Кунина «Интердевочка» богатый набор похабщины: «Курочка в гнезде, а яичко...», «пусть он... всех ленинградских потаскух перетрахает», «засранец», «затрахали, замучили, как Пол-Пот Кампучию», «мне твои поздравления как зайцу триппер», и т. д. и т. п. Таковы способы, методы и каналы, посредством которых идет растление душ и воображения людей, и прежде всего молодежи.

В плачевном состоянии находится музыкальная культура, которую насилует рок. Растет тревога и за судьбу театра. По недавнему признанию Михаила Ульянова, катастрофически снижается профессиональный уровень театральных трупп. И не случайно. Отвергнув идеи большого искусства, унаследованного от XIX века, с его эстетическими и нравственными ценностями, нынешний театр встал на путь пропаганды физиологического натурализма и уступает только кинематографу. По части же духовной — он в глухом загоне, отмечают искусствоведы. Главная причина скрыта глубоко — она в дефиците самого человека, в распаде его цельности, в дегуманизации жизни. Сегодняшний театр в большинстве своем — распространитель социально-нравственного банкротства. Не без его участия теряется тот глубоко моральный, субъективно культурный облик человека, который издавна отличал и характеризовал Россию и другие родственные ей народы. «Человек, которого следует, наконец, накормить, одеть и дать ему все права, обделен сильнее, чем мы думаем, — пишет известный театральный критик Нина Велехова. — Никто еще не упомянул, что специальная человеческая, духовная, освещенная разумом сфера — в самом большом кризисе, никто не замечает, какая опасность ждет, если весь этот запутанный узел глупцы и бессовестные будут запутывать дальше... И есть основание заявить: пора остановить гибель искусства!»

Кажется, приведенных фактов и мнений достаточно для того, чтобы сделать вывод о несоответствии тезиса А. Н. Яковлева о нашем времени как «счастливом, неповторимо счастливом» реальному положению дел в обществе и государстве. Ибо нынешнее время, пожалуй, одно из самых трагических в нашей истории, когда на карту поставлена судьба державы, судьба России. Однако свести весь разговор к столь очевидной для всех истине значило бы ломиться в открытую дверь. В данном случае мы имеем дело с довольно серьезным явлением нашей общественной жизни, имеющим глубокие корни и четко определенную стратегию и тактику. Но для понимания природы этого явления следует оглянуться назад, восстановить в памяти страницы прошлого, поразмыслить над некоторыми изысканиями идеологов-теоретиков, в частности над статьей доктора исторических наук А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», посвященной литературе и культуре и опубликованной в «Литературной газете» за 1972 год.

ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Выступление в печати одного из идеологов 60-х — начала 70-х годов накануне 50-летнего юбилея СССР, конечно, носило не случайный характер. Автор поставил перед собой две задачи.

Во-первых, восславить крупные успехи развитого социализма, в недрах которого только «могла сложиться новая историческая общность — советский народ». Итак, 50 лет СССР — «блестящее доказательство той истины, что история человечества развивается по восходящей линии... Поистине с огромными достижениями не только в области материального производства, но и в сфере духовной приходит наша страна к славному юбилею... Сегодня общество развитого социализма решает проблемы небывалые по своей новизне, размаху и характеру» и т. д. После столь многозначительного введения автор статьи перешел к делу, т. е. критике, с позиций, которые покоятся на прочном фундаменте классового подхода. Все, что отвечает этому принципу, хорошо, прогрессивно, похвально, а то, что не отвечает, по мнению А. Яковлева, нехорошо, не соответствует, буржуазно или консервативно. Отсюда обвинения наших ученых, писателей, критиков по типу: «отсутствие четких классовых ориентиров», «упускает главный — классовый — критерий и в результате неизбежно попадает под власть схоластики», «забвение социально-классовых критериев», «классовые корни... консервативной идеологии» и т. д. и т. п.

Это в наши дни, в изменившейся ситуации,

можно спокойно и по-разному относиться к подобным утверждениям, а в 1972 году обвинение в игнорировании «классового подхода», к тому же предъявленное партийным функционером высокого ранга, звучало как приговор: издательства выбрасывали из своих планов рукописи, журналы отказывались печатать, по месту службы учинялись унизительные проработки — всего не перескажешь. (Впрочем, более впечатляюще мог бы рассказать большой искусник по этой части, а ныне один из видных «прорабов перестройки» в сфере культуры — Альберт Беляев. Но ему не до воспоминаний. Переложив старую колотушку из одной руки в другую, он со знанием дела гвоздит по головам тех же русских интеллигентов, что и в начале семидесятых... Благо есть у него ныне «крепкая рука в высокой инстанции»: в начале семидесятых Беляев тоже беспощадно предавал анафеме еретиков, то бишь отступников от «классового подхода». Или все эти годы он прятал свой чудно-бледный лик под красной маской марксизма-ленинизма? Видимо, так оно и было.)

Выполнив свою первую задачу, А. Н. Яковлев приступил ко второй — приструнить тех, кто своей нерасторопностью, угловатостью, а то и строптивостью выламывался из этой «общности» и, таким образом, грубо разрушал радостную перспективу всей парадной картины. А поскольку не укладывались в нее прежде всего культуры русского, украинского, белорусского, армянского и грузинского народов, то на них и обрушил свой гнев Александр Николаевич. Но самое большое недовольство вызвали у него русские обществоведы и писатели. Им-то и досталось больше всех. За то, что «лелеют миф» о «мужицких истоках», т. е. возрождении русского крестьянства; за то, что «вздыхают по патриархальному укладу», что никак не могут расстаться с философским наследием («с реакционерами-славянофилами» и «такими реакционными деятелями, как В. Розанов и К. Леонтьев»); за то, что одобряют взгляды таких защитников самодержавия, как Карамзин-историк и т. д.

Однако самый мощный огонь критики доктора наук направлен на русское крестьянство и тех, кто смел о нем своё суждение иметь. В статье то выражается гнев в связи с решительным неприятием юродствования по поводу «мужицких истоков», то ведется «спор со сторонниками социальной патриархальщины», то клеймится «справный мужик» вкупе с «тоскливыми всхлипами», которые «выражают интерес к крестьянству», то заявляется, что «современный колхозник» с прошлой своей жизнью «*без какого-либо сожаления расстался*»...

В чем тут дело? Автор стремится *теоретически обосновать* (ссылаясь на труды В. И. Ленина, из контекста которых он выхватывает необходимые ему цитаты) идею *рабской* сущности патриархального русского крестьянства. Поэтому-то с такой решительностью расправляется (именно — расправляется) с теми писателями, которые не могли согласиться с подобной «теорией». Вот как это было. В статье цитируется А. Ланщиков: «Говоря о патриархальном укладе, мы сплошь и рядом забываем, что в нем воплотились многовековые деяния, нравственный и духовный опыт трудового класса, что именно этот, а не какой-либо другой уклад обеспечил этому классу жизнестойкость в самых трудных исторических ситуациях». (Сегодня, замечу в скобках, для всех нас это неоспоримая истина.) Каким способом «полемизирует» с подобными положениями А. Н. Яковлев? Он объявляет их как «спор с диалектикой ленинского взгляда на крестьянство», как «вульгарно-объективистские утверждения», т. е. навешивает политические ярлыки.

Еще жестче поступает он с талантливым писателем, создателем (вслед за П. Бажовым) удивительных сказов, в которых превосходным языком воспел он творческую смекалку, доброту, мужество и талантливость простого русского мужика, который по сказу же Лескова, может и блоху подковать... А. Н. Яковлев пишет: «В романе «Оленьи пруды» М. Кочнев утверждает: «Русской деревне *даже в самые беспросветные времена никогда не была свойственна ограниченность, равная идиотизму*, и обвинить ее в идиотизме мог только тот, кому за каждым кустом, растущим за городской заставой, мерещится страшный серый волк». «В этом же романе, — продолжает историк, — читаем: «Все — сатрапы, все — холопы, все — рабы прикровенные и откровенные... Нация холопов... А не пересолил ли дорогой наш Николай Гаврилович, — говорит один из героев романа. Герой положительный, и все симпатии автора на его стороне. Полемика идет не только с Чернышевским, но и с Лениным».

Далее А. Н. Яковлев «побивает» писателя М. Кочнева цитатой В. И. Ленина, а затем устрашающе вопрошает: «С кем же в таком случае борются наши ревнители патриархальной деревни и куда они зовут?.»

По Яковлеву, писатель «борется» с Чернышевским и Лениным, протестуя против идиотизма русской деревни. Вот такие пироги...

Михаил Харлампиевич Кочнев так и не смог вынести — нет, не этой угрозы — подобного глумления над крестьянской Россией...

И когда я узнал о том, что недавно А. Н. Яковлев заявил: «Я не отказываюсь ни от одного слова, которое я тогда написал» (речь идет о рассматриваемой статье 1972 года), мне как-то ярче высветились некоторые события сегодняшнего дня, нашедшие свое, так сказать, *теоретическое основание* семнадцать лет тому назад. И еще: неужто уважаемый Александр Николаевич запамятовал, с каким негодованием встретила русская интеллигенция его сочинение? Но об этом позже.

Особую неприязнь вызывает у А. Н. Яковлева славянофильство. Можно по-разному относиться к этому направлению социально-философской мысли. Как любое направление, оно отличается сложностью и внутренней противоречивостью, отражающей весь спектр положительных и отрицательных начал. Поэтому тут важен серьезный анализ, *исторический взгляд*, исключающий убогость субъективистского или одностороннего подхода. Кажется, не всегда это учитывается автором рассматриваемой статьи. «Забвение социально-классовых критериев», пишет он, приводит к тому, что при характеристике «реакционеров-славянофилов» и славянофильства допускается непростительный просчет. В чем он состоит? В том, читаем, что «автор не нашел места... для характеристики классовых корней этой *консервативной идеологии*, не сказав фактически о самом главном — о том, что она носила дворянский, помещичий характер».

Подобные умозаключения выдержаны, как ни странно, в духе «неистовых ревнителей» 20-х — начала 30-х годов. Именно в этот период под лозунгом «дворянского, помещичьего характера» извращалась и уничтожалась русская классическая литература, наука и философия; с помощью этого же иезуитского тезиса пытались перечеркнуть историю государства российского, духовное и нравственное наследие народа.

Обвиняя славянофильство и «неопочвенничество» в консерватизме, кое-кто стремится поставить последнюю точку в вопросе исчезновения национального сознания, которое отныне должно именоваться «националистическим поветрием». «Одним из таких поветрий, — говорится в статье А. Н. Яковлева, — являются рассуждения о *внеклассовом* «национальном духе», «национальном характере», «народном национальном характере». Это, считает он, не только объективистский подход к прошлому, но и «игнорирование или непонимание того *решающего* факта, что в нашей стране возникла новая историческая общность людей — *советский народ*».

Это не случайная оговорка — обвинение славянофилов и «неопочвенников» начала 70-х годов в игнорировании «исторической общности советских людей — советский народ». А. Н. Яковлеву уже в то время было известно, что именно русские становятся первым объектом беспрецедентного эксперимента по выведению новой человеческой общности, в которой национальное начало должно быть выхолощено и заменено принципиально иной категорией самосознания. Как замечено, парадоксально, но это действительно так, параллельно с духовным уничтожением русской нации набирал силу иной процесс — подпитывание русофобии. «Создавался фантом «русской угрозы»: истекающий кровью, погибающий русский народ якобы и представляет собою самую страшную опасность для всего остального мира, он и является душителем других народов. Действительно, нельзя сделать большего подарка палачу, чем объявить агрессором его жертву» (А. Анищенко. «Кто виноват?». «Гласность». 1989, № 15). Теперь об этом знают если не все, то многие, а в пору (1972 г.) теоретических изысканий Александра Николаевича это было ведомо немногим. Наивность и доверчивость русских никак не предполагала возможности столь грозной опасности, надвигающейся на них с «родных сиятельных вершин». Видимо, об этом обязан во всеуслышание рассказать сегодня Яковлев.

Некорректность, опасность подобных «теорий» не столько в их русофобской направленности, сколько в стремлении их авторов придать им некий идеологический принцип, которым якобы необходимо руководствоваться в практической деятельности. А это, как известно, неиссякаемый резервуар для спекулятивных воззрений — будь то в политике, науке либо художественном творчестве. По этим ложным вешкам, как правило, ориентируются те, кто заинтересован в извращении истины. Вот одни из примеров. Если у А. Н. Яковлева славянофильство носит «дворянский, помещичий характер», то у Анатолия Ананьева (роман «Скрижали и колокола», «Октябрь», 1989, №№ 1—2) — это уже трупный яд, убивающий все живое в прошлом и настоящем. «Явление славянофильства... возникло у нас вследствие общего истощения и упадка духа. Кроме того, огромную, если не первостепенную роль в этом сыграло полное отмежевание наше от Запада... В этих условиях неминуемо и должно было родиться славянофильство как движение... Но славянофильство, выдвинувшее целью своей возрождение нации, в сущности, лишь прочнее заковало эту нацию, то есть русский народ, в порочный круг и выполнило тем самым (ретивее, может быть, чем даже православие) реакционнейшую по отношению к своему народу функцию. Оно, это славянофильство, лишь увеличило разрыв между европейскими народами и Россией... Тут-то и возникает вопрос: насколько движение это имеет корни в народе и какова конечная (и скрытая!) цель его? Оно — как сосуд с ядом: за внешней привлекательностью и красивой оболочкой таятся страдания и смерть».

Но ведь разговор, по сути, идет не о славянофилах — речь идет о России. Славянофильство лишь повод для очередного оплевывания русского народа: «Тот народ, которому есть чем гордиться и достижения которого очевидны всем, не думает и не ищет некоего в *себе* предмета для гордости; а тот, которому нечем гордиться и который в упадке, — ищет и выдумывает, чтобы как-то утешить себя».

Так рассуждает герой романа, за плечами которого маячит фигура сочинителя, нашептывающего ему свои убеждения. Конечно, славянофильство в известной мере повинно и во всех современных наших бедах. Да еще в каких бедах! «...мы громогласно заявляем, — читаем в сочинении А. Ананьева, — что народ потерял нравственность, развратился, и это не слова, нет, нет, отнюдь не слова, а отсюда и вывод, что прекрасная сама по себе идея самоочищения, не подкрепленная политически и социально, может привести только к еще большему «освинячиванию»... к скотству и самоуничтожению...»

Если присмотреться да поразмыслить хорошенько, то нетрудно понять: Ананьев переводит идеи Яковлева на язык беллетристики — не более того. Но продолжим тему нашего разговора.

«Националистическую» скверну автор статьи «Против антиисторизма» искореняет немилосердно. Он буквально изничтожает «радетелей «национального духа» и патриархальной старины. Он мечет громы и молнии на бедные головы потрясателей «классового подхода», беспощадно обличает мутителей святой водички, защитников прошлого. И все это от имени «социально однородного общества», ибо «особую гордость вызывает наша сегодняшняя социа-

листическая действительность». Грузин строго порицает за сочувственное отношение к царице Тамаре, украинцев — за гордость своим далеким прошлым, молдаван корит за добрые слова о «деятелях культуры прошлого» и т. д. Но поистине великий гнев обрушил он на русских писателей. Ведь до чего докатились — начали романтизировать национального героя генерала Скобелева! А Михаилом Кочиевым в романе «Олени пруды» «предпринята попытка оспорить точку зрения на Карамзина-историка как защитника самодержавия и представить его нашим «идейным союзником», «соратником», заслуживающим ни больше ни меньше, как «народного внимания, народного чувства». Подобные воззрения и поползновения, по мнению автора статьи, наносят непоправимый вред нашей «бурной жизни, полной революционного динамизма, новаторской энергии, созидательной мощи»; более того, «притупляют бдительность в современной идеологической борьбе», льют воду на мельницу недобитых кадетов, веховцев и буржуазных идеологов.

«Яркий пример тому — шумиха на Западе вокруг сочинений Солженицына, в особенности его последнего романа «Август четырнадцатого», веховского — по философским позициям и кадетского по позициям политическим, — блюдет чистоту «четких классовых ориентиров» зам. зав. идеологическим отделом ЦК. — Роман, навязывающего читателю отрицательное отношение к самой идее революции и социализма, чернящего русское освободительное движение и его идейно-нравственные ценности, идеализирующего жизнь, быт, нравы самодержавной России». Недовольство доктора истории Александром Солженицыным настолько велико, что он подвергает последнего остракизму... именем Союза писателей СССР: «Советским литераторам, в том числе и тем (!), чьи неверные (?) взгляды критикуются в этой статье, разумеется, *чуждо и противно* поведение нововявленного веховца». Не чурается А. Н. Яковлев острого словца, когда заходит речь об угрозе «классовым критериям», отстаивании новой исторической общности людей, а равно вдалбливании в сознание масс идеи развитого социализма. Дело это серьезное, и тут, как говорится, не до любезностей, т. е. кое-кому приходится и вправлять мозги. Распустились, потому что: «один *тоскует по храмам и крестам*, другой *заливается плачем по лошадям*, третий *голосит по петухам*». Эк, разобрало их! — подумает нынешний читатель. И опять же: у одних «нет понимания элементарного», у других «давно набившие оскомину рассуждения», «юродство по поводу «мужицких истоков» и, представьте себе, даже «реакционных умонастроений»; а третьим, то бишь «новоявленным богоносцам», «полезно всегда помнить» «тоскливые всхлипы» «отдельных ревнителей» и т. д. Словом, характеристика Солженицына как «новоявленного веховца» отвечает стилю ученого историка. А стиль — это человек, как было сказано на заре XIX века, когда поэты занимались своим делом, а не «заливались плачем по лошадям», а равно не «голосили по петухам» и прочей живности.

Конечно, заявление правды не должно зависеть от масштаба занимаемой должности того или иного лица. Однако нелицеприятную критику не следует смешивать с амикошонскими приемами. 24 января 1990 года «Литературная газета» оповестила своих читателей о безобразном инциденте в Центральном Доме литераторов. Но при чем здесь, спрашивается, видный партийный лидер? «На мой взгляд, главная цель демонстрации, устроенной на очередном заседании движения «Апрель», — нанести удар по тому, что достигнуто в ходе перестройки»,— как всегда глубокомысленно, заявил писатель В. Дудинцев. И вдруг она, эта его мысль, вильнула в сторону: «Она выстраивается (цель, демонстрация, перестройка? — Н. Ф.) в один ряд с ленинградским митингом... Я сам видел лозунг «А. Н. Яковлев — вон из Политбюро», вывешенный на нашем собрании. Александра Николаевича Яковлева я глубоко уважаю и как политика, и как ученого, и как дипломата, и как литератора». Прекрасно! Но при чем здесь скандал в ЦДЛ? В огороде бузина, а в Киеве дядька? Вряд ли.

А 2 февраля 1990 года пересмешник из «Книжного обозрения» ничего остроумнее не изобрел, как «две простенькие шуточки»: одну про гоголевского Петрушку, балагура Петюнчика, нынешнего Петр-Петушка, которому «помстилось, что он единственный из леггорнов и плимутроков, сумевший преодолеть несколько страниц подвернувшегося текста. И потому он обязан поведать читателям обо всем, что внезапно втемяшилось в гребешок». «Книжное обозрение» не называет имен — это, так сказать, собирательный образ Петушка. Зато во второй «простенькой шуточке» герой назван: «доктор исторических наук, он же видный общественный деятель», автор статьи «Против антиисторизма», напечатанной «в Литературной газете» довольно давно, а именно 15 ноября 1972 года», где «вовсе нет В. Чалмаева! Из фамилий на букву «Ч» А. Н. Яковлев упоминает только Чернышевского, Николая Гавриловича. Что касается...» и т. д. Очень смешная «шуточка», не правда ли? Юмор — опасное оружие. Лицо, попавшее в орбиту смехового мира, мгновенно становится его объектом — смешным и жалким. Знают ли об этом остряки из «Книжного обозрения»? Конечно, знают. Они все знают. Так что же получается?.. И позволительно ли «видного общественного деятеля» вот так запросто, по-приятельски печатно похлопывать по плечу: «Доктор исторических наук А. Н. Яковлев и *сейчас* ни от одного слова, определяющего эту позицию, не отказывается. На *наш взгляд, правильно делает*»? И все это под рубрикой «Литературный фельетон».

Нет, и против употребления известных имен *все*...

В 1989 году в американском издательстве «Либерти» вышли две книги: «Русская идея и 2000-й год» Александра Янова и «Большой провал» Збигнева Бжезинского. Первый — в прошлом активный советский журналист, а ныне один из ярых русофобов в Америке; второй — последовательный антикоммунист, проживающий в одной стране с А. Яновым. Оба не скрывают своих антисоциалистических и антирусских убеждений, хотя есть разница в *форме* высказывания. Если А. Янов скор на расправу (о русских он иначе не мыслит как о фашистах), то Бжезинский скорее сдержан, в некотором смысле академичен. «Моя книга — о последнем кризисе коммунизма, — заявляет он. — В ней дается описание и анализ прогрессирующего разложения и все нарастающей агонии как его системы, так и самого учения... останется в памяти людей прежде всего как самое необычное политическое и интеллектуальное заблуждение XX века». Все это уже было, а что будет — поживем — увидим. Здесь нет ничего ни нового, ни оригинального. Любопытно другое: оба обращаются к одному и тому же лицу, связывая с ним различные этапы развития нашего общества. Этот деятель — А. Н. Яковлев. Александр Янов рисует его образ конца 60-х — начала 70-х годов: «Яковлев уже с 1968 г. пытался превратить русофильство в объект политической борьбы наверху... Это он стоял за статьей в «Коммунисте». И заседание Секретариата ЦК, обсуждавшее эскапады «Молодой гвардии», тоже было делом его рук». В другом месте: «Яковлев развернул огромную, поистине устрашающую панораму проникновения русофильства во все области литературы и общественных наук... Никто не осмелился полемизировать с Яковлевым». В книге Збигнева Бжезинского — Н. А. Яковлев конца 80-х: «...по сообщению «Правды» от 11 августа 1988 года, Александр Яковлев — член Политбюро, ответственный за чистоту марксистско-ленинского учения, — заявил, что в наше время «господствующей должна стать идеология хозяина», присовокупив, что «основной вопрос теории и практики хозяйственной деятельности сегодня — соединение интересов. Есть интерес — человек горы свернет, нет его — останется равнодушным».

Разумеется, я не склонен (это было бы не только большой натяжкой, но и неверно в принципе) «побивать» Яковлева господами Яновым и Бжезинским, однако сказать о том, что *еще* не наступил *деидеологический рай* и не утратили мы человеческого достоинства, свободы духа и национальной гордости, — необходимо.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Последнее время А. Н. Яковлев отошел, так сказать, от сугубо литературных дел. По крайней мере, печатных суждений, подобных тем, которые изложены им в статье «Против антиисторизма», говорят, нет. Но он по-прежнему считает себя крупным официальным идеологом. Поэтому его высказывания «о текущем моменте» нередко преподносятся как веское теоретическое слово. Возьмем одно из последних его публичных суждений. «Перестройка объективно вывела нас в положение первопроходца, когда пример других, в общем-то важный и полезный, не может быть перенесен на наши собственные проблемы. Сразу же появилось очень много вопросов, но сложнее обстоит дело с ответами, — говорил А. Н. Яковлев на встрече со слушателями, аспирантами, преподавателями, научными сотрудниками, редакторами молодежных изданий страны в ноябре 1989 года («Сов. культура» от 25 ноября 1989 г. по материалам ТАСС). — Основная сложность — привычка к духовному иждивенчеству, желание сначала познать истину, заполучить идеал, а потом строить по ним жизнь. Схема, когда сначала и сверху выдвигается идеал, а потом к ней пристраивают жизнь— такая схема идеалистична, иллюзорна, ибо исходно основана на пассивности масс. Многие просят от центра: дайте концепцию социализма. Дайте теорию партийной, идеологической или иной работы в новых условиях. Перестройка — это инициатива и самостоятельность. В этом суть. Надо пробовать, искать, в конце концов рисковать. Любая революция требует мужества, ответственности и великого чувства служения идеалам свободы. Говорят: нет четко сформулированной, ясной цели перестройки, расписанной по дням и годам. Социализм — живое творчество. Если это не просто лозунг, но и убеждение, то народ сам, в процессе жизни нащупает, выдвинет, достигнет искомого».

Строго говоря, в устах идеолога, претендующего на теоретическое мышление, подобное заявление звучит весьма неубедительно. А посему возникает множество вопросов. Возможно ли без глубоко продуманной концепции приступать к преобразованию общества? Нужна ли теория «в новых условиях»? Можно ли строить новую жизнь без идеалов? Как понимать в этом контексте «инициативу и самостоятельность»? и т. д.

Упор, упование в основном на означенную «инициативу и самостоятельность» — не есть ли это уступка лево-радикализму, либерализму. Индивидуализм современных «либералов» наиболее четко проявляется в их литературных и философских концепциях. Основной целью свободы литературного либерализма является стремление к освобождению личности от социально-нравственной ответственности перед обществом, от любой упорядоченной системы идеалов.

Вот что означают на практике абстрактные призывы к инициативе и самостоятельности. Они так же эфемерны, как и то, что «концепцию социализма... народ сам, в процессе жизни нащупает, выдвинет, достигнет...». По меньшей мере, это странное утверждение. Активная пропаганда «прав человека» и игнорирование «прав человека и общества», «прав человека и гражданина» — весьма показательны с точки зрения либерализма, который не переставая трубит на всех перекрестках о «правах личности», в то же время демонстрирует свое пренебрежение к правам народа, нации и государства...

Сегодня уже никому не уйти от жестоких реалий действительности. Настала пора предельно откровенного разговора. Все те, кому тесно и неудобно в нашем доме по причине его неблагоустройства по сравнению с Западом, кто считает себя радикалами, «левыми демократическими силами», «демократическим меньшинством», откровенно презирающим «подавляющее боль-

шинство», лево-радикалами, наконец, — должен во всеуслышание заявить об этом, т. е. честно вести игру: выйти из КПСС, профсоюза, творческих организаций, учредив свои партии и профсоюзы, а не пытаться изнутри разлагать социалистическое движение и Советскую державу. Нельзя больше испытывать терпение народа!»

Минуло 17 лет с момента публикации теоретического труда «Против антиисторизма». Многое изменилось и продолжает меняться в этом мире. Время коснулось своим крылом и А. Н. Яковлева. Теперь он не стращает творческую интеллигенцию жупелом «классового подхода», а в соответствии с «духом эпохи» все больше апеллирует к общечеловеческим ценностям. Не корит принародно и поэтов, воспевающих всякий домашний скот и прочую горластую птицу, именуемую в просторечии «петухом», мол, пусть их заливаются «плачем по лошадям». Что-то помалкивает Александр Николаевич и насчет исторической общности людей, которую так блистательно вознес в начале семидесятых. Что же касается его отношения к вере — «Да ведь и самая «демократическая» религия в конечном счете реакционна, представляет собой идеологию духовного рабства...» — то и в этом вопросе якобы сильно взял в противоположную сторону. Утверждают даже, что он публично провозгласил о полной приемлемости «религиозного сионизма» (чему я не верю!); а недавно, сказывают, в Оптину пустынь ездил, решение собственноручно передал на открытие знаменитого монастыря и поздравил православных. Да и стиль его речей нынешних не столь резок, а все больше спокойный, в некотором роде даже как бы академический.

Слава богу, перестроился человек соответственно духу времени... Да полно вам, раздается голос известного поэта, «почему же тогда (вот вопрос!) не меняются только — это я еще раз вспоминаю улюлюканье вокруг «письма одиннадцати» — лакейский корпус, с успехом пристраивающийся к любой идеологической ситуации, которая сегодня на дворе, обслуживающий персонал (от А. Беляева до В. Коротича — т. е. я имею в виду Т. Иванову, Н. Ильину, Ю. Суровцева, Ст. Рассадина, В. Оскоцкого, Ю. Буртина, В. Лакшина и т. п. — имя им легион!), держащий нос по ветру и постоянно во все времена оглядывающийся на сильных мира сего...»

И точно: в феврале 1989 г. на вопрос, как он сейчас относится к своей давней статье, Александр Николаевич ответил: «Я не отказываюсь ни от одного слова, которое и тогда написал. Развитие сегодняшних событий еще раз подтверждает, что в 1972 году я был прав» (Информ-бюллетень «Слово «Науки» издательства «Наука», 17 февраля 1989 года).

Возможно ль? Писатель Ст. Золотцев попытался объяснить «феномен Яковлева»: «Да не удивится читатель, но с этим суждением члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева я спорить не могу. Все дело в том, что по-своему Александр Николаевич совершенно прав. Можно сказать иначе: прав во многом. И прежде всего в том, что многие процессы, происходящие сегодня в развитии общества, в жизни страны, особенно в духовной ее сфере, действительно развиваются согласно положениям и установкам его давней критико-теоретической работы, согласно с ее общей направленностью, с идейным настроем. Например, об этом свидетельствует и позиция тех органов печати, руководители которых были заменены тогда, когда А. Н. Яковлев как секретарь ЦК КПСС отвечал за идеологическую работу» («Московский литератор», 8.12.1989).

Оставим на время тему «совершенно прав», «прав во многом» и обратимся к вопросу «органов печати», волнующему не только идеологов-законодателей. Об этом свидетельствует и февральский (1990 г.) Пленум ЦК КПСС. Именно от того, в чьих руках находятся средства массовой информации, кто владеет ими, тот ближе и к власти. «Видимо, не случайно, если вспомнить события в Восточной Европе, в частности в Румынии, одним из важнейших объектов первоначальной битвы было именно здание телевидения». Это слова первого секретаря Рижского городского комитета партии А. П. Клауцена, произнесенные на Пленуме ЦК КПСС. Яковлев же выдает руководителей средств информации эдакими отроками безвинными, кои только объективно отображают те процессы, которые протекают в реальной жизни... Тут он по странной случайности совершенно забывает о суждениях на сей счет В. И. Ленина, на которого так любит (мы имели возможность в этом убедиться!) при случае ссылаться.

Однако на Пленуме ЦК встали и другие не менее серьезные вопросы, касающиеся нашей темы. Говоря о теоретической разоруженности коммунистов на современном этапе, об отсутствии научно аргументированной критики псевдонаучных идей и документов, которые сегодня широко пропагандируются, секретарь временного ЦК Компартии Литвы (на платформе КПСС) В. Н. Швед подчеркнул следующее: «К сожалению, бывает и наоборот. Нередко на самом высоком уровне благословляются процессы отнюдь не перестроечные. Например, и меня просили передать членам Пленума, что в республике многие коммунисты связывают идейно-теоретическое обоснование процессов, приведших республику к сегодняшней ситуации, с визитом в Литву Александра Николаевича Яковлева в августе 1988 года, когда эта ситуация только складывалась».

Член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев попытался «оправдаться». Он так и начал: «Товарищи! Оправдываться всегда плохо, неудобно. Но все-таки я должен внести ясность, поскольку вот уже который раз на Пленуме моя фамилия так или иначе фигурирует в связи с литовскими событиями». Лучше бы промолчал! Уж очень сильно напоминают его сегодняшние «оправдания»-рассуждения о национализме, интернационализме, патриотизме статью «Против антиисторизма» 1972 года. По содержанию и — увы! — даже по стилю: «Национализм не только слеп, он антигуманен... Руководить обществом — это значит прежде всего хорошо помнить суть и смысл идущих в нем процессов, правильно реагировать на них... Истинный патриотизм — могучая сила. Спекулятивному псевдопатриотизму нужно противопоставить патриотизм зрячий... Осознанная любовь к своему народу несовместима с национальной замкнутостью... Расцвет нации предполагает творческое освоение всего лучшего, что выработано человечеством...» и т. д. и т. п. Снова указания, лозунги и «откровения»... Даже без «виртуозности», как сказал о его выступлении на втором Съезде народных депутатов СССР один из ораторов.

О том, что не сумел Яковлев «оправдаться» «в связи с литовскими событиями», говорит заявление секретаря временного ЦК Компартии Литвы (на платформе КПСС) В.-Ю. Ю. Кардамавичюса: «И я хочу сказать, если товарищ Яковлев имеет свое мнение и право сказать, — и мы имеем свое мнение и право сказать. Мы хотим еще раз товарищам передать о том, что пребывание товарища Яковлева в Литве действительно внесло ряд таких нехороших дел в нашей республике. Вы, товарищ Яковлев, вероятно, приложились косвенным путем и к решениям XX съезда Компартии Литвы. Об этом говорят очень широко в республике. Это отражено в ваших встречах с некоторыми интеллигентами Литвы. И давайте будем коммунистам говорить честно» («Правда» от 9 февраля 1990 года).

После этого выступления А. Н. Яковлев не стал прибегать к своей излюбленной назидательной «теории», а честно промолчал...

Зато неделю спустя дал пространное интервью корреспонденту «Литературной газеты» (14 февраля 1990 г.) по поводу «живучести» в нашем общественном сознании «образа врага». Разговор об «образе врага» затеян газетой в ноябре 1989 года и втянул в свою орбиту экономистов, психологов, юристов, литераторов. Теперь к нему подключился член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев, сообщает «Литературная газета». Видимо, это не случайно. Выступление столь крупной партийной фигуры призвано, по замыслу устроителей беседы, остудить не в меру горячие головы, дать точные ориентиры, поставить точки над «і».

Но, сдается мне, проблема-то надумана, притащена на страницы многомиллионного издания «за уши». Отсюда размытость самого понятия «образ врага», разноречивость смысла, вкладываемого в него: для одних это просто метафора, для других — «враг перестройки», а для третьих— это отношение русских к евреям («Хватит лепить «образ врага» с евреев...» — истошно вопит Евг. Евтушенко, видимо, вспоминая свое прошлогоднее путешествие по Израилю в форме израильского вояки. Ему вторят депутаты Ю. Щекочихин и Г. Боровик, запугивая миллионы телезрителей опасностью грядущих еврейских погромов и призывая к привлечению к ответственности вдохновителей «нарастающего фашизма»). Как видим, термин «образ врага» служит как для оглупления общественного сознания, так и для разжигания национальной розни, обвинения русских в фашизме... Выходит, «образ врага» и «враг народа» — явления одного и того же корня! А это попытка держать общество в страхе, отвлекать от главного и — под шумок набрасывать на него узду заморского или собственного приготовления.

Как ни парадоксально, но все ниспровергатели «образа врага» старого пошиба тут же конструируют «образ врага» новой модели. Такова логика политической борьбы. Разве не встает «образ врага» из интервью А. Н. Яковлева: «возня в литературных подъездах», «разногласия творческие, методологические, содержательные опускаются до групповщины, доносительства, готовности изничтожить оппонента, приклеить ярлык, оболгать. Все это действительно гнусно», «некоторым интеллигентствующим холопам», «в мерзопакостной охоте за инакомыслием», «мерзопакостные формы», «комплекс неполноценности», «осуждении крепнущего «людоедства», «признаки политической возни» и т. д.

А вот, говоря словами же Александра Николаевича, «мерзопакостный», «холопствующий» и одновременно «людоедствующий», так сказать, коллективный портрет «врага», хотя и безадресный, но легко угадываемый благодаря усилиям средств массовой информации: «Поиск «врага» — социальный недуг... Нетерпимо все это и безнравственно, ибо корни явления питаются психологией 1937 года. Но особенно омерзительно, когда такой поиск (помилуйте, кто же его ищет, кроме «прорабов перестройки»?! — Н. Ф.) выстраивается на национальной почве, когда межуют нации, когда занимаются генеалогическим гробокопательством, с садистским сладострастием отыскивая имена отцов и матерей». Господи, думаешь, читая это, до чего же человек владеет пером! Да и «присутствием духа» тоже, ибо следующее предложение свидетельствует о том, что эта его инвектива направлена против русской интеллигенции, якобы унаследовавшей «генетическую» агрессивность и милитаризм. (Являясь давним поклонником научных штудий Яковлева, я сильно засомневался в авторстве многих положений интервью и поначалу готов был объяснить это происками злокозненных сил, то бишь «генеалогических гробокопателей», но одно обстоятельство, как увидим далее, охладило мой пыл.)

Изящное, равно как правдивое перо А. Н. Яковлева порою столь резво ускоряет свой бег, впадает в сотворение таких сильных выражений (часть их приводилась выше), что он начинает терять нить логики, приветствуя сегодня то, что вчера напрочь отвергал, и даже поступаясь своими, казалось, коренными принципами. Это разочаровывает и настораживает.

Мне уже приходилось писать о том, какими поносными словами характеризовал наш историк славянофилов и русских философов XIX века, а также тех современных русских литераторов, мнение которых на сей предмет не совпадало с его «научным подходом», — они назывались и реакционерами, и носителями консервативной идеологии, и откровенными и прикровенными про-

тивниками «развитого социализма», «классового подхода» и прочая и прочая... Хотелось думать, что подобные утверждения являлись следствием искренних заблуждений, а не отсутствием твердых убеждений или дурных побуждений партийного функционера образца 1972 года. Ба, да сегодня А. Яковлев говорит о славянофилах совершенно противоположное. Нет, он не признает своих ошибок, не сожалеет о ранее содеянном — он, как и 17 лет назад, разъясняет, что есть славянофилы и как надо понимать их деятельность. Что ж, будем переучиваться и считать, что: «славянофилы были людьми порядочными, патриотами России» (представляю выражение лица нынешнего редактора «Огонька», который из-за этих русских патриотов подался «в сторожевые собаки перестройки»); славянофилы, говорит Александр Николаевич, «искренне боролись против загрязнения русского языка», а еще, продолжает он, «это были честные мыслители, летописцы и собиратели, исследователи культуры своей страны» и т. д. Хорошо и тепло говорит, деликатно обходя их «помещичью психологию», «реакционную» сущность и прочую «дворянскую» принадлежность... Но к чему это? При чем тут, извиняюсь, современная «теория» нынешнего «образа врага» и славянофилы, которые были «патриотами России» вон в какое далекое от нас время. Но ведь не может же столь крупный мыслитель, дипломат и государственный деятель в одночасье менять свои убеждения, нет, здесь что-то не то, подумал я, и стал читать далее более внимательно, вникая в смысл фраз. «Образ врага» и славянофилы... гм... «их идеи не утратили поучительности, кое в чем даже актуальности поныне». В чем же? «И, конечно же, — продолжает Яковлев, — кощунственно даже подумать, что идеология славянофильства — любви к славянам и их культуре — может служить политической базой охотнорядчества, антисемитизма...» Так вот где собака зарыта!

Но это больше чем неправда. Это редкий пример поразительной уверенности человека в непроходимой глупости своих современников.

Подтверждает сие и последующий пассаж А. Н. Яковлева. Каюсь, я прервал его фразу и позвольте привести ее полностью: «И, конечно же, кощунственно даже подумать, что идеология славянофильства — любви к славянам и их культуре — может служить политической базой охотнорядчества, антисемитизма, о котором даже Сталин писал: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма». Как человек кристальной чистоты и добрейшей души, Александр Николаевич Яковлев скромно опустил конец текста Сталина, хотя не постыдился поставить его на одну доску с виднейшими русскими философами и писателями... Между тем Иосиф Виссарионович писал далее в ответе на запрос Еврейского телеграфного агентства Америки («Правда» от 30 ноября 1936 г.): «В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью». Вот вся правда (знают ли об этом авторы «Открытого письма членам Политбюро ЦК КПСС» А. Приставкин, В. Оскоцкий, А. Дементьев, А. Нуйкин и другие, словом, «цвет нации» «Апреля», об этом циркуляре Сталина, требуя всего лишь десять лет лишения свободы за «возбуждение национальной розни»? Кстати, это Письмо случайно опубликовано в том же номере «Лит. газеты», где помещено и интервью с А. Н. Яковлевым).

Ссылка на Сталина ведущего идеолога поразительна. А. Н. Яковлев — этот известный всему миру благородный и неподкупный рыцарь марксистской теории, бросивший свой мощный интеллект на алтарь изобличения и полного искоренения сталинизма, — и этот самый Яковлев ищет опоры у... Сталина?!

Впрочем, фигура Сталина сжимается до едва различимой точки при знакомстве с новыми великими дерзаниями Александра Николаевича Яковлева. 14 марта 1990 года на третьем Съезде народных депутатов СССР он заявил: «Мы(?) взялись(!) за ломку тысячелетней российской парадигмы (образца.— Н. Ф.) несвободы». Если т. Яковлев начнет воплощать свои замыслы на практике, то Россию ожидают трагические потрясения... Таковы факты.

Что же следует из всего этого? Пожалуй, можно утверждать, что мы имеем дело с довольно сложным явлением. Тут, видимо, не все сразу и объяснишь, хотя многое начинает проясняться. И проливает свет на действия и иронично-торжествующую интонацию высказываний Яковлева о том, что он живет в «трудное, архитрудное, но счастливое, неповторимо счастливое время»... Да, тот шрамы хвалит, кто не знает, как они болят, сказал Шекспир.

Приведенные здесь факты и свидетельства отражают состояние нашего общества, «а это уже вопрос далеко не поэтический», как справедливо заметил А. Н. Яковлев еще в пору его беспримерной и жестокой борьбы с потрясателями «классовых принципов», а равно откровенными и прикровенными противниками «исторической общности людей». Но о «поэтических вопросах» в следующих письмах.

КРИТИКА



АЛЕКСАНДР ПОЗДНЯКОВ,
полковник Советской Армии

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД НАСТУПАЕТ

АРМИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПРОЗЫ И ПУБЛИЦИСТИКИ

Пришлось недавно побывать в доме бывшего сослуживца. Сослуживец как сослуживец: гостям включили телевизор, на тумбочке кипа последних номеров журнала «Огонек». Должен сказать, что согласно недавно проведенному исследованию больше половины офицеров являются постоянными читателями этого органа... Чтобы время шло не столь уж даром, решил созерцание экрана совместить с просмотром «Огонька». На экране в это время рассказывали и демонстрировали подготовку к октябрьскому военному параду, а на страницах журнала мелькали одна за другой, как подобранные специально, статьи на армейскую, а точнее на антиармейскую, тему. Противоречивость возникших при этом ощущений была настолько велика, что мне стало не по себе. Ну хорошо, подумалось, я сам в армии служу, слежу за литературой о ней... А каково человеку со стороны, судящему об армии только со слов — слов печатных и, так сказать, непечатных, художественных и нехудожественных? В самом деле, какова она, армия, в этом слове?

Обратимся прежде всего к слову художественному. А поскольку тут имеет значение не только чтó говорится, но и как оно говорится, и даже, может быть, последнее-то и в первую очередь важно, мы вначале этот самый вопрос литературе и зададим. Итак, вопрос...

КАК СШИВАЮТСЯ ШИНЕЛИ?

«Весть о том, что командир 5-й батареи Олег Манцев шьет шинель из адмиральского драпа, разнеслась по линкору». Помню, как, прочитав это первое предложение из романа Анатолия Азольского «Затяжной выстрел» («Знамя», 1987, № 10), сразу подумал, что это тебе не какой-нибудь «мороз крепчал». Должно же за этой, на первый взгляд бытовой, фразой стоять что-то настоящее. Во всяком случае, автор понимает, что такое литература... Буквально через две страницы автор сам подтверждает эту догадку, доказывая именно свое понимание. «Каждый солдат должен носить в ранце маршальский жезл, напомнил кто-то. Но что произойдет, если солдаты начнут похваляться жезлами? Не подорвут ли жезлы, которыми втуне помахивают на привале солдатушки, боеспособность Вооруженных Сил? А ведь шинель из адмиральского драпа, вызывающе носимая лейтенантом, не тот ли маршальский жезл?

Кому-то вспомнился Лермонтов, язвит Грушницкого, произведенного в офицеры, к Печорину, а кто-то, перепрыгнув через Лермонтова и Гоголя, заявил, что «все мы вышли из манцевской шинели».

И так далее... Словоблудие морских офицеров не развлечение, не пустейшее времяпрепровождение, а острая жизненная необходимость. Игра словами затачивает язык. На кораблях флота — только на кораблях, нигде более в Вооруженных Силах — быт старших и младших офицеров, командиров и подчиненных, близко соседствует с их службой, и обеденный стол, где встречаются они, не разрешает «фитилять» в паузах между борщом и бифштексом, но колкость и ответный выпад позволительны и допущены традицией».

Думается, столь длинная цитата из романа поможет тем, кто его не читал, понять, что они ничего не потеряли. А важно обрисовать эстетический замысел произведения, который разъяснен здесь автором с самого начала. Все судьбы героев, конфликты, затронутые в романе социальные проблемы рассматриваются через призму флотского каламбура, каютного трепа. С другой стороны, этот самый треп, его демонстрация на фоне какого-никакого сюжета и есть художественная суть произведения. Разумеется, если можно художественным результатом считать преподнесение читателю каютно-

го каламбура, нанизанного на расхожую сюжетную схему. А мы-то надеялись, что в «Затяжном выстреле», как, скажем, в «Тихом Доне», подлинный смысл первой фразы станет понятен читателю только по прочтении последней, то есть ждали за первой фразой нечто такое, что обещает тайну... А тут, оказывается, эстетическая задача до элементарности проста — выявить в жизни флота те стороны, над которыми могут покаламбурить молодые скучающие лейтенанты. Однако и такое произведение об армии, несмотря на то, что оно было написано достаточно давно, заставило обратить на себя внимание... Почему?

Видимо, прежде всего причина в том, что литература о жизни современной армии долгое время оставалась одним из самых слабых мест в ней.

Правда, на сей счет имеются настолько веские причины, что было бы крайне удивительно, если б вдруг все сложилось по-другому. Достаточно назвать хотя бы две из них.

В первую очередь необходимо отметить чрезвычайную сложность отыскания духовных, а следовательно, и созидания художественных ценностей на материале жизни армии мирного времени. С другой же стороны, авторы, бравшиеся за решение этой задачи, попадали в условия гораздо больших ограничений, чем в других областях литературы... Постепенно армейские повести и романы все в большей степени стали сводиться к нехитрому штампу, где, выражаясь казенным языком, заранее «положительно аттестованные» автором герои на протяжении повествования преодолевали искусственно возводимые для этого препятствия, проявляли при этом общеизвестные «лучшие» качества, за что неизменно вознаграждались полной и окончательной победой над силами зла, а также ответными «глубокими чувствами» прекрасных созданий, решившихся разделить с героями нелегкую участь армейской жизни и т. д. и т. п.

Штампованность ситуаций, ходульность образов постепенно стала общим местом, чуть ли не признаком такой литературы. Причем совершенно очевидно, что созидателями этих произведений мыслилось, как то предписывал кондовый соцреализм, безусловно положительное влияние на душу читателя, вселение в нее чувства оптимизма, веры в торжество справедливости... Нет необходимости говорить о том, что на самом деле получался прямо противоположный эффект. Собственно, как и почти во всем в этот так называемый застойный период.

— Ну что это? — могут нам сказать, — на каком, бишь, году перестройки все застойный период да застойный период. Вон сколько уж новой нашумевшей литературы, взрывающей армейскую тему,— бум. Тут тебе и Поляков, и Каледин, и Войнович... К сожалению, новая модная армейская проза в той же степени ориентирована на соцзаказ — только изменившийся.

Да и многое ли, собственно говоря, изменилось? Ну, подул весенний ветер перемен. Еще говорят: наступило потепление, оттаивание. Но вспомним: весеннее таяние прежде всего обнажает всякую всячину, выброшенную зимой за ненадобностью и лежавшую до поры под спудом. С потеплением все это начинает разлагаться и даже способно на какое-то время забить собой весенние запахи...

Как и в природе, в литературе, в том числе армейской, этот первый период весны неизбежен. Теперь, когда он, вероятно, подходит к концу, очевидно, что более всего для него характерна поспешная замена рафинированного, шаблонного и ходульного «добра» столь же преднамеренно и откровенно сочиненным злом. Дождавшись своего часа, оно безудержно вышло на страницы периодики и в первое время как нечто противоположное «застойной литературе» было благосклонно воспринято читающей публикой. Это характерно для многих нашумевших романов, повестей, рассказов последнего времени: от эстетически изысканного «Дикого пляжа» В. Москаленко до не выдерживающих мало-мальски серьезного литературного разговора «Ста дней до приказа» Ю. Полякова и рассказов А. Терехова, которого бывшие сослуживцы через «Красную звезду» безуспешно призывают посмотреть им в глаза. Все эти вещи объединяет плохо скрываемое литературной тканью какое-то злорадство по поводу того, что наконец удалось высказать прежде запретное.

Ошибочно думать, что конъюнктурщики «перестроились» только с началом перестройки в обществе. Еще при Брежневе некоторые особо тонко принюхивающиеся к политическому ветру почувствовали, что он перевернулся, что платить теперь будут не за показушные «подвиги» и «свершения», а за «гнильцо». Вспомним расцветшего тогда пышным цветом и ныне забытого Илью Штемлера с его под Артура Хейли написанными «Универмагами» и «Таксопарками». Сегодня курс конъюнктуры резко подскочил. Даже на искушенных читателей повести С. Каледина производят впечатление, хотя метод его литературы — штемлеровский: если у того действие разворачивалось в универмаге или в сфере такси, то Каледин также выбирает определенную отрасль жизни — вчера он писал о работниках кладбища, сегодня о стройбате, завтра... Впрочем, что будет завтра, определять не нам. Тут как раз надо обладать этими самыми сладострастно трепещущими ноздрями, что, разумеется, тоже — дар. Чей-нибудь...

Но, если с е м е н о б а б а е в щ и н а прошлых лет хоть как-то извинительна, поскольку она вышла из-под катка, прокатившегося по всей жизни, где не каждому быть Солженицыным, то конъюнктура на почве наступившей свободы не от некуда деться, а, так сказать, с жиру! Это же во сто крат больший грех. Это просто спекуляция, жульничество, тут не литература, а какой-то кооператив по скупке и перепродаже...

Типичный и, возможно, наиболее яркий пример — повесть С. Каледина «Стройбат».

Помню, что, когда ее читал, поймал себя на мысли: передо мной вовсе не «Новый мир», а какое-нибудь провинциальное издание или даже самиздатовский орган. Так ведь хочется считать, — думаю, всякий истинный литератор поймет это чувство, — что есть у нас в литературе нечто такое, что всегда останется литературой, несмотря ни на какие пристрастия, предрасположенности и перестройки. Лично для меня, как, видимо, и для многих, такое ощущение всегда было связано с «Новым миром». Даже в те времена, когда не все в нем нравилось, я старательно оберегал это чувство как некое святилище в себе от всевозможных подозрений и разочарований по поводу этого журнала, не позволяя усомниться в том, что «новомировский уровень» — это реальность. И вот теперь — невозможно отделаться от ощущения: что-то святое и тщательно оберегаемое не устояло. И горечь оттого, что это произошло безвозвратно, как, собственно говоря, всегда и бывает в таких случаях. Больше знаменитого «новомировского уровня» не существует. Ну хоть бы он в «Юности» эту повесть напечатал. А впрочем, теперь-то ясно, что вся эта комедия с первоначальным запрещением печатания повести различной цензурой, с пробиванием ее в печать, с задействованием самых высших политических эшелонов была задумана заранее. Иначе она вряд ли была бы напечатана. А будучи напечатанной, вряд ли была бы замечена. Да и кому в самом деле было бы интересно читать и говорить о том, как группа военных строителей занимается... Ну ясно, чем может заниматься стройбат в повести, написанной Калединым: стройбат ковыряется в нечистотах. И нечистоты эти, их запах являются чуть ли не главным героем повести. И были бы главным, если б не... Среди всех этих стройбатовских «недоделок», которых... «щипцами тащили из пятнадцатилетней матери, свернув шею, за что и в стройбат попал», был один прекрасно положительный человек. Ну ясно, кто может быть таким человеком у Каледина — красивый, но грустный еврей Фишель Ицкович. Он у него и туалеты-то чистит, как священнодействует, он и лекарь, и нравственный воспитатель. В общем, полная противоположность всему остальному стройбату. И в конечном итоге Ицкович совершает сверх для себя героический поступок — защищая товарища, убивает ударом лопаты караульного. И, разумеется, безнравственное стройбатовское окружение «закладывает» прекрасного и несчастного Ицковича, а само продолжает безмятежно существовать в своей глупости и грязи. А для того, чтобы никто не мог усомниться в подлинности этой истории, никто из тех, кто как-то соприкасался с жизнью, в том числе с жизнью реальных стройбатов, Каледин избрал местом действия своей повести недоступную сибирскую глухомань, теперь уже довольно далекие 70-е годы, случайно и временно созданный для пересылки бывших заключенных строительный батальон. Ну так и назвал бы свое произведение Каледин, как-нибудь «Чрезвычайный и из ряда вон выходящий подвиг Ицковича в необычном строительном батальоне», да и напечатал бы его где-нибудь в забайкальской областной газете, если бы, конечно, забайкальская газета согласилась напечатать повесть, в которой даже от лица автора говорится так: «Воинская служба рядового Константина Карамычева заканчивалась. Последние восемь месяцев Костя пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал: маслица сливочного заныкать, сахарной пудры — бабам в поселке почему-то очень нужна, — изюмчика килограмм-другой, и пожалуйста: ханка в любом количестве, жри — не хочу». И разговора бы никакого не было.

Заранее прошу прощения за тон, но что делать — тут вообще бы ничего не следовало говорить. Да разговор-то вышел уже на слишком серьезный уровень. Ну, честное слово, промолчал бы. Но ведь говорят же, и не только о том, что Каледину не давали напечатать повесть. Впрочем, судите сами.

«...Военные, несомненно, озабоченные честью собственного мундира, до сих пор неохотно идут на признание, по существу, общеизвестных фактов и традиционно непримиримо настроены против всякой критики со стороны. Не так давно они пускали критические залпы против талантливой повести Ю. Полякова «Сто дней до приказа», некоторых других вещей. Неудивительно поэтому, что столь нелегким был путь к журнальным страницам и повести Сергея Каледина «Стройбат»...

Правда ета у Каледина, как правило, весьма горька, иногда до отвращения неприглядна. Вообще следует заметить, что мы не привыкли к такой шокирующей правдивости... (Так правда или правдивость? — *А. П.*).

Н о п р а в д а к а л е д и н с к и х п о в е с т е й (каково! Разрядка моя. — *А. П.*) не сочиненная, а вполне реалистическая... Она всепобеждающа, как всякая истинно художественная правда...

Во всяком случае, можно с определенной уверенностью предположить, что те войсковые подразделения, которые так своеобразно «отличились» 9 апреля в Тбилиси, воспитывались в особенной нравственной атмосфере и усвоили особые нормы человеческого поведения, во многом совершенно неприемлемые для нормального демократического общества, но чрезвычайно близкие к тому, что мы увидели в повести Сергея Каледина». Вся эта длинная цитата приведена из статьи Василя Быкова «Обоснованная тревога» («Знамя», 1989, № 8).

Разумеется, каждый, как говорится, волен и каждый свободен, и о вкусах не спорят. И каждый при желании имеет право считать Каледина выдающимся писателем, а «Стройбат» великим произведением. И уж, конечно, нельзя отнять это право у Василя Быкова. Волен и свободен. Да вот как-то не производит цити-

руемая статья впечатление вольно и свободно написанной. Даже лексика какая-то заемная из времен, когда писание подобострастных статей было всеобщей нормой: «в свете недавних событий», «всепобеждающая правда» и т. д. Конечно, какое-то чувство В. Быкову подсказывает, и он не называет произведение талантливым, применяя это определение как бы походя к повести Ю. Полякова... Вроде бы и не о том и не о другом, а при случае можно и отказаться от такой оценки... Так, видимо... А почему же все-таки талантливо? Да потому, что критические стрелы посылают военные. А во что же еще могут эти тупоголовые бездари посылать свои стрелы, как не в талантливое? Логично... Было бы неплохо к этому добавить и чего-нибудь по существу, но, увы. А может быть, именитый писатель просто не читал ни «Ста дней...», ни «Стройбата»?.. Ну чего стоят эти выражения: «правда калединских повестей». Да и судя по приведенному тексту, Василь Быков не видит разницы между правдой и правдивостью... Ох и любят поминать это слово теперь по всякому поводу и уж вовсе без всякого повода.

Вот и Бенедикт Сарнов, предварительно обороиив свою позицию перечнем имен из Пушкина, Достоевского, Щедрина, Толстого и др., тоже говорит о правде, на этот раз о правде Войновича.

«Писатель-сатирик действительно искажает, деформирует изображаемую им реальность. Но делает он это с той же целью, какую ставит перед собой автор психологических повестей и романов: чтобы как можно резче и выразительней запечатлеть в создаваемых им художественных образах понятую им правду» («Юность», 1989, № 2).

Б. Сарнову в данном случае, конечно, и в голову не приходит вспомнить, что тот же Достоевский только с точки зрения критиков, подобных Б. Сарнову, является «автором психологических романов». Сам же он против этого категорически возражал. «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». «При полном реализме найти человека в человеке». Вот как мыслил о себе великий писатель.

Войнович же умудряется обнаружить скотину даже там, где человек присутствует несомненно. Так что цели совершенно противоположные, и классика здесь всуе упомянута явно без всякого на то основания.

Кстати, вся эта привычка к эквилибристике со словом «правда» еще раз подтверждает нашу догадку, что подлинный источник модной армейской прозы там же, где питается и то, против чего она якобы протестует. В стране, где по-прежнему существует беспрецедентно большое количество «правд», начиная от просто «правды», комсомольской, пионерской, ленинской, орловской, курской и др., можно без всякого смущения поставить в этот строй и «правду» Сарнова—Войновича, и Каледина—Быкова и т. д. В данном случае, как, впрочем, и во многих других, нашим правдопроизводителям очень подходит пресловутая структура, созданная в период самой беспардонной монополии на правду.

Довольно шумную славу приобрела напечатанная журналом «Юность» повесть Ю. Полякова «Сто дней до приказа». И в принципе со многими положительными отзывами можно было бы согласиться, однако при одном условии: если б это произведение не было обозначено словом «повесть». Даже с большой натяжкой его нельзя отнести к жанру художественной литературы. Утратив же на сегодняшний день сенсационность, оно и публицистикой представляется весьма посредственной, поскольку в нем заявлена только некая обида на существующее зло и нет попытки вскрыть его сущность.

Причем указание на источник зла слишком прямолинейно и, как, видимо, всегда в таких случаях бывает, слишком поверхностно. Соблазнительно, конечно, было, так сказать, «пробить» тему неуставных взаимоотношений, вывести ее к широкому читателю, принеся пользу делу и заслужив одновременно лавры первооткрывателя, однако возникает впечатление, что вся энергия Юрия Полякова уходит исключительно на пробивание. В 1988 году я участвовал в обсуждении его повести в Центральном Доме литераторов и в процессе этого обсуждения как-то первое время не мог понять, почему приверженцы прямо противоположных точек зрения так уверенно отстаивали свою позицию, не сомневаясь в правоте. Только потом уже сообразил, что и те и другие по-своему правы. Просто речь они вели о разных вещах. Среди хваливших повесть в основном были люди, далекие от армии. Они приветствовали сам факт выхода темы к широкому читателю. Среди отрицательно оценивших повесть — в первую очередь военнослужащие, офицеры, воспитатели. Для них тема неуставных отношений давно открыта самой жизнью, и самой жизнью давно уже со всей явственностью поставлен вопрос: что делать? Как раз на него-то никаких ответов в книге Ю. Полякова нет.

Что и говорить, современные армейские проблемы крайне сложны. Ну как, например, соединить в сознании бесспорную истину о невозможности победы в термоядерной войне с необходимостью ежедневного в высшей степени напряженного воинского труда по совершенствованию своей способности вести войну? Кажется, только наметилось общенародное понимание «интернационального долга», о чем свидетельствуют мероприятия по выводу наших войск из Афганистана, как для кого-то со всей остротой возникли нравственные вопросы, связанные с выполнением воинского долга внутри страны. Между тем мало кто из пишущих задумывается, что военнослужащие-то для себя каждый раз решают эти проблемы в реальной жизни, расплачиваясь порой за ошибочные решения собственной судьбой. Редко можно заметить у пишущего чувство ответственности, которую он должен был бы на себя по логике вещей возлагать, проникая в «запретную тему». Потому и вызывают ощущение неправды многие произведения как публицистических, так и художественных жанров.

В неправедности наших модных авторов по отношению к тому, о чем они пишут, убеждает не только их отношение к армии. В не меньшей степени, например, о какой-то ущербности этих произведений свидетельствует тот факт, что ни в одном из них нет ни одного — хотя бы сколько-нибудь вызывающего читательское сочувствие женского образа. В таком «немужском» писательском поведении и стилист А. Азольский, и не искушенный в слове А. Терехов оказываются весьма близкими друг другу. Вот как посредством своего авторизованного героя — незадачливого солдата из рассказа «Дурачок» — откровенничает А. Терехов, рисуя свое «идиллическое» состояние из того периода жизни, когда он, по его словам, был «человеком»: «А вечером я вспомню толстую Ирку, однокурсницу, как я ее мял в подъезде, с силой шаря руками по юбке, и влажными от пота пальцами лез под толстую кофту-олимпийку, а она противно и притворно визжала». Право же, мало чем в этом смысле от начинающего А. Терехова отличается искушенный А. Азольский, который на протяжении целого романа не увидел во всей прекрасной половине г. Севастополя ничего, кроме предмета для матросских увеселений и вспышек вожделений скучающих лейтенантов...

Все же с легкостью берущиеся писать об армии, видимо, соблазняются кажущимся примитивизмом воинских отношений. Это расхожее мнение особенно выгодно для тех, кто приобрел уже широкую популярность, однако собственной ощутимой литературной интонации у него еще нет. В этом случае можно использовать прием, к которому прибегают некоторые «дяди», «сюсюкая» в разговоре с детьми и полагая, что таким образом они становятся ближе к детям. «Сюсюканье» на армейскую тему создает иллюзию художественности и настолько привлекательно для иных, что они ни в какую не хотят от него отказаться.

* * *

А может, мы ломимся в открытую дверь, пытаемся доказать всем ясное с самого начала? Может быть, литература об армии в наше в целом мирное время и не может быть другой? Вот и такой серьезный и ответственный человек, как Анатолий Ланщиков, в недавнем интервью «Советскому воину» высказал сомнение о возможности написать крупное произведение на армейской тематике мирного времени. Так сказать, сама фактура не позволяет. Трудно против этого что-либо возразить. Но попробуем обратиться к той части современной армейской темы, где фактура, казалось бы, бесспорна.

АЛЛАХ ВЕЛИК! НО ТЫ ЕМУ — ЧУЖОЙ

Что прежде всего заставляет задуматься в «афганской» прозе, если оценивать ее по самому большому счету? За редким исключением в ней, как ни странно, почти нигде нет поступка героя. Кажется, в некоторых рассказах А. Проханова, О. Ермакова и некоторых других такие поступки совершаются, но не эта проза прежде всего обращает на себя внимание. В большинстве же случаев поступки в них не мотивированы внутренним развитием самого произведения... Вся беда в том, что в них нет живых, реальных характеров, нет современного живого, реального человека военного, которого писатель-художник и должен предъявить миру.

В этом смысле, скажем, нет поступка в повести Сергея Дышева «Да воздастся» («Юность», 1989, № 8). Родственники солдата Прохорова получили на него похоронку. Прохоров, оставшийся в живых один из целого взвода, пытается отстоять честь погибшего командира, обвиняя тем самым вышестоящего. Есть тут и начавшаяся вроде бы счастливо, однако не выдержавшая испытаний любовь, линия, необходимая для серьезной прозаической вещи. Словом, крупных событий в повести — хоть отбавляй. Но вот характера нет. А следовательно, нет и поступка, убедительного, в котором только выявляется характер. Да и откуда ему взяться? «Прохоров вспомнил афганскую пыль — желтовато-коричневую, едкую, от которой не было никакого спасения. И подумал, что даже пыль наша — роднее и милей». Ну не может мало-мальски образованный человек в нашем веке так думать, а уж писатель писать и подавно (об этом давно уже все написано), я уж не говорю о том, что центральному журналу печатать такую прозу должно быть неловко. А вот следователь, допрашивающий Прохорова после выхода его из плена, изможденного, израненного... «Старший лейтенант выпрямился и проницательным взглядом посмотрел на Степана...

— Опять не вяжется, — после паузы задумчиво произнес следователь...— Прохоров, начистоту, а может быть, вы попали в плен еще до боя? — Следователь смотрел пристально, не мигая... — Спокойней, товарищ солдат. Мое право — задавать любые вопросы... Сведений, составляющих государственную тайну, не разглашали? Никаких заявлений перед микрофоном тоже не делали? Имейте в виду, все ваши показания будут проверять и через особые источники, — скороговоркой произнес следователь».

Возможно, Дышеву где-то такой следователь и попался на афганских дорогах, но как специалист, довольно долгое время проработавший в органах военной юстиции, могу заверить, что образ этот явно заемный, взятый из расхожих описаний работников правоохранительных органов времен тридцатых годов...

Блестяще выписанный Александром Прохановым прапорщик Власов из рассказа «Родненький» («Москва», 1989, № 2), попавший к душманам и оскопленный ими, возможно, единственный образ в этой литературе, в котором поведение героя, его духовный мир, выраженный через поступок, приводит к закономерному результату. Слепая жестокая сила, захватившая Власова в плен в один из последних дней его пребывания в Афганистане, как бы соответствует столь же жестокому и беспощадному по отношению к другой жизни внутреннему миру прапорщика Власова, приспособившегося как к мирной жизни, так и к военной — на продовольственном складе. И это его стремление приспособиться везде и ко всему в Афганистане не проходит безнаказанно: «Понимая, что у своих, не испытывал радости. Испытывал тупую, ровную боль. Болело тело, болела душа, болел воздух, окружавший лица несущих его солдат, болело небо и утренний солнечный свет. И он знал, что боль эта будет всегда, будет с ним, никуда не исчезнет».

Обращает на себя внимание, что наибольшая эстетическая и нравственная напряженность в «афганской» литературе возникает как раз, когда речь заходит об интимных сторонах жизни. Вот и в повести Федора Ошенева «Да минует вас чаша сия» («Литературная учеба», 1989, № 4) герой ее — попавший в плен офицер, изувеченный душманами: у него отрезали руки и ноги,—мучительно пытается приспособиться, вернуться к той жизни, которую у него отняла война. И как его принимает эта жизнь? И что она такое? И что он такое в этой жизни? Особенно поражает финальный эпизод, когда герой на пути нового становления как «человека в общепринятом смысле» требует у родителей для себя женщину. И когда отец не в состоянии из-за предложенной цены в очередной раз привести к калеке сыну проститутку, облегчить страдания сына своим телом предлагает мать...

Более невыносимого нравственного излома, на котором бы испытывалась душа человека, кажется, просто невозможно придумать. Но вот что странно. Неужели никаких таких событий, связанных с чисто телесными проблемами, не было, скажем, во время Великой Отечественной войны? Были, конечно, но они, видимо, не просились столь навязчиво в память народную об этой войне, поскольку было нечто неизмеримо более важное, а вот последняя война настойчиво заполняет память о себе именно этим.

Может быть, главная вина правительства, начавшего эту войну, состоит в том, что оно послало солдат туда, где нельзя было совершить подвига, который бы остался в веках? Может быть, там в самом деле было только место для телесных страданий?

Во всяком случае приходится констатировать, что на афганской прозе сказалось свойственное для нашего века стремление рассматривать любую проблему сквозь призму секса. И, к сожалению, произведения, где это присутствует в наибольшей степени, обратили на себя внимание читателей.

Пожалуй, исключением из этого правила является опять-таки рассказ А. Проханова «Кандагарская застава» («Наш современник», 1989, № 5). Старший заставы лейтенант Щукин изо всей силы своего существования хочет понять, проникнуть в мир Афганистана, чтобы этот мир, где он вынужден какое-то время жить, стал такой же жизнью, какой является ему в минуты грез и воспоминаний жизнь далекой родины. Но как это сделать? Ведь он вынужден соприкасаться с этим выжженным миром только через призму выполнения боевой задачи... Вот он смотрит через окуляры бинокля на искореженную, изрытую взрывами, усеянную подбитой, полусгоревшей техникой землю. Он смотрит как командир, оценивая боевую обстановку. Он обязан смотреть именно так. И поэтому он, переводя взгляд с одного объекта на другой, повторяет про себя: «Так хорошо, нормально», «И здесь тишина», «И здесь как будто спокойно». Он как бы вынужден не интересоваться ранами этой земли... И только каким-то боковым зрением, как нечто незначительное, попутно отмечает он для себя горе и трагедию земли, где происходят события, в которых он принимает участие. На большее он не может найти ни времени, ни чувств. Как командир, на большее он не имеет права.

Мучает лейтенанта мысль о неполноценности отношений к этому миру. И он в конце концов приходит к естественной мысли о том, что надо уходить, и конечно же он уйдет. Но вот перед ним афганский командир Джабар, у которого душманы убили всех родственников и который будет сражаться до последнего. Он не хочет, чтоб уходили. Можно ли решить этот вопрос лейтенанту однозначно? Не проще ли отстраниться от него и просто делать свое дело?.. И он отстраняется... Но вот убит его подчиненный, один из братьев Благих. И тут способность лейтенанта к отстранению от не совсем чужого, но все же не совсем своего горя становится особенно разительной. Какая бездна лежит между горем младшего брата убитого: «Сеня! Сеня!.. Да что же я мамке скажу?..» С безусловно сочувственным, но все же отстраненным участием лейтенанта, с его решительной фразой: «Надо ехать, Благих». Вот она, разница отношений долга — интернационального или какого еще и братского отношения. Так станет ли для лейтенанта Щукина и его родины боль этого иного мира, чужой земли своей, братской болью? Щукин возвращается на бронетранспортере на заставу, оставив в медпункте убитого подчиненного. «В лицо лейтенанту ударила песчинка — крохотный, оторвавшийся от далекой горы кристаллик колючего камня. Нанес малую ранку. И лейтенант, глядя на трассу, несколько секунд чувствовал, как горит на лице эта ранка».

НЕ МИР, НО МЕЧ ПРИНЕС ВАМ

Время неумолимо в своей стремительности. Оно заметно уходит вперед даже за тот короткий промежуток времени, когда писалась эта статья. Поначалу предполагалось в последней ее части проанализировать откровенно антиармейскую публицистику и высказать по этому поводу в очередной раз недоумение, втайне надеясь на очередное сочувствие в таком отношении к антиармейской публицистике патриотов-читателей. И это было бы, конечно, не бесполезно. Но сейчас важнее сказать о другом: наше повсеместно высказываемое недоумение по поводу наскоков на армию явно з а т я н у л о с ь. Пора переходить к анализу причин, характеристике составляющих антиармейское движение сил, пора попытаться предположить, чего нам от всего этого ждать в будущем...

Сегодня-то дня не проходит, чтоб кто-нибудь не съязвил чего-нибудь по поводу армии. Вот, скажем, печатает свое открытое письмо Андрей Нуйкин, обращая его «ко всем бюрократам, коррупционерам, взяточникам, военно-промышленным ястребам, дельцам теневой экономики, мафиози и прочим захребетникам Советского Союза».

Я уж не говорю, что для военного оскорбительно само перечисление адресатов этого письма. Разумеется, военно-промышленные ястребы, с точки зрения Андрея Нуйкина и иже с ним, не что иное, как люди, которые продолжают считать необходимым сохранять боеготовым и укреплять вооруженные силы. Какое-то иное толкование употребленного Нуйкиным термина просто трудно предположить. И вот эти-то люди ставятся Нуйкиным в один ряд с мафиози и взяточниками... Кстати, не относит ли к числу захребетников А. Нуйкин и себя, поскольку он, видимо, не участвует в производстве материальных благ непосредственно? А. Нуйкин считает военных даже более опасным явлением, чем партийно-бюрократический аппарат. «Самый дешевый и эффективный способ обрести некоторую популярность — «выдать головой» народу для утоления его гнева партийный аппарат... Армии такое по плечу». Ну какова наглость! Несколько лет уже этот самый аппарат и в хвост и в гриву честят левые радикалы, среди которых не последнее место и у нашего автора, а винят за это военных, которые если чем и отличаются, то только не этим. Вот уж поистине с больной головы на здоровую.

Неужто только за этот пресловутый аппарат так переживает А. Нуйкин? Нет, оказывается, не только. Так осуществлению какой же цели может помешать армия? Нуйкин этого не скрывает. «Но, может быть, неформалы в случае переворота сумеют в з б а л а м у т и т ь (разрядка моя. — *А. П.)* страну своими митингами? Охо-хо, где они будут, эти неформалы, если исходить из того факта, что переворот уже состоялся?» А. Нуйкину нужна страна во взбаламученном состоянии. Другого он просто и представить не желает. Армию он рассматривает лишь как элемент в з б а л а м у ч е н н о г о государства. И она раздражает его как препятствие на пути к взбаламучиванию. «Так что без армии сегодня народ в стойло не загонишь! Реально ли включение нашей армии в политическую борьбу?

Помнится, на «круглом столе» в журнале «Век XX и мир» я спросил у представителей военного ведомства: а с кем окажется армия, если кто-то попробует силой остановить перестройку? Долго после этого и в частных, и в официальных документах на мою бедную голову сыпались гневные командирские выволочки. Суть их одна: как посмел такое спрашивать?! Совсем непонятное раздражение. Я бы, например, на аналогичный вопрос с гордостью ответил, что в случае необходимости готов взять оружие в руки и защищать перестройку! Но для военных чинов невинный мой вопрос почему-то оказался неудобным, бестактным. Так и не получил я на него до сих пор прямого ответа».

Ну каково? Что это — глупость или провокация? Что это за сила, которая может настолько противостоять перестройке, что даже наша могучая армия не в состоянии с ней справиться и потребуется еще участие Нуйкина, с гордостью берущего оружие в руки? И что, армия теперь уже не состоит из народа, и почему, собственно, Нуйкин себя к народу считает ближе, чем любой из военных? И неужели Нуйкин не поймет, что ответ на его вопрос для военного, если он снизойдет до ответа, был всегда один: Родину армия призвана защищать, и ничего более. Если б у Нуйкина не было столь примитивного представления об армии, которое он нам продемонстрировал в этой статье, он, возможно, таких вопросов не задавал бы.

К чему мы так долго на всем этом останавливаемся? И почему это вдруг антивоенные выступления стали в последнее время так тесно переплетаться с антирусскими? Неужто русский народ настолько воинствен? Разумеется, дело в другом. Россия и армия по своей природе — силы объединяющие, консолидирующие, как это теперь принято говорить. Они действительно главное препятствие на пути к пресловутому «взбаламучиванию» государства. Не надо думать, что мы во всех случаях подозреваем некое прямое умышленное стремление к этому. Сознаем, что не все участвующие во «взбаламучивании» отдают себе отчет, куда они стремятся. Не могут же они в конце концов не знать хотя бы вот эту высказанную Монтенем и тысячекратно подтвержденную историей истину: «Те, кто расшатывает государственный строй, первыми чаще всего и гибнут при его разрушении. Плоды смерти никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие».

И все же объективный интерес вполне понятен. На сегодняшний день понятна и

тактика взбаламучивания. Радикалы не только пытаются занять ключевые позиции в нещадно поливаемой ими грязью партии, но и в русском патриотическом движении. Что касается отношения к армии как звену в цепи этой деятельности, то здесь мы наблюдаем переход от оголтелых и огульных нападок на армию к борьбе за завоевание армии как части борьбы за власть. Каким путем это делается, также давно и хорошо известно. Наши публицисты, судящие сегодня об армии, часто похожи на того политика из «Разговоров о войне...», написанных Владимиром Соловьевым еще в прошлом веке: «Войска в известных размерах остаются; и поскольку они будут допущены, то есть признаны необходимыми, от них будут требоваться те же самые боевые качества, что и прежде». И ведь военный человек в том диалоге тогда возразил: «Кто же вам даст эти требуемые боевые качества, когда первое боевое качество, без которого все другие ни к чему, состоит в бодрости духа, а она держится на вере в святость своего дела».

И вот что говорит этот генерал далее: «Спокон веков и до вчерашнего дня всякий военный человек — солдат или фельдмаршал, все равно — знал, и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему — не полезному только или нужному, как полезна, например, ассенизация или стирка белья, а в высоком смысле хорошему, благородному, почетному делу, которому всегда служили самые лучшие первейшие люди, вожди народов, герои. Это наше дело всегда освящалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщею молвой. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаем, что все это нам нужно забыть и что мы должны понимать себя и свое место на свете Божием в обратном смысле. Дело, которому мы служили и гордились, что служим, объявлено делом дурным и пагубным, оно противно, оказывается, Божьим заповедям и человеческим чувствам, оно есть ужаснейшее зло и бедствие, все народы должны против него соединиться, и его окончательное уничтожение есть только вопрос времени... Так вот я и спрашиваю, как нам теперь быть? Чем я, то есть всякий военный, должен себя почитать и как на себя самого смотреть: как на настоящего человека или как на изверга естества? Должен ли я себя уважать за свою посильную службу доброму и важному делу или ужасаться этого своего дела, каяться в нем и смиренно умолять всякого штатского простить мне мое профессиональное окаянство? ...военное дело лишается своей, как это говорят по-ученому, «нравственно-религиозной санкции». А между тем, как замечает этот генерал: «Все святые собственно нашей русской церкви принадлежат лишь к двум классам... Или монах, или воин». А к чему приводит этот «гражданский» взгляд на армию? А вот к чему: «Если на военную службу все, начиная с начальства, станут смотреть как на неизбежное покуда зло, то, во-первых, никто не станет добровольно избирать военную профессию на всю жизнь, кроме разве какого-нибудь отребья природы, которому больше деваться некуда; а во-вторых, все те, кому поневоле придется нести временную военную повинность, будут нести ее с теми чувствами, с которыми каторжники, прикованные к своей тачке, несут свои цепи. Извольте при этом говорить о боевых качествах и о военном духе!»

Так вот она, цель: окончательно лишить военное дело святости. Распространить в армейской среде нравственно-психологическую атмосферу «отребья природы». Но если ставящие цель понимают это, следовательно, у них есть какие-то расчеты, связанные с использованием вооруженного «отребья природы». В таком случае все эти демагогические рассуждения о возможности участия армии во внутренне-политической борьбе выглядят слишком зловеще. За словами опасения, то и дело произносимыми левыми радикалами, явно стоит расчет на участие армии в такой борьбе, нескрываемое намерение втянуть вооруженные силы во внутренне-политическую борьбу. Однако для этого их сначала надо видоизменить, превратить в это самое «отребье природы». Первым же шагом, как и в случае с партией, как и с российским патриотическим движением, может быть только раскол армии как единого целого организма.

Вот чего стоит постоянное охаивание желтой прессой Вооруженных Сил, поношение воинского труда и одновременное педалирование на бытовых трудностях военнослужащих. Вот чего стоят их псевдомилосердные разговоры о бывших «афганцах». На словах эта пресса сочувствует пострадавшим в войне, но вместе с тем именно она наносит им самый тяжелый удар, отнимая возможность у людей, честно выполнявших свой долг, верить в святость дела, за которое они пострадали, а их товарищи отдали свои жизни. Между тем как раз армия в этом случае заслуживает упрека меньше, чем кто-либо. Перед армией всегда стоит одна ее главная и неотъемлемая задача — быть рискующей частью общества. Эту свою святую задачу армия выполнила и в данном случае. За остальное она отвечать не может и не должна. Но, видимо, желание опорочить, чтобы затем подчинить своему влиянию, настолько велико, что стремящиеся к этому не смущаются никаким абсурдом. Например, чуть ли не высшим приговором этой войне считается ее сравнение с вьетнамской войной. Причем это делается людьми, которые одновременно рассматривают страну, развязавшую эту войну, чуть ли не в качестве образца для нас в деле демократического устройства.

Стремление к расколу целостного организма армии, похоже, настолько велико, что радикалов не смущает ничего. Даже осознание того, что такой раскол был бы устранением главного материального препятствия на пути к гражданской войне, которая в нашей стране была бы не чем иным, как началом третьей мировой.

* * *

Среди собравшихся у сослуживца в глаза бросался скучающий молодой человек. Оказалось, сын сослуживца. Прошло много лет, и я не узнал его. Офицер. Только что уволившийся по сокращению штатов. Скучен оттого, что не знает, куда теперь себя девать. Специальность его: инженер-электрик летательных аппаратов, в которую он вложил всю наличную силу молодых способностей, может пригодиться только на военной службе. Но оставаться далее на службе, тем более в Закавказском военном округе, где к военным сами знаете, какое отношение, смысла, по его словам, не было. Служить тяжело, а теперь говорят, что это никому не нужно. Уволился при первой возможности. И вот не знает, что делать. Друзья предлагают пойти в кооператив — какой-то разгрузочный, каких-то магазинов. Сам, конечно, понимает, что это такое, но денег-то можно заработать столько, что и генералу не снилось...

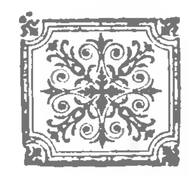
А как же быть с летательными аппаратами, а как же быть с литературой? Да что с литературой? С ней, как, впрочем, и с летательными аппаратами, как, впрочем, и со всем остальным. Кто знает и умеет, должен отнестись с любовью; тот, кто любит, должен наполнить любовь умением.

Только на таком пути возможно обретение подлинности. И никакие приемы не помогут миновать этот путь. Вот, скажем, в том же «Затяжном выстреле» реминисценция гоголевской «Шинели», казалось бы, достойна всяческого восхищения. Но что такое прием, не наполненный духовным содержанием, — всего лишь каркас, как бы искусно он сделан ни был. Вот и сакраментальная фраза, звучащая в романе, о том, что вся русская литература вышла из «Шинели», наводит на прямо противоположную мысль: вся русская литература вышла из «шинели», а Авольский хочет войти в нее, уместнее будет сказать, натянуть на себя «Шинель». И даже горький опыт незабвенного Акакия Акакиевича, коему приобретение одежды, как известно, доставило слишком кратковременную радость и не избавило от печалей, мало чему, как видно, учит.

И все же нельзя сказать, что в нашей литературе вовсе нет примеров обретения подлинности. Вот ведь вроде и не является Василий Белов «специалистом» в военной теме, и пребывание на военном корабле для него лишь случайный эпизод в жизни, да и произведение-то свое он назвал очерком — «За дальним меридианом». Но какова сила художественности! Судите сами. «Куда мы идем? Я не знал, где восток и где запад, не знал, чем может все это кончиться и кончится ли вообще. Всюду была ночь, темень и бесконечно-тягостный океан. И вдруг в этой тревожной темени, в этом железном гуле и тягостно-необъятном шуме воды по-домашнему щелкнул невидимый репродуктор. Кто-то хрипловатым от усталости, но не теряющим иронически-добродушного оттенка голосом произнес:

— Первой боевой смене пить чай.

И все сразу встало на свои места: и в сердце и в океане...»



История Отечества: документы и судьбы

Сведения об Иване Лукьяновиче Солоневиче (14.11.1891—24.04.1953) пока скудны. Родом белорусский крестьянин. Подвизался в спорте (борьбе), в журналистике. До революции сотрудничал с журналом «Новое время» Суворина. Недоверчиво относился к предреволюционной «свободолюбивой» пропаганде, но, видимо, окончательно оценил ее по достоинству, попав в советские лагеря, как и миллионы «недостреленных» рабочих и крестьян, от имени которых узурпировавшая власть группа политических экспериментаторов осуществляла геноцид своего народа.

В 1934 году Иван Солоневич вместе с сыном бежал с Беломорканала, умильно описанного Горьким. Знающие люди рассказывают, будто автор «России в концлагере» (первая книга Солоневича) организовал в лагере что-то вроде волейбольной секции и, тренируя охранников, сумел усыпить их бдительность. А граница с Финляндией была недалеко...

«Народный монархист» Иван Лукьянович входит в контакт с монархически настроенной частью эмиграции. Жил в Болгарии. Перед самой войной вынужден был переехать в Германию, где пытался по мере сил противодействовать самоубийственной для немцев русофобской пропаганде. После начала войны долгое время жил в Аргентине. В Буэнос-Айресе и сейчас издается русская монархическая газета — «Наша страна», основателем и первым редактором которой был И. Л. Солоневич. Девизом газеты ее основатель выбрал слова: «Общая линия «Нашей страны» есть по своему существу столыпинская линия...»

«Народную монархию» Солоневич писал сразу после войны. И потому книга дышит гордостью за русский народ, только что еще раз явивший миру силу и величие своего духа во всей полноте. Уместно подчеркнуть, что Солоневич ратовал не за сословную, а за народную монархию.

Концепция (если можно так выразиться, ибо Солоневич в своей работе выступает против всяких концепций на историю), лежащая в основе книги, весьма проста — это взгляд на русскую историю с точки зрения простого русского крестьянина, с присущим ему здравым подходом. Эта предельная трезвость взгляда, здравый смысл и чеканность формулировок Солоневича как воздух необходимы сегодня, когда расплодилось так много чисто умозрительных, а зачастую и намеренно лживых «взглядов» на прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

Нам остается добавить, что глава «Дух народа» — центральная в книге Солоневича. В ней затрагиваются в той или иной степени все мотивы и темы этой объемистой работы.

ИВАН СОЛОНЕВИЧ

ДУХ НАРОДА

БЕЗ ЛИЦА

Свою знаменитую книгу Д. Менделеев назвал «К познанию России». Эта книга действительно много сделала «к познанию России». Но России в том разрезе, в каком ее рассматривал Д. Менделеев, оказалась только пространством, территорией, страной, в которой некий, нам, в сущности, вовсе не известный народ, народ «Х», строил, строит и будет строить свое хозяйственное бытие. Вместо русского народа на той же территории мог оказаться и всякий другой народ, — выводы Д. Менделеева были бы приложимы и к нему.

Приблизительно на той же точке зрения стоят и иные исследователи русских судеб. Сократовский рецепт «познай самого себя» выполняется так, как если бы мы в целях самопознания стали бы изучать: квартиру, в которой судьбе было угодно разместить нас на постоянное жительство, соседей, которыми судьбе было угодно нас снабдить, окружающий ландшафт, систему отопления и дыры в крыше. Жилец этой квартиры, с его талантами и темпераментом, привычками и формой носа, как-то остался вне внимания исследователей. Им, собственно, должна была заниматься история. Вот история и повествует нам о прошлом и квартиры, и жильца: какие там были пожары, как туда врывались воры, какие семейные дрязги происходили под крышей нашего «месторазвития» и как, в сущности, малопонятным путем стены этой квартиры раздвинулись на одну шестую часть земной суши. Молчаливо предполагается, что сам жилец тут ни при чем. Были такие-то и такие-то географические, климатические, экономические и прочие явления, обстоятельства и даже законы — и вот они-то автоматически создали Империю Российскую. А жилец? Жилец тут ни при чем.

История страны должна была бы быть биографией народа. Историки, в общем, и пытаются быть биографами. История Апеннинского полуострова — страны, которая раньше была населена римлянами и теперь населена итальянцами, делится на биографию двух народов: одного, который создал Римскую Империю, и другого, который Римской Империи не создал. Людей интересует не страна, а народ. Не столько география, сколько биография. Но биографии народов у нас, в сущности, нет.

Если вы возьмете в руки любую биографию любого великого человека, то вы сразу найдете в ней попытки установить определяющую черту характера этого человека: его «доминанту», как это назвал бы я. Мальчишка Ломоносов, с его знаменитыми тремя копейками в кармане и с его жаждой науки; Эдисон, с его типографией в вагоне железной дороги; Пушкин, с его царскосельскими стихами; Наполеон — в военном училище; Ленин — в гимназии или Бисмарк в своем Шенхаузене — у всех них с самого юного возраста четко и ясно проступает доминанта их характера, то, что впоследствии определит их судьбы, то, что как-то отличает их от других людей — от их сверстников, однокашников и даже братьев. Никто и никогда не пытался установить «закона», по которому Ломоносов стал ученым, Эдисон — изобретателем, Пушкин — поэтом и прочее, — но всякий историк норовит установить закономерность, следуя которой народ послушно шествует по путям, предуказанным Спенсером, Контом, Гегелем, Киплингом, Марксом, Рорбахом, Лениным, Розенбергом и еще несколькими сотнями философов, историков, геополитиков, мыслителей, пророков и прочих светочей человечества.

На путях всех этих шествий происходит целый ряд неприятностей. Во-первых — светочей развелось до очевидности слишком много. Во-вторых, те пути, которые они нам освещают, ведут в диаметрально противоположные стороны. В-третьих, все законы, которые они для нас открыли, — полностью исключают друг друга. В-четвертых — в силу всего этого, вместо дальнейшего продвижения по путям прогресса и прочего, мы погружаемся во все больший кабак.

Древний Рим создал империю, которая в смысле организации человеческого общежития стояла выше сегодняшней Европы настолько, насколько современная Европа стоит выше Рима в техническом отношении. Самолетов у Рима не было, но были и водопроводы, и всеобщее обязательное обучение — многое такое, чего нет и сейчас. «Науки» в Риме не было. Место сегодняшних светочей человечества там занимали авгуры. Они гадали по внутренностям жертвенных животных и результаты своих «научных» исследований сообщали массе в качестве того, что мы сейчас назвали бы «научной неизбежностью». Авгуры имели перед философами, политико-экономами, геополитиками, историками и прочими то подавляющее преимущество, что они сговаривались заранее, вероятно, не без учета всей политической обстановки данного момента. И не без предварительных совещаний с деловыми людьми тогдашнего Рима. Авгуры не запирались в кабинетах и библиотеках, не питались цитатами и не говорили о «законе». Они, кроме того, были умными людьми.

В результате всего этого римская масса получала один-единственный, простой и ясный рецепт. Она в него верила. Он спаивал ее единством цели и воли. Вековая практика показала, что — в противоположность нынешним светочам — глупых рецептов авгуры не давали. Если бы они давали глупые рецепты, то Римская Империя не создалась бы. Или, иначе: если бы нынешние светочи давали бы неглупые рецепты, то мы с вами не сидели бы там, где мы имеем удовольствие сидеть, в результате философского прогресса последних столетий.

Рим времен его роста и расцвета вообще не имел истории прошлого, но он имел историю будущего: в «Сивиллиных книгах», хранившихся в храме Юпитера, была изложена вся будущая история Рима. Книги эти хранили, читали и толковали те же авгуры. В общем, эти книги были неизмеримо разумнее нынешней науки: они хоть что-то, но все-таки предсказывали. Потом они погибли при пожаре, и Рим остался без истории своего будущего. Историки его прошлого помогли ему очень мало.

Сейчас авгуров у нас нет. Или — что еще хуже — их стало слишком много. Они путаются друг у друга под ногами, обзывают друг друга всякими нехорошими словами и вместо честного вранья о кишках жертвенного барана занимаются выискиванием «законов». Законов этих нет. Или если они и существуют, то ни мы, ни тем более светочи не имеем о них ни малейшего представления. Есть некие коллекции отсебятин, имеющих в виду партийные интересы и формулированных в полных собраниях сочинений Конта, Гегеля, Маркса, Ленина, Розенберга и прочих. Есть перечисление исторических фактов, собранных в полных сочинениях Олара, Моммзена, Карлейля, Ключевского, Платонова или Покровского, — фактов, подобранных и подогнанных под определенную философски-партийную программу и долженствующих иллюстрировать железные законы марксизма или расизма, гегельянства или контианства, идеализма или материализма. Сейчас, сидя в нашем сегодняшнем положении, мы обязаны констатировать тот прискорбный факт, что бараньи кишки были и умнее, и научнее марксистской «прибавочной стоимости», гегельянского «мирового духа», розенбергонской высшей расы и сталинской генеральной линии. Я не хочу этим сказать, что бараньи кишки были потрясающе гениальны. Но они были умнее всех генеральных линий, философий и систем современности: на них, на бараньих кишках, хоть что-нибудь все-таки было построено...

Работа И. Солоневича публикуется в СССР впервые.

Итак: историки ищут законы и, выискав законы, подыскивают факты, которые *должны* соответствовать законам. И замалчивают те факты, которые в данный вариант законов не влезают никак. Никто не пытался объяснить жизненный путь Ломоносова или Эдисона законами, заложенными в архангельской тайге или в товарном вагоне. Но всякий историк пытается втиснуть жизненный путь русского народа в свой собственный уголовный кодекс. Из этого научного законодательства не выходит ничего. Но пропадает и то, что все-таки можно было бы уловить: соборная, коллективная, живая *личность* народа, определяющие черты его характера, основные свойства его «я», отличающие его от всех его соседей. И его судьбы, отличные от судеб всех его соседей.

В результате всего этого мы остаемся и без «закономерности общественных явлений», и без неповторимости личной биографии. Остаются: произвольные коллекции фактов, подобранных на основании произвольных отсебятин. И все это оказывается гораздо глупее и неизмеримо хуже и бараньих кишок, и сивиллиных книг. Иначе — опять-таки — мы с вами после трех тысяч лет «европейской культуры» не сидели бы в нашем нынешнем положении.

Римские авгуры, по всей вероятности, были полуграмотными людьми. Но они жили в среде очень разумного, политически одаренного народа, были, конечно, в курсе всех событий данной эпохи и не были обременены никакими теориями. Их точки зрения были примитивно правильны — примитивны, но правильны. Философия Гегеля представляет собою мировой рекорд сложности и запутанности — и мы присутствуем при полном провале двух ее вариантов: немецко-расистского и советско-марксистского. В Берлине вместо «мирового духа» засел маршал Соколовский, а в Москве вместо диалектического рая сидит чека. Я предпочитаю бараньи кишки.

Мое основное, самое основное положение сводится к тому, что никаких общественных наук у нас нет. То, что мы привыкли считать общественными, гуманитарными, социальными науками, есть вздор. Или, как по поводу советских настроений писал советский поэт Заболоцкий:

> Только вымысел, мечтанье,
> Праздной мысли трепетанье,
> То, чего на свете нет.

И, в результате этих трепетаний, —

> Все смешалось в общем танце,
> И летят во все концы
> Гамадрилы и испанцы,
> Ведьмы, блохи, мертвецы.

Летим тоже и мы.

* * *

Мое утверждение о вздорности общественных наук вообще и истории в частности не грешит, конечно, нехваткой смелости. Фактические доказательства этому утверждению можно найти в нашем общем полете во все концы. Есть и некоторые «документальные» улики.

Один из наших крупнейших историков, специалист по истории Западной Европы, автор учебников, трудов и прочего — проф. Виппер как-то раз признался, что никаких методов исследования национальной жизни у историков нет.

> «Мы ведь никто и никогда не занимались исследованием относящихся сюда вопросов, у нас нет описания национальной жизни, национального творчества, у нас нет материала для сравнений и заключений. Наши диалектические, платоновские и другие методы, которыми мы до сих пор орудовали, — богословская схоластика и больше ничего».
>
> (Проф. Виппер, «Круговорот Истории», Москва—Берлин, 1923, с. 75).

В другом месте той же книги, на стр. 60, короче и резче сказано то же самое:

> «У нас по вопросу о жизни наций ничего не сделано, я бы сказал, ничего не начато».

Можно было бы предположить, что это пессимистическое признание вырвалось у проф. Виппера более или менее случайно, в минуты горького похмелья, пришедшего на смену тому революционному пиру богов, который историческая наука — в общем строе остальных общественных наук — готовила нам и себе лет этак сто подряд. Можно было бы предположить, что на основах вот этакой «богословской схоластики» проф. Виппер хоть пророчествовать перестанет — никто за язык его не тянул. Но наш ученый остается верен своим схоластическим привычкам — и пророчествует. Вот его пророчество:

> «Новый взрыв империализма невозможен. Немыслимо вновь провести мобилизацию вроде 1914—1915 годов. Вероятно, всеобщую воинскую повинность придется отменить. Служить в качестве повинности не захотят не только рабочие, но и все остальные классы».

Так пророчествует профессор, написавший «к познанию Европы» десятки томов. Совершенно так же пророчествовали десятки профессоров, написавших сотни томов «к познанию России»: Милюков и Покровский, Новгородцев и Бердяев — имя же им почти легион (о Менделееве я здесь не говорю). Совершенно ясно: в общественно исторической жизни и Европы и России все эти люди не понимали, выражаясь строго научно, — ни уха ни рыла. По всем этим вопросам у них действительно ничего не сделано и даже «ничего не начато», и единственный метод, находящийся в их распоряжении, — это «богословская схоластика и больше ничего».

Если вы хотите прочесть что бы то ни было разумное и о России и о Европе, вы должны обратиться к людям

любой иной профессии. Химик Менделеев, математик Шпенглер, писатель Л. Толстой, поэт М. Лермонтов, путаный человек В. Розанов, начальник охранного отделения Дурново, миллионер барон Врангель (отец главнокомандующего белой армией) и м-р Буллит (б. американский посол в Москве) и всякие такие люди, более или менее *случайно* взявшиеся за общественно-исторические темы, пишут умные вещи о прошлом и дают более или менее правильные прогнозы будущего. Разница между профессорами общественных наук и всеми этими случайно пишущими людьми заключается в том, что профессора знают только теории и только цитаты. Остальные люди знают действительность и знают жизнь. Два миллионера — один русский и другой американский — Врангель и Буллит — написали о русском народе книги, которые более *умны*, чем вся наша гуманитарно-общественно социальная литература, *вместе взятая*.

Мои высказывания о гуманитарных науках звучат, я понимаю, совершеннейшей ересью. Эти высказывания, однако, достаточно убедительно иллюстрируются всем ходом современного исторического развития. Есть и еще некоторые доказательства. Доктор Гьяльмар Шахт, бывший председатель Райхсбанка, финансовый маг и кудесник Германии, недавно выпустил книгу: «Mehr Kapital, mehr Arbeit, mehr Geld». Книга издана на ротаторе: после оправдания Г. Шахта союзным судом его судили и травили его же соотечественники. И, несмотря на весь финансовый гений д-ра Шахта, — его семья голодала в буквальном смысле этого слова и питалась подачками соседей. Так вот, книга д-ра Шахта посвящена, в сущности, доказательству того тезиса, что *никакие* политическо-экономические теории ни в каком случае не должны применяться ни в какой стране: ни к чему, кроме разорения, они не приведут. Нужно знание живой хозяйственной жизни и нужно чутье — Fingerspitrengefühl... Г. Шахт не только знал хозяйственную жизнь своей страны, но и организовал ее. Теории только дезорганизуют.

* * *

Историю нашей страны и нашего народа мы изучали с точки зрения «богословских схоластик» — целой коллекции всех мыслимых разновидностей философии современности. Каждая философия и каждая схоластика стремились придать себе приличный вид «науки». Из этого не вышло ничего. Каждая из этих разновидностей пыталась установить некие общие законы исторического развития — общие и для Патагонии и для России — из этого тоже не вышло ничего. «Науки» как обобщения всемирно-исторического опыта не оказалось. Но не оказалось и индивидуального, неповторимого в истории мироздания *ЛИЦА* русского народа — архитектора и строителя русской государственности. Государственность автоматически оказалась оторванной от народа — так, как если бы из-за какой-то таинственной засады эта государственность прыгнула на шею народа и оседлала его на одиннадцать веков. Так, как будто бы цари, полководцы, патриархи, — варяги, немцы, татары, — монгольские, византийские и европейские влияния, климатические, географические и экономические условия, а никак не русский народ — в беспримерно трагических внешних условиях построил беспримерную по своей прочности и оригинальности государственную конструкцию. Так, как если бы русский народ был только материалом для стройки, а никак не строителем. Так, как будто русский народ — только пустое место, вокруг которого вращаются: цари, варяги, влияния и условия. Народ остался *БЕЗ ЛИЦА*. Без характера и без воли: бессильная щепка в водовороте явлений, событий, влияний и условий. Слепое и тупое оружие в руках гениев, царей, полководцев и вообще деятелей. И сырье для схоластических упражнений гуманитарной профессуры.

Эти схоластические упражнения, которыми промышляли все университетские кафедры мира, были плохи и сами по себе: они привели к чрезвычайному снижению умственного уровня Европы. Призраки науки оперировали призраками явлений, давали призраки знаний и указывали на призраки путей. Но когда вся сумма схоластических наук о призраках перешла в область реальной человеческой жизни, — произошли катастрофы. Франция, опираясь на призрак «Общественного Договора» Руссо, и Германия, поддерживаемая призрачным «Мировым духом» Гегеля, положили начало «Гибели Европы». Философия французских энциклопедистов, как и философия всей немецкой профессуры привели к катастрофам 1814 и 1945 года. Нам, русским, в смысле схоластики особенно повезло.

Та сумма схоластики, которую мы кощунственно называем наукой, гуманитарной, общественной, социальной, но все-таки «наукой», родилась у нас в пору отделения нашего правящего слоя от народной массы, — в те десятилетия, когда русское дворянство, завоевав себе монополию на государственную службу, на образование и на рабовладение, — перестало не только говорить, но даже и думать по-русски. Проф. Ключевский скорбно издевается над российским дворянином, который ни одного русского явления не мог назвать соответствующим ему словом — и в голове которого образовался «круг понятий, не соответствующий ни иностранной, ни русской действительности» — то есть *никакой* действительности в мире. — Позже я попытаюсь доказать, что и сам Ключевский действовал по заветам своего же дворянина.

История Западной Европы *принципиально* не похожа на историю России. В этой истории был ряд явлений,

каких у нас или не было вовсе, или которые появились, так сказать, в эмбриональном виде — и исчезли. История Европы разыгрывалась на территории, которая — исторически так еще недавно — была объединена и организована Римской Империей. Бессильная мечта об этой империи маячила в завоеваниях Карла Великого, Габсбургов, Ватикана, Наполеона и Гитлера — сегодня она опять подымается в виде проекта «Соединенных Штатов Европы». Наталкиваясь на специфическую для Европы узость интересов, патриотизмов, карьеризмов и прочего — эта мечта неизменно тонула в крови. Та психология, которая руководится принципом «человек человеку — волк» и которая создала европейский феодализм, поставила на пути всяческого объединения совершенно непреодолимые препятствия — как во времена Карла Великого, так и во времена Гитлера. Каждое слагаемое проектируемого единства ставило выше всего свои интересы и каждый объединитель — тоже свои. 1200 лет тому назад Карл Великий точно так же резал саксов, как Гитлер поляков, и грабил Бургундию так же, как Гитлер грабил Норвегию. Территория Европы от Вислы до Гибралтара пропитана ненавистью как губка. Это было тысячу лет тому назад и это никак не улучшилось после второй мировой войны.

На территории Западной Европы разыгрывались великие драмы инквизиции и религиозных войн, борьбы протестантизма с католичеством, стройки империй, которые жили десятки — редко сотни — лет, которые были основаны на том же грабеже и которые лопались, как мыльные пузыри: испанская, португальская, французская, германская — и теперь английская. В первой рукописи этой книги — лет десять тому назад — я пророчествовал о распаде британской империи — сейчас и пророчествовать не стоит. Лопнула Наполеоновская Империя, и ее республиканский, — четвертый — вариант тоже доживает свои последние годы. Европейские «империи» кончились. Может быть, бронированный кнут и валютный пряник Северо-Американских Соединенных Штатов создадут Западно-Европейские Соединенные Штаты. Но, может быть, не создадут даже и они.

Российская государственность выросла на почве, не обремененной никакой мечтой. Она развивалась органически. Она не знала ни инквизиции, ни религиозных войн. Наш «раскол» был только очень слабым повторением борьбы протестантизма с католичеством, и то, что допустила «Никоновская церковь» по адресу староверия, не может идти ни в какое сравнение с Варфоломеевской ночью или с подвигами испанцев в Нидерландах. И самое важное, — Россия — до Петра Первого — не знала крепостного права.

Внешняя история России есть процесс непрерывного расширения — от сказочных времен Олега до каторжных дней Сталина. Был короткий промежуток распада, приведший к татарской неволе, но и при царях и без царей, при революциях и без революций страна оставалась единой. Был найден детски простой секрет сожительства полутораста народов и племен под единой государственной крышей, был найден — после Петра Первого утерянный — секрет социальной справедливости. Но и он был утерян только верхами народа. Сейчас, как это было в 1814 году, — с очень серьезной поправкой на русскую революцию — Великая Восточная Империя нависает над несколькими десятками раздробленных феодов гибнущей Европы. Исторические пути были р а з н ы м и. Но разною была и историческая терминология.

Сейчас мы можем сказать, что государственное строительство Европы — несмотря на все ее технические достижения — было н е у д а ч н ы м строительством. И мы можем сказать, что государственное строительство России, несмотря на сегодняшнюю революцию, было удачным строительством. Наша гуманитарная наука должна была бы изучать европейскую историю с целью показать нам, как именно н е н а д о строить государственность. И русскую — или римскую, или британскую историю — с целью показать, к а к надо строить государственность. Но наша гуманитарная наука с упорством истинного маниака все пыталась пихнуть нас на европейские пути. Наша схоластика питалась европейскими терминами, которые и у себя дома обозначали неизвестно что. Наши ученые точно следовали примеру ключевского дворянина, и в их умах и сочинениях фигурировали термины, которые не обозначали вообще ничего, которые не «соответствовали ни европейским, ни русским явлениям», то есть которые не соответствовали ничему в реальном мире — которые были хуже, чем просто вздором, они были призрачными верстовыми столбами, которые бесы схоластики понатыкали на всех наших путях:

Вот верстою небывалой
Он мелькнул передо мной,
Вот сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме ночной.

По этим «верстам небывалым» пошли «Бесы» Достоевского. И пришли бесы Сталина. Верстовые столбы — и путеводные звезды, и всякое такое прочее — вели нас в яму. В каковой яме мы и сидим сейчас. Этой ямой мы обязаны если не исключительно, то преимущественно всей сумме наших общественных наук.

Та методика общественных наук, которая родилась на Западе, была и там «богословской схоластикой и больше ничем». Она выработала ряд понятий и терминов, в сущности, мало отвечавших и европейской действительности. Наши историки и прочие кое-как, с грехом пополам, перевели все это на русский язык — и получились совершеннейшие сапоги всмятку. Русскую кое-как читающую публику столетия подряд натаскивали на ненависть к явлениям, которых у нас вовсе не было, и к борьбе за идеалы, с которыми нам вовсе нечего было делать. Был издан ряд «путеводителей в невыразимо прекрасное будущее», в котором всякий реальный ухаб был прикрыт идеалом и всякий призрачный идеал был объявлен путеводной звездой. Одними и теми же словами были названы совершенно различные явления. Было названо «прогрессом» то, что на практике было совершеннейшей реакцией, — например, реформы Петра, и было названо «реакцией» то, что гарантировало нам реальный прогресс, — например, монархия. Была «научно» установлена полная несовместимость «монархии» с «самоуправлением», «абсолютизма» с «политической активностью масс», «самодержавия» со «свободой» религии, с демократией и прочее, и прочее — до бесконечности полных собраний сочинений. Говоря несколько схематично, русскую научно почитывавшую публику науськивали на «врагов народа» — которые на практике были его единственными друзьями, и волокли на приветственные манифестации по адресу друзей, которые оказались работниками ВЧК—ОГПУ—НКВД. А также и работниками гестапо.

Русская гуманитарная наука оказалась аптекой, где все наклейки были перепутаны. И наши ученые аптекари снабжали нас микстурами, в которых, вместо аспирина, оказался стрихнин. Термин есть этикетка над явлением. Если этикетки перепутаны — то путаница в понимании является совершеннейшей неизбежностью. Русская «наука» брала очень неясные европейские этикетки, безграмотно переводила их на смесь французского с нижегородским — и получался «круг понятий, не соответствовавших ни иностранной, ни русской действительности» — не соответствовавших, следовательно, н и к а к о й действительности в мире, круг болотных огоньков, зовущих нас в трясину.

Истинно потрясающие пророчества русских ученых отчасти объясняются полной путаницей их «научных понятий». Отчасти объясняются и другим — хроническим расстройством умственной деятельности, возникшим в результате векового питания плохо пережеванными цитатами. В их, этих ученых, распоряжении была только схоластика — и больше ничего. Были только переводы с иностранного — и больше ничего. Был круг понятий, не соответствующий никакой действительности в мире, — и был ряд пророчеств, которые теперь звучат как издевательство. Эти люди никогда ничего не понимали, не понимают и сейчас и никогда ничего понимать не будут. Но именно они учили нас. И призывали, и науськивали, и разъясняли, и пророчествовали.

Современная Западная Европа родилась в результате разгрома германскими ордами Римской Империи. Именно германцы образовали ее правящий слой и именно они создали феодализм — такое же типичное явление для немцев, как касты для Индии. Здесь веками и веками шла борьба всех против всех, и эта борьба создала ряд типично европейских явлений: абсолютизм, феодализм, клерикализм, империализм и прочее. Русская наука, старательно и натужно списывая с западно-европейских шпаргалок, доказывала нам, что по всеобщим законам всемирно-исторического развития мы, — с запозданием, правда, но только повторяем западно-европейские пути и что перед нами, как перед испанцами, французами или немцами, стоят решительно те же задачи: борьба с абсолютизмом, империализмом, клерикализмом, феодализмом — во имя демократизма, атеизма, марксизма и социализма. Сейчас ясно: пути были не одними и теми же. Но при малейшей затрате умственной добросовестности это должно было бы быть ясно и раньше. Я приведу несколько примеров.

Римский империализм завоевал мир, довольно основательно грабил его, — но в общем создавал лучшие условия жизни, чем они были до римского владычества. Римская Империя продержалась века, говоря приблизительно, — лет четыреста. Испания тоже строила свою империю, — но в ее пределах занималась только грабежом — и больше решительно ничем. Испанская Империя продержалась очень короткое время. Англия строила свою империю не на грабеже, но она строила ее на эксплуатации — временами, впрочем, принимавшей формы истинного грабежа — так, как Англия обращалась с Ирландией. Россия не обращалась ни с какими самоедами. Английская Империя продержалась, в общем, лет двести. Из германских империй — и Первой, и Второй, и Третьей — не вышло вообще ничего. Русская Империя, как единое великое и многонациональное государство, существует больше тысячи лет — и даже и сейчас не проявляет никаких признаков государственного распада.

Английская система имперской стройки была наилучшей системой — п о с л е русской. Однако ирландцы были ограблены до нитки: землю отобрали английские лорды, промышленность душили английские фабриканты, страна поднимала голодные бунты, и эти бунты топились в крови.

Россия завоевала Кавказ. Не следует представлять этого завоевания в качестве идиллии: борьба с воинственными горскими племенами была упорной и тяжелой. Но ничья земля не была отобрана, на бакинской нефти делали деньги «туземцы» — Манташевы и Лианозовы, «туземец» Лорис-Меликов стал русским премьер-министром, кавказские князья шли в гвардию, и даже товарища Сталина никто всерьез не попрекает его грузинским акцентом. Плоды этого империализма Лермонтов, один из его бойцов, сформулировал так:

> ...И Грузия
> Цвела в тени своих садов,
> Не опасаясь врагов,
> За гранью *дружеских* штыков.

Русский «империализм» наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, средняя линия, *правило* заключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, получал все права этой государственности. Министры поляки (Чарторыйский), министры армяне (Лорис-Меликов), министры немцы (Бунге) — в Англии невозможны никак. О министре индусе в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше — но они были для всех. Узбек имел все права, какие имел великоросс, и если башкирское кочевое хозяйство было сжато русским земледельческим, то это был не национальный, а экономический вопрос: кочевое хозяйство есть роскошь, которая сейчас не по карману никому.

Но, повторяю, Англия создала наиболее совершенный, после русского, тип мировой империи. Англия эксплуатировала Индию. Однако эта эксплуатация обошлась индусам безмерно дешевле, чем им стоила и, вероятно, еще будет стоить их независимость, основанная на базе трех тысяч каст. На наших глазах Германия сделала истинно отчаянную попытку восстановить никогда не существовавшую империю Карла Великого. И сейчас же эта, еще не реализованная империя была поделена на народы разных сортов, причем первый сорт сразу взялся за грабеж всех остальных. Третья Империя прожила 12 лет. Так развивались два разных явления, названных одним и тем же термином.

История средневековой Европы пронизана борьбой светской и духовной власти. В этой борьбе духовенству удавалось достигать очень крупных побед. Целые страны попадали под контроль католического духовенства — и задачи религии очень быстро сменялись профессиональными интересами клира. Клир был правящим слоем. Клир сменял королей и даже императоров, командовал армиями и вел войны, истреблял еретиков, объедал целые нации и давил собою все. Борьба против клерикализма была неизбежной — ее поднял Лютер. Но наш сельский попик, нищий, босой, пашущий свою собственную землю, — он *никогда* никаким клерикалом не был. Русская церковь никогда не простирала руки к государственной власти, не вела и не провоцировала никаких религиозных войн, и единственная попытка (в Новгороде) завести сожжение еретиков была сразу же проклята именно Церковью.

Европейский абсолютизм возник как завоевание. Европейские короли были только «первыми среди равных», только наиболее удачливыми из феодальных владык, и перед европейской монархией никогда не ставилось никаких моральных целей. Европейский король был ставленником правящего слоя. Он, в общем, был действительно орудием угнетения низов.

Русская монархия исторически возникла в результате восстаний низов против боярства и — пока она существовала — она *всегда* стояла на защите именно низов. Русское крестьянство попало под крепостной гнет в период отсутствия монархии, — когда цари истреблялись и страной распоряжалась дворянская гвардия.

Русская монархия была только одним из результатов попытки построения государства не на юридических, не на экономических, а на чисто моральных основах — с европейской монархией ее объединяет только общность внешней формы. Но обе они названы одним и тем же именем.

У нас не было феодализма — кроме, может быть, короткой эпохи перед и в начале татарского нашествия. У нас была, а после 1861 года снова стала возрождаться демократия неизмеримо высшего стиля, чем англосаксонская — равенство духовно равных людей, без оглядки на их титул, карманы, национальность и религии. Нас звали к борьбе с дворянством, которое было разгромлено постепенно реформами Николая I, Александра II, Александра III и Николая II, — с дворянством, которое и без нас доживало свои последние дни, — и нам систематически закрывали глаза на русских бесштанников и немецких философов, которые обрадовали нас и чекой, и гестапой. Нас звали к борьбе с русским «империализмом» — в пользу германского и японского, к борьбе с клерикализмом, которая привела к воинствующим безбожникам, к борьбе с русским самодержавием, на место которого стал сталинский азиатский деспотизм, на борьбу с остатками «феодализма», которая закончилась обращением в рабство двухсотмиллионных народных масс. Нас учили оплевывать все свое и нас учили лизать все пятки всех Европ — «стран святых чудес». Из этих стран на нас перли: польская шляхта, шведское дворянство, французские якобинцы, немецкие расисты — приперло и дворянское крепостное право и советское. А что припрет еще? Какие еще отрепья и лохмотья подберут наши ученые старьевщики в мусорных кучах окончательно разлагающегося полуострова? Какие новые «измы» предложат они нам, наследникам одиннадцативековой стройки? Какие очередные «теории науки» возникнут в их катаральных мозгах и какие очередные пророчества утонут в очередной луже?

Мы этого еще не знаем.

* * *

Всякая *великая* история идет своими путями, и всякий великий язык отражает действительность *этой* истории, а не какой-нибудь другой. И *всякий* перевод будет по меньшей мере неточным переводом.

Об абсолютизме, феодализме и прочем я уже говорил. Можно бы найти и оправдания для переводчиков: термины неясные, явления сложные и прочее. Но даже и в простых терминах получается путаница.

Весь европейский социализм пронизан ненавистью к крестьянству — и наш тоже. Маркс поносил крестьянство самыми нехорошими словами — идиотизм, кретинизм, варварство и прочее. Этот набор научных терминов унаследовали и наши социалисты. Но так как в крестьянской стране революция без помощи крестьянства казалась предприятием почти невозможным, то была придумана наживка и для крестьянства: передел земли. Только потом оказалось, что делить, собственно, нечего. И только потом социалисты показали крестьянству настоящую научную кузькину мать. Но это случилось позже.

Ненависть социалистов к крестьянству я в основном объясняю ненавистью недоноска к нормальному здоровому человеку, но об этом я пишу в другой книге. Весь наш современный русский социализм списан, в сущности, с немецкого — в основе его лежит философия Гегеля, экономика Маркса и Энгельса, стратегия Клаузевица и тысячи цитат тысячи других философов, ученых, публицистов и прочего. От них же взят и термин «крестьянин» — по-немецки «бауэр» (Bauer).

Русский крестьянин и немецкий бауэр, конечно, похожи друг на друга: оба пашут, оба живут в деревне, оба являются землеробами. Но есть и разница.

Немецкий бауэр — это недоделанный помещик. У него в среднем 30—60 десятин земли, *лучшей*, чем в России, — земли, не знающей засух. У него просторный каменный дом — четырепять комнат, у него батраки, у него есть даже и фамильные гербы, имеющие многовековую давность. Исторически это было достигнуто путем выжимания всех малоземельных крестьян в эмиграцию: на Волгу и в САСШ, в Чили или на Балканы. Немецкий бауэр живет гордо и замкнуто, хищно и скучно. Он не накормит голодного и не протянет милостыни «несчастненькому». Я видел сцены, которые трудно забыть: летом 1945 года солдаты разгромленной армии Третьей Германской Империи расходились кто куда. Разбитые, оборванные, голодные, но все-таки очень хорошие солдаты когда-то очень сильной армии и для немцев все-таки *своей* армии. Еще за год до разгрома, еще вполне уверенные в победе, — немцы считали свою армию цветом своего народа, своей национальной гордостью, своей опорой и надеждой. В мае 1945 года эта армия разбегалась, бросая оружие и свое обмундирование, скрываясь по лесам и спасаясь хотя бы от плена. Это была очень хорошая армия: в течение целого ряда лет она как-никак вела борьбу против всего мира. Теперь она оказалась разгромленной. С наступлением ночи переодетые в первые попавшиеся лохмотья остатки армии вылезали из своих убежищ и начинали побираться по деревням. Немецкий крестьянин в это время был более сыт, чем в мирные годы: города кормились в основном «аннексиями и контрибуциями», деньги не стоили ничего, товаров не было — и бауэр ел вовсю. Но своему разбитому солдату — он не давал ничего. У меня нет никаких оснований питать какие бы то ни было симпатии к германской армии, но я видел сцены, на которые даже и мне было и тяжело и противно смотреть.

В сибирских деревнях существовал обычай: за околицей деревни люди клали хлеб и прочее для беглецов с каторги: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой», как поется в известной сибирской песне. В немецкой литературе мне приходилось встречать искреннее возмущение этой «гнилой сентиментальностью». Там, в России, кормили преступников — здесь, в Германии, не давали куска хлеба героям.

Бауэр и крестьянин — два совершенно различных экономических и психологических явления. Бауэр экономически — это то, что у нас в старое время называли «однодворец», мелкий помещик. Он не ищет никакой «Божьей Правды». Он совершенно безрелигиозен. Он по существу антисоциален, как асоциальна и его имперская стройка.

В немецких деревнях не купаются в реках и прудах, не поют, не водят хороводов, и «добрососедскими отношениями» не интересуются никак. Каждый двор — это маленький феодальный замок, отгороженный от всего остального. И владельцем этого замка является пфенниг — беспощадный, всесильный, всепоглощающий пфенниг. Немецкий бауэр его имеет — в большом количестве. Немецкий пролетариат тоже его имеет, но в меньшем количестве. Немецкая зависть пролетария к собственнику определила собою отношение социализма к крестьянству. Это отношение было переведено на русский язык — и под руководством социалистического пролетариата России русское трудовое крестьянство было загнано на каторжные работы колхозов.

* * *

Так взошли на русской земле семена европейской схоластики, бесплодные даже и на своей собственной. Венцом многовековой усидчивости европейских чревовещателей явился марксизм — мертвая схема, которой сейчас приносятся в жертву десятки миллионов живых жизней. В марксизме постепенно исчезло все живое, органическое, *настоящее*. Исчезли живые нации — на их место стал интернационал, исчезли живые люди, на их место стали производители и потребители. Исчезла живая история — на ее место стали пресловутые производственные отношения. Исчезла, собственно, и человеческая душа: бытие определяет сознание.

Почему, собственно, пролетарское мировое сознание угнездилось именно на базе русского крестьянского бытия — осталось невыясненным до сих пор. Почему пролетарская революция возникла там, где пролетариата было меньше все-

го, и почему провалились все пророчества Маркса о революции в Англии и во Франции, почему самые индустриальные страны мира — Англия и САСШ, говоря практически, не имеют вовсе никаких коммунистов, почему так и не состоялась мировая революция, почему мир стоит перед диктатурой буржуазии — на этот раз американской, и почему нищета, голод, грязь и террор составили государственную монополию социалистического рая СССР, а не капиталистического ада Америки? И, наконец, почему социалистов Европы кормят капиталисты Америки?

На все эти вопросы «наука» нам не отвечает и ответить не может, не идя на свое кастовое самоубийство. Русская «наука» **не может** ответить нам на эти вопросы о судьбах нашей страны вообще и о приходе революции — в частности. Ибо ответить — это значит признаться в том, что она, «наука», нам врала сознательно, намеренно и систематически. Еще больше, чем западно-европейская наука врала в Западной Европе.

* * *

Наш правящий и образованный слой, при Петре Первом оторвавшись от народа, через сто лет такого отрыва окончательно потерял способность понимать что бы то ни было в России. И не приобрел особенно много способностей понимать что бы то ни было в Европе. И как только монархия кое-как восстановилась и первый законный русский царь — Павел Первый — попытался поставить задачу борьбы с крепостным правом, русский правящий слой раскололся на две части: революцию и бюрократию. На дворянина с бомбой и дворянина с розгой. Чем дальше шел процесс освобождения страны, тем эти два лагеря действовали все с большей и большей свирепостью: дворянство, вооруженное розгой, тянуло страну назад к дворянскому крепостному праву; дворянство, вооруженное бомбой, толкало страну вперед — к советскому крепостному праву. Дворянство розги опиралось на немецких управляющих, дворянство бомбы — на немецких гегелей. Было забыто все: и национальное лицо, и национальные пути, и национальные интересы. Интеллигенция, которая перед самой революцией почти полностью совпадала с дворянством и которая целиком приняла обе части его наследства — бобчинскими и добчинскими, «петушком-петушком» бегая вприпрыжку за каждой иностранной хлестаковщиной, пока не прибежала в братские объятия ВЧК—ОГПУ—НКВД.

Нужно сознаться: это были вполне заслуженные объятия за столетнее блудословие. Интеллигенция — от латинского слова intellegere — понимать — должна была бы быть слоем людей, профессионально обязанных понимать хоть что-нибудь. Но вместо какого бы то ни было понимания в ее уме свирепствовал набак непрерывно меняющихся мод. Вольтерьянство и гегельянство, Шеллинг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народовольчество, порнография и богоискательство — все это выло, прыгало, кривлялось на всех перекрестках русской интеллигентской действительности. Не было не только своего русского, но не было ничего и своего **личного**. Не было, конечно, и ничего национального. Третий Интернационал явился поэтому естественным и законным наследником потери национальной личности, как и философия материализма — таким же наследником потери **личности** вообще.

В силу всего этого мы, нынешнее поколение России, не знаем в сущности решительно ничего **нужного**. Мы потеряли свои пути и не нашли никаких чужих. Мы потеряли даже и часть своего языка — и объясняемся переводами с французского на нижегородский — переводами, которые и в оригиналах обозначают неизвестно что. Мы заблудились в трех пошехонских соснах и разбиваем свои головы о каждую из них. Нас — поколение за поколением — «наука» снабжала фальшивым определением фактов, фальшивым освещением фактов и фальшивым подбором этих фактов. Всякая партийно-философская шпаргалка преподносилась нам в виде науки — в виде твердого научного знания. И наши головы переполнены вздором, ни к какой действительности не имеющим никакого отношения.

Переобучение русской интеллигенции надо бы начать с самого простого обезвздоривания. Первые и самые важные шаги в этом направлении сделала Чрезвычайка. Но и этого все-таки недостаточно: удар дубиной по черепу может иногда иметь отрезвляющее значение, но не следует преувеличивать его культурно-просветительную роль. Нас много лет подряд бьют по черепу. Мы чувствуем: это очень больно. Но мы не знаем, откуда обрушились на нас эти удары. И — еще менее — как с ними покончить.

Проф. Виппер не совсем прав: современные гуманитарные науки — это не только «богословская схоластика и больше ничего» — это нечто **гораздо** худшее: это есть **обман**. Это есть целая коллекция обманных путевых сигналов, манящих нас в братские могилы голода и расстрелов, тифов и войн, внутреннего разорения и внешнего разгрома. «Наука» Дидро, Руссо, д'Аламбера и прочих — уже закончила свой цикл: был голод, был террор, были войны и был внешний разгром Франции в 1814, в 1871, в 1940 годах. Наука Гегеля, Моммзена, Ницше и Розенберга тоже закончила свой цикл: был террор, были войны, был голод и был разгром 1918 и 1945 годов. Наука чернышевских, лавровых, михайловских, милюковых и лениных всего цикла еще не прошла: есть голод, есть террор, были войны, — и внутренние, и внешние, но разгром еще придет: неизбежный и неотвратимый, — еще одна плата за философское словоблудие двухсот лет, за болотные огоньки, зажженные нашими

властителями дум над самыми гнилыми местами реального исторического болота.

Мы находимся в более трагическом положении, чем были наши предки времен татарской орды. Там, по крайней мере, все было ясно, как все или почти все было ясно и в годы немецкой орды: пришли чужеземцы нас резать — мы должны вырезать их. Сейчас — ничего не ясно. Где друг и где враг, где трясина и где кочка, как дошли мы до жизни такой и как нам из нее выкарабкаться с наименьшими потерями русских жизней и русского достояния? Без потерь мы все равно не выберемся **никак**. Всякий человек России — в том числе даже и те коммунисты, у которых еще остались мозги и еще осталась совесть, — не могут не понимать: из счастливой, веселой, зажиточной и прочей жизни не вышло ни черта. И не видно конца: ни пятилеткам голода, ни планам террора, ни рабству, ни развалу. Даже и партийные вожди ни на один день своей жизни не гарантированы от пули в затылок. Даже и великая народная победа над Германией, освободив русский народ от террора немецкой Чрезвычайки, не освободила его от террора своей собственной. Даже и немецкий грабеж русских полей оказался легче советского. Даже такие нищие страны, как Эстония или Польша, оказались богаче и сытее родины мировой революции — в этом русские Иваны смогли убедиться собственными глазами. Но никто из них и понятия не имеет — как это мы, житница Европы, докатились до жизни такой, почему мы, когда-то православный, дружественный народ, народ-«Богоносец», стали предметом всемирного отвращения и ужаса, почему никто не бежал из армии капиталистических стран, а миллионы рабочих и крестьян бежали из социалистической? Почему пять миллионов **русских** пленных только насилием были возвращены на свою родину? И, наконец, самое важное — где же наш **настоящий** путь?

* * *

Победоносная философская система, угнездившаяся в России, сделала то же самое, что соответственные системы сделали во Франции и Германии: отрезала «железным занавесом» свою страну и, в числе всяких иных монополий, установила свою собственную монополию вранья. Сквозь этот занавес не проникает никакое чужое вранье. Но не проникает и никакая правда. Врут агитпропы, врут отделы информации и пропаганды, врут газеты, врет литература — скрываются факты. Люди, не зная фактов, не могут иметь никакого представления о фактическом положении дел в мире и на родине. Врет статистика и врет «наука» — люди получают информацию, о которой с уверенностью можно сказать только одно: даже и статистика есть вранье. В 1937 году Советы произвели всенародную перепись — результаты ее опубликованы не были, а организаторы ее были расстреляны. Кто может поверить цифрам, опубликованным после расстрелов, и кто может сказать: какое количество людей осталось все-таки в живых после двадцати лет социалистического опыта?

История русской общественной мысли — на своей родине померла совсем. Жалеть об этом не стоит: туда ей и дорога: она потонула в той кровавой яме, в какую толкнула нас всех. Но — истинно Божиим попущением — часть гигантов русской общественной мысли, властителей русских интеллигентских дум, пожирателей иностранных философских цитат — ухитрилась все-таки сбежать за границу. Наивные люди — **и я** в свое время был в их числе — могли бы предположить, что гиганты мысли, кое-как омыв разбитые свои лбы, постараются кое-как вправить вывихнутые свои мозги. И что они, специалисты и профессора, философы и историки, деятели и политики, сообразят все-таки: так как же все это случилось, и как великая и бескровная, которую они же готовили сто лет подряд, оказалась и мелкой и кровавой, мстительной и злобной, голодной и вшивой. И дадут нам всем профессионально добросовестный совет: как, по крайней мере, не влипнуть в такую же дыру и еще раз.

Но ничего этого не случилось. Духовные отцы революции, сбежав в эмиграцию, пишут мемуары. Каждый Иванов Седьмой доказывает черным по белому, что все предыдущие Ивановы, от Первого до Шестого включительно, были дураками и прохвостами и только один он, Иванов Седьмой, был умником. И что если бы революция послушала именно его, Иванова Седьмого, и остановилась бы на ступеньке Номер Семь, заранее указанной им, Ивановым Седьмым, то все было бы вполне благополучно. Но все испортили остальные Ивановы и остальные ступеньки. Выдумать что-нибудь глупее — было бы затруднительно.

Но и эти Ивановы меняют свои философии и свои порядковые номера. Приведу истинно классический пример. Профессор Бердяев начал свою общественную карьеру проповедью марксизма и революции. Потом он — еще в 1910 году — «сменил вехи» и стал чем-то вроде буржуазного либерала. Потом он сбежал за границу и стал там «черной сотней». Потом из «черной сотни» перешел в богоискательство. Потом из богоискательства — перекочевал на сталинский патриотизм. Я не знаю, куда успеет он перекочевать завтра. И об какую ступеньку он ахнется своей убеленною хроническим катаром головой. Трагедия заключается в том, что все эти бердяевы, многоликие и многотомные, только повторяют свои старые привычные пути: накидываются на любую цитату, лишь бы она была новой или казалась новой, глотают ее не пережевывая и извергают непереваренной, остаются вечно голодными и со всех ног скачут по фи-

лософским пастбищам Европы, подбирая каждый репейник и кувыркаясь через каждый ухаб.

Совершенно ясно: бердяевы никогда и ничего не понимали, ибо всегда их вчерашнее понимание назавтра оказывалось вздором даже и для них самих. А завтрашнее окажется вздором послезавтра. Совершенно ясно, что ни вчера, ни сегодня у всех у них не было за душой ни копейки своего, личного, органического, крепкого: все это были дыры в пустоту, кое-как заткнутые пестрыми тряпками из первой попавшейся сорной кучи. Они, правда, хитренькие: они зовут людей возвращаться в СССР — но сами туда не едут. И из всех политических течений современности они избирают то, какое в данный момент платит максимальные гонорары. Так действовала и старая русская интеллигенция вообще: была, конечно, великомученицей, но получала самые крупные гонорары во всем тогдашнем мире. Призывала к жертвам, но отдавала в жертву молодежь, «безусых энтузиастов». Безусые энтузиасты в 1905 году шли на виселицу, а в 1945 — на возвращение в СССР, — что то же самое. На этой молодежи властители дум делали деньги в 1905 году — и делали в 1945, правда, в 1945 гораздо меньше, чем в 1905.

Эта интеллигенция — книжная, философствующая и блудливая, слава Богу, почти истреблена. Но, к сожалению, истреблена не вся. Она отравляла наше сознание сто лет подряд, продолжает отравлять и сейчас. Она ничего не понимала сто лет назад, ничего не понимает и сейчас. Она есть исторический результат полного разрыва между образованным слоем нации и народной массой. И полной потери какого бы то ни было исторического чутья. Она, эта интеллигенция, почти истреблена. Но «дело ее еще живо», как принято говорить в таких исторических случаях: гной ее мышления еще будет отравлять мозги и будущих поколений. И ее конвульсивные прыжки от Маркса к Христу и от Христа снова к Сталину — будут еще вызывать подражание в тех юных профессорах, которые идут на смену повешенным и повесившимся. Сифилис заразителен. Но точно так же была заразительна пляска св. Витта: начинает дергаться одна истеричка, и за ней дергаются тысячи. Начинает «менять вехи» один Бердяй Булгакович, за ним извиваются и остальные. Со всем этим мы покончим еще очень не скоро. Ибо если ничему не научила даже и Чрезвычайка, то что еще может научить людей, вся духовная мощь которых сконцентрирована в их органах усидчивости?

<...>

* * *

Почему мусульманская культура арабов дала ряд выдающихся ученых и философов? Почему Оттоманская Империя в века своего величайшего военного и экономического могущества не дала ровным счетом ничего? Почему такими неудачными оказались все попытки германизма построить империю? И почему Россия — при всей ее технической отсталости и «географической обездоленности» — построила величайшую в истории мира государственность?

Обо всем этом мы не знаем ровным счетом ничего. И этот ответ будет честным ответом. Все остальное будет спекуляцией на науке, на научности, на массе простецов, жаждущих хотя бы копеечной, но окончательной истины.

Но если мы не знаем почему, то — на вопрос как мы можем дать более или менее точный ответ. Если бы мы спросили двенадцатилетнего Ломоносова, Эдисона и Репина — почему они стремятся к науке, технике и живописи, то ни один из этих мальчиков никакого вразумительного ответа не дал бы. Едва ли он смог бы дать этот ответ и в более поздние годы: гений человека, как и гений народа, рождается из не известных нам источников — как родилась гениальность древней Эллады или бездарность современной Греции. Но, проследив биографию отдельного человека или историю отдельного народа, мы можем установить некоторую сумму постоянно действующих качеств: доминанту отдельной личности, характер личности индивидуальной и дух личности коллективной. И я буду утверждать, что основным слагаемым этой доминанты является инстинкт — и у человека, и у народа.

Мы, в сущности, все воспитаны на философии французских и немецких сеятелей разумного, доброго, вечного — на энциклопедистах конца XVIII века и на натурфилософах середины XIX, говоря суммарно, на Дидеротах и Бюхнерах. Это, к сожалению, даром не проходит. И от наследия материалистической и рационалистической философии не так легко отделаться даже в нашу эпоху, столь бурно пожинающую плоды, посеянные этими сеятелями. Рационалистические сеятели сконструировали некий рассудочный мир, на современной вершине которого торчит Чрезвычайка, расстрелами планирующая рационально устроенную человеческую жизнь. Было сконструировано и чисто рассудочное понятие механической справедливости, распространяющееся на всю двуногую вселенную: этакая всемирная уравниловка, по карточкам распределяющая всяческие моральные и материальные блага. Необычайная сложность человеческого мира была сплющена до толщины листа газетной бумаги, на одной стороне которого значится: «время есть деньги», а на другой — «бытие определяет сознание». Не нужно большой проницательности, чтобы уловить родственность этих двух лозунгов: капиталистического и коммунистического. Оба они утверждают приоритет материальных ценностей — ни слова не говоря о том, так для чего же эти ценности нужны? И какими мотивами руководится человек, создавая и накопляя эти ценности? Только голодом? Это будет правильно для мира животных, но ведь животные никаких ценностей не накопляют и время на деньги не меряют. Продовольственных ценностей не накопляют и дикари — они копят украшения. И чем больше человеческая жизнь подымается от готтентотского уровня до современности, тем меньшее и меньшее значение приобретает удовлетворение материальных нужд.

Является ли радио удовлетворением материальной нужды? А книги, картины, цветы, вино, мундир военного, ряса священника или смокинг штатского? Человек каменного века удовлетворял свои материальные потребности никак не хуже, чем наши современники: он жрал сырое мясо — не по карточкам, и одевался в звериные шкуры, которые добывал тоже без очередей. Были, правда, тигры — не бронированные, а обыкновенные. Намного ли лучше нынешние бронированные? Пророки распределения материальных ценностей довели нас до того, что и распределять нечего не осталось, а организация механической справедливости привела к такому размножению всяческих чрезвычаек, что мир пещерных людей и пещерных тигров может нам показаться раем благоустроения и безопасности, — об атомной бомбе я уже не говорю...

Предположение, что человек работает, страдает, борется, добивается и прочее только во имя «материальных ценностей» — есть глупое предположение. Культурный мир начала XX столетия был сыт вполне, это не избавило его ни от войн, ни от революций. Человек, выйдя за пределы биологического голодания, когда действительно забота о пище заслоняет все остальное, — начинает работать для того, чтобы быть сытее, сильнее, умнее, красивее остальных людей — и это и есть главный мотив человеческой деятельности. Если бы все молодые люди, ныне прыгающие в длину и в вышину, с разбега и даже без оного, каким-то чудесным образом пришли к одинаковому и обязательному для всех рекорду — атлетика перестала бы существовать. Юноша, занимающийся легкой атлетикой, тренируется вовсе не для того, чтобы просто хорошо прыгать, а для того, чтобы прыгать лучше остальных, а по возможности и лучше всех остальных в мире. Барон Ротшильд или мистер Морган нагромождают новые миллиарды на кучу старых вовсе не потому, что ротшильдам, морганам и прочим не хватает жиров, штанов, витаминов или жилья: они тоже ставят рекорд. Товарищ Сталин вырезал бухариных и тухачевских вовсе не потому, что они угрожали сумме материальных благ, нужных сталинскому материальному бытию, а потому, что мировой рекорд гениальности Сталин хотел оставить за собой. Не из-за материальных благ Толстой писал свою «Войну и мир» и не из-за материальных благ русские революционеры шли на каторгу и виселицу.

Человек хочет быть сильнее, умнее, красивее ближнего своего. Или по крайней мере — казаться сильнее, умнее и красивее. Если бы этого не было — прекратился бы всякий прогресс не только в мире человека, но и в мире животных. Борьба за самку, дающая перевес не только сильнейшему, но и красивейшему (брачное оперение у птиц), неустранимым биологическим путем перешла и в человеческое общество, конечно, в неизмеримо более сложном виде, чем она действует в животном мире. Материалистическое мировоззрение проворонило эту борьбу начисто. Оно проворонило половой инстинкт во всех его видах. Оно изобразило человека бесполым существом, все потребности которого принципиально ограничены материальными благами и все заботы — приобретением и, еще более, распределением этих материальных благ.

Юноша и девушка, целующиеся при свете луны или без света луны, вовсе не собираются поставлять будущему человечеству будущих пролетариев или будущей родине будущих солдат. Они действуют под влиянием того же инстинкта, который заставляет кету подыматься к верховьям Амура и там гибнуть, отдавая свою жизнь продолжению рыбьего рода. Нося, рожая и воспитывая ребенка, мать вовсе не задается вопросом о будущих наследниках и собственниках родительского имущества. Кстати, наибольшее количество детей имеют те слои населения, которые никому никакого наследства оставить не могут, ибо и сами ничего не имеют, — беднейшие слои страны. Люди строят семью, повинуясь древнейшему и могущественнейшему из инстинктов. Но точно таким же образом, чисто инстинктивно, люди строят свое государство.

Если у человека не работает, или работает плохо, половой инстинкт, он ни при каких условиях семьи не создаст. Если половой инстинкт находится в порядке, то семья будет создана даже в самых невероятных условиях, как она была восстановлена в поистине невероятных условиях советской жизни. Если у народа не действует государственный инстинкт, то ни при каких географических, климатических и прочих условиях этот народ государства не создаст. Если народ обладает государственным инстинктом, то государство будет создано вопреки географии, вопреки климату и, если хотите, то даже и вопреки истории. Так было создано русское государство.

Эллинские философы вели друг с другом бесконечные дискуссии и строили свои философские системы, вовсе не имея в виду утверждать в будущих веках славу эллинского гения и снабжать гимназистов XX века материалами для школьной логики. Римский мужик, завоевавший сначала Лациум, потом Италию, потом Галлию, понятия не имел о том, что он строит будущую мировую Империю Рима. Русские землепроходцы и английские торговцы, пробиравшиеся к Берингову проливу или к Новой Зеландии, совершенно не имели в виду стройки Российской или Велико-

британской Империи: обе эти империи явились автоматическим результатом многовековой работы мнллноиов людей, имеи которых мы не узнаем иикогда. Рассудочные попыткн, не имевшие опоры в народном инстннкте, провалнвались и теперь проваливаются с совершеино исключительной последовательностью. В результате французских энциклопедистов Франция, вместо того чтобы освободить от тиранов все человечество, разгромила собственную Империю и привела «тиранов» в Париж, где «тираиы» и продиктовали потомкам Дидерота и Руссо свою державную волю. Германская философия до точкн, до мельчайших подробностей разработала теорию государства и власти, теорию «воли к власти» и права на власть, и результатом этого был первый Версальский мир, который был очень плох, и другой Версальский мир, который оказался намного хуже первого.

Вопросу о философии, о социализме н о практических результатах и той и другого я посвятил отдельную книгу[1], она, может быть, попадется на глаза читателю этой книги. А может быть, и не попадется, времена теперь социалистические. Во всяком случае, в данной работе темы о философии и о социализме я могу коснуться только мельком. Моя тема сейчас — это стройка русской государственности. И я хочу на самых простых практических прнмерах, лишенных какого бы то ни было теоретического обоснования, показать, как в аиалогичных случаях действовали немцы и как действовали русские и почему в одном случае получнлась Российская Империя, а в другом — хроническнй Версаль — то мир Вестфальский, то мир Версальский.

БЛИЖАЙШИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Пример номер один. — Приблизительно в IV веке нашей эры почти всю внешнюю европейскую Россию занимала так называемая готская нмперия — империя германского племени готов. На нее, как впоследствии на Киевскую н Московскую Русь, хлынули азиатские орды гуннов. Империя была разбита. Готы подчинились гуннам и в составе их орд пошли завоевывать Европу. Те жалкие остатки державного готского племени, которые уцелели после всего этого, через почти полторы тысячи лет обратились к русскому правнтельству с просьбой разрешить им поселиться на территории их бывшей Империи. Эго разрешение они получили и основали города Мариуполь и Армавир.

Русь также была разбита степными ордами. Но никуда не пошла, зарылась в суздальские леса и начала борьбу «всерьез и надолго» — очень всерьез и надолго. В результате этой борьбы монгольское население нынешнего СССР равняется только 1,7% всех остальных народов и племен Империи.

Пример номер два. — Куда бы ни приходили немцы, они автоматически организовывали феодальный строй — феодальный строй является типично иемецкнм способом государственного строительства. Немцы разгромили Римскую Империю и на ее развалинах создали путаную сеть королевств, баронств и даже республик. Они разгромили Византийскую Империю, и она сейчас же была поделена на феодальные владвния наиболее сильных или наиболее удачливых победнтелей. Та же судьба постигла Святую Землю — Палестину, в течение того очень короткого срока, когда крестоносцам удалось завладеть ею. Начав колонизовать Прибалтику, немцы сейчас же завели там свои старые порядки. Был Орден, были епнскопы, были бароны, у каждого из которых была своя баронская фантазия, свои замки и своя власть. Было купечество, которое воевало и против Ордена и против епископов, и епископы, которые воевали и против купечества и против баронов. На низах стонала превращенная в скотское состояние побежденная масса, которая пыталась воевать и против Ордена, и протнв епископов, и против баронов, и против купечества. Эта пятисотлетняя война всех против всех была наконец прекращена русским завоеваиием Прибалтики. До этого — в своих феодальных распрях то Орден звал на помощь шведскую интервенцию, то епископы — датскую, то бароны — польскую, то купечество — русскую. Страна систематически заливалась своей собственной кровью. Даже немецкие историки признают, что человеческая жизнь наступила только с завоеваиием Прибалтики при Петре I.

Пример номер три. — Куда бы немцы ни приходили, они усаживались иа плечи побежденного народа — в свою собственную пользу. И каждый норовил обрубиться в свой собственный феод, отгородиться стенами замков и от побежденных и от соплеменников, утвердить на своей терррттории свою волю и свои выгоды. Не забудем, что система внутринациональных феодальных войн была прекращена в Германии только в 1871 году. До этого германские государства воевали друг с другом на полный ход, и в каждой столице стояли памятники победителям над своим собственным народом. Возникали славные в Германии полководцы, которые во главе пятитысячных армий проделывали стоверстные походы н завоевывали территории, равные, скажем, одиой десятой доброго русского уезда. Этим полководцам тоже стоят памятники.

Наши Строгановы уселись на Урале, в сущности, совершеино самодержавными владыками. У них были и свои фииансы, и свое управление, и свои войска — поход Ермака Тимофеевича фиiнансировали они. Но устраивать собственный феод — им я в голову не приходило. Когда Василий Темный попал в плен к татарам, то Строгановы дали на выкуп двести тысяч рублей, сумму по тем времеиам совершенио неслыханную.

[1] «Диктатура импотентов». Изд. «Наша страиа», Буэнос-Айрес. 1949.

В Смутное время Строгановы имели полную техническую возможность организовать на Урале собственное феодальное королевство, как это в аналогичных условиях сделал бы н делал на практике любой немецкий барон. Вместо этого Строгановы несли в помощь созданию центральной российской власти все, что могли: и деньги, и оружне, н войска.

Ермак Тимофеевич, забравшись в Кучумское царство, имел все объективные возможности обрубнться в своей собственной баронии и на всех остальных наплевать. Еще больше возможиости имел Хабаров на Амуре — как было бы добраться до него за восемь тысяч верст непроходимой тайги, — если бы он обнаружил в себе желание завести собственную баронию, а в своих соратниках — понимание этого, для немцев само собой понятного желания. О Хабарове мы зиаем мало. Но можно с полной уверенностью предположить, что если бы он такое желание возымел, то соратники его посмотрели бы на него просто как иа сумасшедшего. Уральские люди, вероятно, точно так же посмотрели бы на Строгановых, если бы те вздумали действовать по западио-европейскому образцу. Так что поведение Строгановых и Хабаровых объясияется не только их собственными личными свойствами, но и тем, что *иные* свойства не нашли бы решительно никакой поддержки: и уральские мужики, и амурские землепроходцы повесили бы и Строгановых и Хабаровых, если бы те вздумали играть в какую бы то ии было самостийиость.

Немецкая система в русские мозги не укладывалась никак. Поэтому — Строгановы «билн челом» своими миллионами, Ермак — Сибирью, Хабаров — Амуром и многие другие люди — многими другими достижениями, приобретениями и завоеваниями. Даже и те русские, которые ухитрились угнездиться в Северной Америке — в нынешней Аляске и Калифорнии, и те ни разу не пытались как бы то ни было отделиться, отгородиться от цеитральной русской власти и завести свою собственную баронию.

Пример номер четыре. — Иван Грозный взял Казань. Взятие Казани сопровождалось поистине страшной резней. Об этой резне русские историки говорить не любят. Психологические и исторические основания для этой резни были вполне достаточны. Казань была одним из звеньев монгольской работорговли за счет русского народа. Но вот: Казань побеждена. Ее монгольское население включено в состав Империи. Оно сохраняет все свои прежиие права. Татарское дворянство остается дворянством — впоследствии татарский дворянин мог иметь, — и имел, русских крепостных, как русский дворянин мог иметь, — и имел, татарских крепостных. Бориса Годунова иикто не попрекает его татарским происхождением. Так побеждеиный народ включается в общую судьбу Империи — и в добре и во зле, и в несчастье. И он становится *частью* Империи. Если бы этого не было, то за время всех нашествий Россия раскололась бы уже десятки раз.

Германцы побеждают Рим — и римское население обращается в рабов. Германцы завоевывают Прибалтику — и ее иаселение превращается в рабов. Гитлер идет «свергать большевизм», и население оккупированных областей переживает то же, что переживали римляне в пятом веке и Балтика в двенадцатом. Германская «доминанта» не изменилась за полторы тысячи лет. Наша не изменилась за тысячу. «Империя Олега» *фактически* существовала уже в девятом веке. Священная Империя Германской Нации не существовала *никогда*.

Это все довольно ясно и достаточно очевидно. В истории есть все-таки факты, которых замолчать не могут даже историки. Но вот на фоне тысячелетней «удачи» русского строительства н полуторатысячелетних неудач немецкого — подымается со своего седалища русский философ и глаголет:

«У иас никогда не было идеологии государственной... Русский дух не может признать верховенства государствеиной идеи... Русским людям присущ своеобразный анархизм» (Николай Бердяев. «Новое Средневековье», с. 88).

Правда, другой из наших сеятелей — Николай Костомаров утверждает как раз противоположное: наиболее характернымн свойствами русской души он признает «стремление к воплощению государственного тела» и «практический материальный характер, которым вообще отличается сущиость русской истории». Но если посмотреть на «сущность русской истории» органами зрения, а не органами усидчивости, то будут совершенно ясны по крайней мере два факта: а) «государственное тело» оказалось «воплощенным» полнее, чем где бы то ни было и б) в процессе этого воплощения никаких материальных целей русский народ себе не ставил — если не считать материальной целью голую борьбу за свое физическое существование.

В мире меняется не так уж много: в конце первого тысячелетия после Рождества Христова русский народ точно так же боролся против печенегов Азии, как в конце второго — против печенегов Европы — и оба этих печенежских варианта ставили себе одни и те же цели: одни без Гегеля, другие — с Гегелем, но все-таки одни и те же цели. Никто и никогда не вел против России народной войны — н России всегда приходилось вставать на дыбы партизанщины — и против печенегов востока и против печенегов запада. Наши войны, по крайней мере большие войны, всегда имели характер химически чистой обороны. Так же, как германские — завоевания и английские — рынки. Не поэтому ли на трех языках термин война так близок терминам: добычи — в иемецком языке (der Krieg — kriegen); торговли — в английском (the

war and the ware); и бедствия — в русском (вой и война)? Все великие завоевания кончались на нашей территории — и нашей кровью. Завоеватели выигрывали мало, — но не так много выигрывали и мы. Однако все-таки больше.

СХЕМА НАШЕЙ ИСТОРИИ

Основная задача русской общественной мысли заключается в ее собственном обезвздоривании. Нужно как-то слезть с высот органов усидчивости, отбросить в сторону теории и мелочи, цитаты и философии, шпаргалку и моду и установить ряд крупных, решающих и очевидных фактов. Русская история, в сущности, очень проста — при всей ее трагичности. В самую раннюю, еще полумифическую эпоху русской государственности мы уже застаем позднейшую Россию в качестве огромного, многонационального, централизованного государства, охватывающего территорию от Финского залива почти до Черного моря — Империю Рюриковичей, по Марксу. Эта империя вела чрезвычайно упорную и успешную борьбу с монгольской степью, пока западные влияния (Венгрия, Польша, отчасти и Германия) не внесли в среду правящего слоя элементов феодального разложения (уделы). Разложенная изнутри, Киевская Русь была разгромлена степью.

Ее лучшие элементы эмигрировали на север, в суздальские леса (как в 1917 году за границу), и там взялись за воссоздание демократической и монархической центральной власти. Социальную базу этого воссоздания составили народные низы северной Руси, мизинные люди по тогдашней терминологии. Наследники Боголюбского еще не успели закончить этого процесса, когда на Русь свалилось татарское нашествие. Князья были разбиты поодиночке, и из северных лесов, при постоянной поддержке народных низов, стала шириться новая — на этот раз московская, — монархическая власть. В объединительной работе Москвы — низы всегда стояли на ее стороне. Наиболее яркий пример — отказ новгородской мизинной рати биться против московского войска и разгром Новгорода (битва при Шелони).

В беспримерных по тяжести условиях — Русь снова была объединена и степь снова была разгромлена. Иван Грозный, продолжая политику своих предшественников и опираясь на народные низы, громит остатки удельной аристократии и заканчивает давно начатую при его предшественниках организацию широчайшего крестьянского самоуправления.

После Грозного Россия остается без династии. Остатки удельной аристократии предают выборного царя Бориса, организуют через подставного царевича Дмитрия польскую интервенцию, осложненную внутренними неурядицами в стране. Страна, оставшаяся вовсе без правительства, импровизирует армию и власть, полностью ликвидирует и интервентов и «воров». Тяглые (то есть податные) мужики, заняв Москву, немедленно реставрируют наследственную царскую власть. За весь период Смутного времени, несмотря на анархию и разорение страны — не возникло ни **одного** сепаратистского движения. При втором царе новой династии украинские низы, так же как раньше новгородские, переходят на сторону Москвы, ломая сопротивление своей аристократии (старшины). Польша терпит окончательное поражение и окончательно выбывает из состава решающих государств Европы. При Петре польскую попытку повторяет Швеция — и навсегда уходит с европейской арены.

Но эпоха Петра вносит в историю России нечто принципиально новое. Петр громит московскую традицию, переносит правительственную базу в Петербург и умирает, не оставив после себя ни традиции, ни наследника. Почти на сто лет Россия остается без монархии — ее место занимает власть случайных женщин на престоле. Правящий слой страны отъединяется от народа и культурно и морально, освобождает себя от всех обязанностей по отношению к стране и утверждает крепостное право. Страна отвечает Пугачевским восстанием. Но в тяжкую для России годину — в 1812 году она забывает о дворянском крепостном праве, как в 1941 забыла о советском, чтобы сокрушить очередного врага.

Итак, на протяжении тысячи лет Россия последовательно разгромила величайшие военные могущества, какие только появлялись на европейской территории: монголов, Польшу, Швецию, Францию и Германию. Параллельно с этим рядом ударов была ликвидирована Турецкая Империя. В результате этого процесса Россия, которая к началу княжения Ивана III, в 1464 году, охватывала территорию в 550.000 кв. км, в год его смерти — 1505 — имела 2.225.000; в 1584 (год смерти Грозного) — 4.200.000; к концу царствования Феодора — 7.100.000; в 1613 (воцарение Михаила) — 8.500.000; в 1645 г. — 12.300.000; до Петра — 15.500.000; к 1796 (год смерти Екатерины II) — 19.300.000 и к концу царствования Николая II — 21.800.000 кв. километров.

	1480	1580	1680	1780	1880	1895
Россия (только европейская)	2,1	4,3	12,6	26,8	84,5	110,0
Австрия	9,5	16,5	14,0	20,2	37,8	44,8
Англия (без колоний)	3,7	4,6	5,5	9,6	35,0	39,3
Франция (без колоний)	18,6	14,3	18,8	25,1	37,4	38,4
Италия	9,2	10,4	11,5	12,2	28,9	31,2
Испания	8,8	8,2	9,2	10,0	16,3	19,0

Ее население по сравнению с главнейшими европейскими государствами росло (см. табл. на стр. 158) так (в миллионах).

Так в течение веков рос народ и росла его территория.

Для объяснения этого роста было сконструировано несколько историко-политических теорий.

ПЕРВАЯ:

Русскому народу посчастливилось усесться на равнине, которая ничем не препятствовала ему растекаться по разным направлениям от его исходного пункта. Эта теория не дает ответа на ряд очень простых вопросов: а) почему на той же территории не удалось «растекаться» другим народам: хазарам, половцам, готам, болгарам, татарам, финско-угорским племенам и прочим? б) Почему, например, на ту же территорию не удалось растечься полякам, которые тоже около тысячи лет пробовали заняться колонизацией не только украинских степей, но и центральной Руси? в) Эта теория совершенно упускает из виду, что, «растекаясь», русский народ перешел два горных хребта — Уральский и Кавказский — не говоря уже о Яблоновом и Становом, что он одно время перешел и через северный отрезок Тихого океана (наше продвижение на Аляску и Калифорнию) и что растекание это вовсе не было таким простым и безболезненным, как это принимает наша неудачная геополитическая теория: за обладание берегами Балтийского и Черного морей страна вела многовековые и исключительно тяжелые войны.

Эта теория упускает из вида и еще одно обстоятельство: если русская равнина не ставила препятствий к растеканию русского племени — то она же не ставила препятствий и для иностранных нашествий. Начиная от полумифических обров и кончая розенберговским «Мифом XX века» сюда лезли все. И все пережили одну и ту же судьбу: окончательный и бесповоротный разгром.

ВТОРАЯ:

Пресловутая теория призвания варягов, возникшая — увы — на нашей собственной почве, впоследствии разрослась — в особенности в Германии — в целое учение, столь же простое, стройное и необременительное для серого вещества мозга, как и марксизм. Это — расистская теория. Подобно тому, как для марксиста избранным племенем является пролетариат — так для расизма им являются германцы, которые-де своим творческим гением оплодотворили пассивную славянскую расу и создали русскую государственность под германским руководством. Эта теория сыграла свою историческую роль — кровавую и тяжкую, в особенности для Германии. Но она не могла и не может ответить на очень простой вопрос: почему же государственно одаренная германская раса на своей собственной территории — в создании собственного государственного единства — лет на четыреста отстала от России? И почему та же германская «нордическая» раса в ее самом химически чистом виде — в Швеции и в Норвегии так и не смогла и до сих пор слиться в одно государственное образование?

ТРЕТЬЯ:

Старая официальная теория утверждала, что русскую историю творило русское правительство — русские цари. В этой книге я стараюсь показать, **как Россия творила царей** — а не цари Россию. За тысячу лет у нас были удачные монархи и были неудачные — но страна росла и ширилась при всех них. Приведу такой пример: при совсем приличном по тем временам правительстве Александра I Россия справилась со всей Европой приблизительно в полгода. При исключительном по своей бездарности правительстве Петра I — на Швецию понадобился 21 год. Совсем без правительства в эпоху Смутного времени поляки были ликвидированы примерно в шесть лет. Следовательно — никак не отрицая огромной роли правительства — надо все-таки сказать, что это — величина производная и второстепенная. Решает страна. Правительство помогает (Александр I), портит (Петр I) или отсутствует вовсе (Смутное время), но решает не оно: решает народ. Однако народ решает не как физическая масса. Не как двести миллионов людей — по пяти пудов в среднем — итого около миллиарда пудов живого веса, а как сумма индивидуальностей, объединенных не только общностью истории и географии, но и общностью известных психологических черт. И если в каждом отдельном человеке данные черты и не будут бросаться в глаза — как цвет воды в каждой отдельной капле, то повторенные в миллионах и миллионах людей, они дают совершенно определенную окраску всей массе — как те же «бесцветные капли» в океанах и морях.

Но и двести миллионов — они тоже с неба не свалились: они являются результатом определенного психического склада данного народа. И если в 1480 году Испания имела в четыре раза больше людей, чем Россия, а в 1914 году Россия имела в десять раз больше, чем Испания, то это никак не является результатом благодатного климата Испании или суровой русской зимы. И не результатом испанской географии: Испания является почти такой же приморской страной, как Англия, и свою империю она потеряла не из-за географии, а из-за психологии: там, где англичане торговали и организовывали, — испанцы резали и жгли: психология, а не география определила гибель испанской империи.

Если пятьсот лет тому назад «Россия» это были пятьсот тысяч квадратных километров, на которых жило два миллиона русских людей, а к настояще-

му времени — это двадцать миллионов кв. км, на которых живут двести миллионов людей, то дело тут не в географии и не в климате, а в том биологическом инстинкте народа, в той его воле к жизни, которые позволили ему стать «победителем в жизненной борьбе». Дело тут не в царях — дело в той дарвиновской реакции на среду, которая оказалась правильнее, скажем, испанской или польской. Несмотря на все ошибки, падения и катастрофы, идущие сквозь трагическую нашу историю, народ умел находить выход из, казалось бы, вовсе безвыходных положений, становиться на ноги после тягчайших ошибок и поражений, правильно ставить свои цели и находить правильные пути их достижения. Если бы не эти свойства — никакая «география» не помогла бы. И мы были бы даже не Испанией или Польшей, — а не то улусом какой-нибудь монгольской орды, не то колониальным владением Польши, не то восточно-европейским «комиссариатом» берлинского министерства восточных дел.

Если всего этого не случилось, а «случилась» Российская Империя, то совершенно очевидно, что в характере, в инстинкте, в духе русского народа есть свойства, которые, во-первых, отличают его от других народов мира — англичан и немцев, испанцев и поляков, евреев и цыган и которые, во-вторых, на протяжении тысячи лет проявили себя с достаточной определенностью. Однако если мы пытаемся установить эти свойства на основании так называемых литературных источников, то тут мы попадем в область форменной неразберихи.

* * *

Немец Оскар Шпенглер, автор знаменитой «Гибели Европы», писал:

«Примитивный московский царизм — единственная форма правления, еще и сейчас естественная для русского... нация, назначение которой — еще в течение ряда поколений жить вне истории... В царской России не было буржуазии, не было государства вообще... вовсе не было городов. Москва не имела собственной души» (Унтерганг дес Абендсландес, 2, с. 232). Оскар Шпенглер не принадлежит к числу самых глупых властителей дум Германии — есть значительно глупее. И эту цитату нельзя целиком взваливать на плечи пророка гибели Европы: он все это списал из русской литературы. У нас прошел как-то мало замеченным тот факт, что вся немецкая концепция завоевания востока была целиком списана из произведений русских властителей дум. Основные мысли партайгеноссе Альфреда Розенберга почти буквально списаны с партийного товарища Максима Горького. Достоевский был обсосан до косточки. Золотые россыпи толстовского непротивленчества были разработаны до последней песчинки. А потом — получилось — форменная ерунда. «Унылые тараканьи странствования, которые мы называем русской историей» (формулировка М. Горького), каким-то непонятным образом пока что кончилась в Берлине и на Эльбе. «Любовь к страданию», открытая в русской душе Достоевским, как-то не смогла ужиться с режимом оккупационных шпенглеров. Каратаевы взялись за дубье, обломовы прошли тысячи две верст на восток и потом почти три тысячи верст на запад. И «нация, назначение которой еще в течение ряда поколений жить вне истории», сейчас делает даже и немецкую историю. Делает очень плохо, но все-таки делает.

Наша великая русская литература — за немногими исключениями — спровоцировала нас на революцию. Она же спровоцировала немцев на завоевание. В самом деле: почему же нет? «Тараканьи странствования», «бродячая монгольская кровь» (тоже горьковская формулировка), любовь к страданию, отсутствие государственной идеи, обломовы и каратаевы — пустое место. Природа же, как известно, не терпит пустоты. Немцы и поперли: на пустое место, указанное им русской общественной мыслью. Как и русские — в революционный рай, им тою же мыслью предуказанный. Я думаю, — точнее, я надеюсь, — что мы, русские, от философии излечились навсегда. Немцы, я боюсь, не смогут излечиться никогда. О своих безнадежных спорах с немецкой профессурой в Берлине 1938—39 года я рассказываю в другом месте. Здесь же я хочу установить только один факт: немцы знали русскую литературу и немцы сделали из нее правильные выводы. Логически и политически неизбежные выводы. Если «с давних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасенья», если, кроме лишних и босых людей, на востоке нет действительно ничего — то нужно же наконец этот восток как-то привести в порядок. Почти по Петру: «добрый аншталът завести». Аншталът кончился плохо. И — самое удивительное — не в первый ведь раз!

Немецкая профессура — папа и мама всей остальной профессуры в мире — в самой яркой степени отражает основную гегелевскую точку зрения: «тем хуже для фактов». Я перечислял факты. Против каждого факта каждый профессор выдвигал цитату — вот вроде горьковской. Цитата была правильна, неоспорима и точна. Она не стоила ни копейки. Но она была «научной». Так в умах всей Германии, а вместе с ней, вероятно, и во всем остальном мире русская литературная продукция создала заведомо облыжный образ России, — и этот образ спровоцировал Германию на войну. Русская литературная продукция была художественным, но почти сплошным враньем. Сейчас в этом не может быть никаких сомнений. Советская комендатура на престоле немецкого «мирового духа», русская чрезвычайка на кафедре русского богоискательства, волжские немцы и крымские татары, высланные на север Сибири из бывшей «царской тюрьмы народов», «пролетарии всех стран», вырезывающие друг друга — пока что ДО предпоследнего, — все это ведь факты. Вопрос заключается в том: какими именно новыми цитатами будет прикрыта бесстыдная нагота этих бесспорных фактов?

Русскую «душу» никто не изучал по ее конкретным поступкам, делам и деяниям. Ее изучали «по образам русской литературы». Если из этой литературы отбросить такую — совершенно уже вопиющую ерунду, как горьковские «тараканьи странствования», то остается все-таки действительно великая русская литература — литература Пушкина, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова и, если уж хотите, то даже и Зощенко. Что-то ведь «отображал» и Зощенко. Вопрос только: что именно отображали все они — от Пушкина до Зощенко?

Онегины, Маниловы, Обломовы, Безуховы и прочие птенцы прочих дворянских гнезд, — говоря чисто социологически, — были бездельниками и больше ничем. И, — говоря чисто прозаически, — бесились с жиру. Онегин от безделья ухлопал своего друга, Рудин от того же безделья готов был ухлопать полмира. Безухов и Манилов мечтали о всяких хороших вещах. Их внуки — Базаров и Верховенский — о менее хороших вещах. Но тоже о воображаемых вещах. Потом пришло новое поколение: Чехов, Горький, Андреев. Они, вообще говоря, «боролись с мещанством», — тоже чисто воображаемым, — ибо если уж где в мире и было «мещанство», то меньше всего в России, где и «третьего-то сословия» почти не существовало и где «мелкобуржуазная психология» была выражена менее ярко, чем где бы то ни было в мире.

Все это, вместе взятое, было окрашено в цвета преклонения перед Европой, перед «страной святых чудес» — где, как это практически, на голом опыте собственной шкуры установила русская эмиграция, — не было никаких ни святых, ни чудес. Была одна сплошная сберкасса, которая, однако, сберегла мало. В соответствии с преклонением перед чудотворными святынями Европы трактовалась и греховодная российская жизнь. С фактическим положением вещей русская литература не стеснялась никак. Даже и Достоевский, который судорожно и болезненно старался показать, что и нас не следует «за псы держати», что и мы люди, — и тот каким-то странным образом проворонил факт существования тысячелетней империи, жертвы, во имя ее понесенные в течение одиннадцати веков, и результаты, в течение тех же веков достигнутые. Достоевский рисует людей, каких я лично никогда в своей жизни не видал — и не слыхал, чтобы кто-нибудь видал, а Зощенко рисует советский быт, какого в реальности никогда не существовало.

В первые годы советско-германской войны — немцы старательно переводили и издавали Зощенко: вот вам, посмотрите, какие наследники родились у лишних и босых людей? Я, как читателям, вероятно, известно, никак не принадлежу к числу энтузиастов советского строительства. Но то, что пишет Зощенко, есть не сатира, не карикатура и даже не совсем анекдот: это просто издевательство. Так, с другой стороны, — издевательством был и Саша Черный. Саша Черный живописал никогда не существовавшую царскую Россию, как Зощенко — никогда не существовавшую советскую. Саша Черный писал:

...Читали, — как сын полицмейстера
ездил по городу,
Таскал почтеннейших граждан
за бороду,
От нечего делать
нагайкой их сек —
— Один — пятьдесят человек?

Никто этого «не читал». Но все думали, что, вероятно, где-то об этом было написано: не выдумал же Саша Черный! Эти стишки, переправленные за границу, создавали впечатление о быте, где такие вещи, может быть, и не случаются каждый день, но все-таки случаются: вот катается сын полицмейстера по городу и таскает почтеннейших граждан за бороду. А граждане «плакали, плакали, написали письма в редакцию — и обвинили реакцию»... — Абсолютная чушь. Неприкосновенность физиономии была в царской России охранена, вероятно, больше, чем где бы то ни было во всем остальном мире: телесных наказаний у нас не было, а в Англии они были по закону, в Германии — и по закону и по обычаю. В царской полиции действительно били — так били и бьют во всех полициях мира, — вспомните «Лунные скитания» Джека Лондона и «Джимми Хиггинс» Эптона Синклера. Точно так же и в советских концлагерях, в мое время по крайней мере, с заключенными и даже с обреченными обращались вежливее, чем не только в Дахау, но и в лагерях Ди-Пи. Но всякую чушь, которая подвергалась, так сказать, художественному запечатлению, — попадала в архив цитат, в арсенал политических представлений — и вот попер бедный наш Фриц завоевывать зощенковских наследников, чеховских лишних людей. И напоролся на русских, никакой литературой в мире не предусмотренных вовсе. Я видел этого Фрица за все годы войны. Я должен отдать справедливость этому Фрицу: он был не столько обижен, сколько изумлен: позвольте, как же это так — так о чем же нам сто лет подряд писали и говорили, так как же так вышло, так где же эти босые и лишние люди? Фриц был очень изумлен. Но в свое время проврававшаяся профессура накидывается на Фрица с сотни других сторон и начинает врать ему так, как не врала, может быть, еще никогда в ее славной научной карьере.

* * *

Дело, в частности, заключается в том, что всякая литература, в особенности большая литература, всегда яв-

ляется кривым зеркалом жизни. Ее интересует конфликт и *только* конфликт. Л. Толстой так и начал свою «Анну Каренину»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Если конфликта нет — то литературе, собственно, не о чем и рассказывать. Тогда получаются то ли старосветские помещики, к которым с такой иронией относится Гоголь, то ли «Герман и Доротея», которых так снисходительно замалчивают любители Гёте. Аристократический стиль трагедии, где «личность» вступает в роковой конфликт с «роком», или плебейский стиль юмористики, где конфликт вырождается в нелепость, в чепуху, в сапоги всмятку, или буржуазная драма, где личность борется с «социальными условиями», со «средой», — все это занимается поисками конфликта в первую голову.

Большая литература есть *всегда* литература обличительная. Именно поэтому благонамеренной литературы нет и быть не может. Тоталитарные режимы не имеют обличения — не имеют литературы. «Обличение» обличает всякие неувязки жизни — их есть всегда достаточное количество. Но *творчество* жизни также *всегда* проходит мимо литературы. Счастливая семья, занимающаяся творчеством новых поколений, — о чем тут писать? Толстой попробовал, но кроме пеленок Наташи Ростовой-Безуховой и пуговичек Долли — даже и у него ничего не получилось. Или — получилось что-то скучное. Критика разводит руками: зачем нужны были эти пеленки?

Русская литература — это почти единственное, что Запад более или менее знал о России и поэтому судил о русском человеке по русской литературе. Англию мир знал лучше. И поэтому даже и не пытался объяснять судьбы Великобританской Империи то ли байроновским пессимизмом, то ли гамлетовской нерешительностью — Байрон — Байроном, Гамлет — Гамлетом, а Великобританская Империя — она сама по себе, независимо от байронов и гамлетов. С нами случилось иначе.

Петровская реформа разделила Русь на две части: первая — дворянство и вторая — все остальное. Вся эта книга, по существу, посвящена вопросу этого раздвоения, и поэтому здесь я коснусь его только мельком. Укрепив свой правящий центр в далеком нерусском Петербурге, устранив на сто лет русскую монархию, превратив себя — в шляхту, а крестьянство — в быдло, согнув в бараний рог духовенство, купечество и посадских людей, — дворянство оказалось в некоем не очень блистательном одиночестве. Общий язык со страной был потерян — и в переносном и в самом прямом смысле этого слова: дворянство стало говорить по-французски, и русский язык, по Тургеневу «великий, свободный и могучий», остался языком плебса, черни, «подлых людей», по терминологии того времени. Одиночество не было ни блестящим, ни длительным. С одной стороны — мужик резал, с другой стороны — и совесть все-таки заедала, с третьей — грозила монархия. И как ни глубока была измена русскому народу — русское дворянство все-таки оставалось русским — и его психологический склад не был все-таки изуродован до конца: та совестливость, которая свойственна русскому народу вообще, оставалась и в дворянстве. Отсюда тип «кающегося дворянина». Это покаяние не было только предчувствием гибели — польскому шляхтичу тоже было что предчувствовать, однако ни покаяниями, ни хождениями в народ он не занимался никогда. Не каялись также ни прусский юнкер, ни французский виконт. Это было явлением чисто морального порядка, явлением чисто национальным: ни в какой иной стране мира кающихся дворян не существовало. Сейчас, после революции, мы можем сказать, что это дворянство каялось не совсем по настоящему адресу и что именно из него выросли наши дворянские революционеры — начиная от Новикова и кончая Лениным. Но в прошлом столетии этого было еще не видно.

Русская дворянская литература родилась в век нашего национального раздвоения. Она, говоря грубо, началась Карамзиным и кончилась Буниным. Пропасть между пописывающим барином и попахивающим мужиком оказалась непреодолимой: общий язык был потерян, и найти его не удалось. Барин мог каяться и мог не каяться. Мог «ходить в народ» и мог кататься на «теплые воды» — от этого не менялось уже ничто. Граф Лев Толстой мог гримироваться под мужичка и щеголять босыми своими ногами — но ничего, кроме дешевой театральщины, из этого получиться не могло: мужик Толстому все равно не верил: блажит барин, с жиру бесится.

Не чувствовать этого Толстой, конечно, не мог. Горький в своих воспоминаниях о Толстом описывает свой спор с великим писателем земли русской: великий писатель утверждал, что мужик в реальности никогда не говорит так, как он говорит у Горького: его-де речь туманна, запутанна и пересыпана всякими тово да тае. Горький, боготворивший Толстого, — не вполне, впрочем, искренне, — никак не мог простить фальши в толстовском утверждении: «я-то мужика знаю — сам мужик». Толстовское утверждение было так же фальшиво, как были фальшивы и толстовские босые ноги. Мужик же говорит в разных случаях по-разному. Разговаривая с барином, которого он веками привык считать наследственным врагом, мужик, естественно, будет мычать: зачем ему высказывать свои мысли? Отсюда и возник псевдонародный толстовский язык. Но вне общения с барином — речь русского мужика на редкость сочна, образна, выразительна и ярка. *Этой* речи Толстой слыхать не мог. Он, вечный Нехлюдов, все пытался как-то благотворить мужику барскими

копейками — за счет рублей, у того же мужика награбленных. Ничего, кроме взаимных недоразумений, получиться не могло.

Толстой — самый характерный из русских дворянских писателей. И вы видите: как только он выходит из пределов своей родной, привычной дворянской семьи, все у него получает пасквильный оттенок: купцы и врачи, адвокаты и судьи, промышленники и мастеровые — все это дано в какой-то брезгливой карикатуре. Даже и дворяне, изменившие единственно приличествующему дворянскому образу жизни — поместью и войне, оказываются никому не нужными идиотиками (Кознышев). Толстой мог рисовать усадьбу — она была дворянской усадьбой, мог рисовать войну — она была дворянским делом, — но вне этого круга получались или карикатура вроде Каренина, или ерунда вроде Каратаева.

Каратаевых на Руси, само собою разумеется, не было. Это только мягкая подушка, на которой спокойно могла бы заснуть дворянская совесть. Этакая божья коровка, которую так уютно можно доить. Но доить — надолго не удалось. Вокруг яснополянских дворянских гнезд подымалась новая непонятная, враждебная, страшная жизнь: Колупаевы, Разуваевы стали строить железные дороги. Каратаевы стали по клочкам обрывать дворянское землевладение, Халтюпкины стали строить школы. И Стива Облонский идет на поклон к «жиду концессионеру»: он, рюрикович, — все пропил и все проел, но работать он, извините, и не желает и не может. Куда же деваться ему, рюриковичу?

На этот вопрос дал ответ последний дворянский писатель России — Иван Бунин:

Что ж? Камин затоплю, стану пить...
Хорошо бы собаку купить.

Но не удались ни камин, ни собака: пришлось бежать. И бунинские «Окаянные дни», вышедшие уже в эмиграции, полны поистине лютой злобы — злобы против русского народа вообще. От литературных упражнений Ивана Бунина не отстают публицистические упражнения Александра Салтыкова — вероятно, потомка того Салтыкова, который столь доблестно проявил себя в семибоярщине и посоветовал полякам сжечь Москву. У Салтыкова все ясно до полной оголенности, никаких фиговых листочков. Российское государство, *вопреки* русскому народу и преодолевая его азиатское сопротивление, построили немцы, шведы, поляки, латыши и прочие. Сам он — государственного смысла совершенно лишен. Придите кто угодно — только верните мне, Александру Салтыкову, поместья мои — ибо мне без них — крышка.

* * *

Психология русского народа была подана всему читающему миру сквозь призму дворянской литературы и дворянского мироощущения. Дворянин нераскаянный — вроде Бунина, и дворянин кающийся — вроде Бакунина, Лаврова и прочих, все они одинаково были чужды народу. Нераскаянные — искали на Западе злачных мест, кающиеся искали там же злачных идей. Нераскаянные говорили об азиатской русской массе, кающиеся — об азиатской русской монархии, некоторые (Чаадаев) — об азиатской русской государственности вообще. Но все они не хотели, не могли, *боялись* понять и русскую историю и русский дух. Лев Толстой доходит до полной, — конечно, кажущейся — беспомощности, когда он устами Кознышева или Свияжского никак не может объяснить бедняге Левину — так зачем же, собственно, нужны народу грамота, школы, больницы, земство. Дворянству они не нужны — и Левин формулирует это с поистине завидной наивностью. Но зачем они нужны народу? И нужен ли народу сам Левин? До *этого* даже Толстой договориться не посмел: это значило бы поставить крест над яснополянскими гнездами — такими родными, привычными и уютными. Что делать? Все люди — человеки. Пушкин точно так же не смог отказаться от крепостного права, как и Костюшко, требовавший в своем знаменитом универсале немедленного освобождения польских крестьян — для их борьбы с Россией — своих крестьян так и не освободивший...

Толстой сам признавался, что ему дорог и понятен только мир русской аристократии. Но он недоговорил: все, что выходило из пределов этого мира, было ему или неинтересно, или отвратительно. Отвращение к сегодняшнему дню в дни оскудения, гибели этой аристократии — больше чем что бы то ни было другое — толкнуло Толстого в его скудную философию отречения. Но трагедию надлома переживал не один Толстой — по-разному ее переживала вся русская литература. И вся она, вместе взятая, дала миру изысканно кривое зеркало русской души.

Грибоедов писал свое «Горе от ума» сейчас же после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который «слова умного не выговорил сроду», — других типов из русской армии Грибоедов не нашел. А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник — «золотой мешок и метит в генералы». А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ? Или чеховские «лишние люди» строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки — русскую промышленность? Или толстовский Каратаев — крестьянскую кооперацию? Или, наконец, «мягкотелая» и «безвольная» русская интеллигенция — русскую социалистическую революцию?

Литература есть *всегда* кривое зеркало жизни. Но в русском примере

эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое измерение. Из русской р е а л ь н о с т и наша литература не отразила почти ничего. Отразила ли она идеалы русского народа? Или явилась результатом разброда нашего национального сознания? Или, сверх всего этого, Толстой выразил свою тоску по умиравшим дворянским гнездам, Достоевский — свою эпилепсию, Чехов — свою чахотку и Горький — свою злобную и безграничную жажду денег, которую он смог кое-как удовлетворить только на самом склоне своей жизни, да и то за счет совзнаков?

Я не берусь ответить на этот вопрос. Но во всяком случае — русская литература отразила много слабостей России и не отразила ни одной из ее сильных сторон. Да и слабости-то были выдуманные. И когда страшные годы военных и революционных испытаний смыли с поверхности народной жизни накипь литературного словоблудия, то изпод художественной бутафории Маниловых и Обломовых, Каратаевых и Безуховых, Гамлетов Щигровского уезда и москвичей в гарольдовом плаще, лишних людей и босяков откуда-то возникли совершенно не предусмотренные литературой люди железной воли. Откуда они взялись? Неужели их раньше и вовсе не было? Неужели сверхчеловеческое упорство обоих лагерей нашей гражданской войны, и белого и красного, родилось только 25 октября 1917 года? И никакого железа в русском народном характере не смог раньше обнаружить самый тщательный литературный анализ?

Мимо настоящей русской жизни русская литература прошла совсем стороной. Ни нашего государственного строительства, ни нашей военной мощи, ни наших организационных талантов, ни наших беспримерных в истории человечества воли, настойчивости и упорства — ничего этого наша литература не заметила вовсе. По всему миру — да и по нашему собственному сознанию тоже — получила хождение этакая уродистая карикатура, отражавшая то надвигающуюся дворянскую беспризорность, то чахотку или эпилепсию писателя, то какие-то поднебесные замыслы, с русской жизнью ничего общего не имевшие. И эта карикатура, пройдя по всем иностранным рынкам, создала уродливое представление о России, п с и х о л о г и ч е с к и р е ш и в ш е е начало второй мировой войны, а может быть, и первой.

Во вторую мировую войну, еще больше, чем в первую, цели Германии лежали на востоке: германский меч должен завоевать земли для германского плуга. Это было, так сказать, пожелание. В какой именно степени реальные возможности Германии соответствовали ее политическим пожеланиям? Или, иначе, в какой степени Россия — в данном случае советская — являлась «колоссом на глиняных ногах», для ликвидации которого достаточно одного штыкового толчка?

От ответа на этот вопрос зависели мир или война. Ибо если Россия — хотя бы и советская — стоит не совсем на глиняных ногах, если война станет затяжной, то германо-советское военное столкновение неизбежно перерастет в войну мирового масштаба: в Германию, увязшую на востоке, обязательно вцепятся ее враги с запада.

Так стоял вопрос до сентября 1939 года. К июню 1941 года он обострился до крайности. Идя к власти, Гитлер указывал на крупнейшую ошибку вильгельмовской Германии — на недопустимую и самоубийственную роскошь войны на два фронта. В 1941 году один фронт уже был: английский. Была ли Россия «фронтом» вообще? Или германо-советская война будет только увеселительной военной прогулкой, которая закончится намного раньше, чем Англия и САСШ успеют закончить организацию своих армий?

От ответа на этот вопрос зависела не только война на востоке, но и война вообще. Я опускаю политические подробности второй мировой войны и беру только самое существенное: война не была бы самоубийством только и исключительно в том случае, если бы информация германских, также и прочих других экспертов по русским делам оказалась правильною: колосс, который раньше стоял на глиняных ногах, сейчас стоит совсем уж на соломинках.

Отбросим в сторону всякие моральные соображения и попробуем оценить германскую экспертизу только по ее техническим возможностям. По результатам — история оценила и без нас.

Основной фон всей иностранной информации о России дала русская литература: вот вам, пожалуйста. Обломовы и маниловы, лишние люди, бедные люди, идиоты и босяки. «Война и мир» была исключением, но она написана о делах давно минувших дней — о дворянстве, которое революцией истреблено.

На этом общем фоне расписывала свои отдельные узоры и эмиграция: раньше довоенная революционная, потом послевоенная контрреволюционная. Врали обе. Довоенная оболгала русскую монархию, послевоенная оболгала русский народ. Довоенная болтала об азиатском деспотизме, воспитавшем рабские пороки народа, послевоенная — о народной азиатчине, разорившей дворянские гнезда, единственные очаги европейской культуры на безбрежности печенежских пустынь. Германия, кроме того, имела и специалистов третьей разновидности: балтийских немцев, которые ненавидели Россию за русификацию Прибалтики, монархию — за разгром дворянских привилегий, православие — за его роль морального барьера против западных влияний и большевизм — само собою разумеется за что.

Таким образом, в представлении иностранцев о России создалась довольно стройная картина. Она была обоснована документально — ссылками на русские же «авторитеты». Она была выдержана логически: из этих ссылок были сделаны совершенно логические выводы. В частности, в немецком представлении Россия была «колоссом на глиняных ногах», который в свое время кое-как поддерживали немцы — как государственно одаренная раса. Образ этого колосса, кроме того, совершенно соответствовал и немецким вожделениям. Таким образом «сущее» и «желаемое» сливались вполне гармонически, — до горького опыта второй мировой. Потом пришло некоторое разочарование, и немецкая послевоенная пресса с некоторым удивлением отмечает тот странный факт, что литература, по крайней мере художественная, вовсе не обязательно отражает в себе национальную психологию. Не слишком полно отражает ее и историческая литература, отражающая, по Випперу, не столько историческую реальность прошлого, сколько политические нужды настоящего. Строится м и ф. Миф облекается в бумажные одеяния из цитат. Миф манит. Потом он сталкивается с реальностью — и от мифа остаются только клочки бумаги, густо пропитанные кровью.

Настоящая реальность таинственной русской души — ее д о м и н а н т а — заключается в государственном инстинкте русского народа, или, что почти одно и то же, в его инстинкте о б щ е ж и т и я.

* * *

Характер народа, как и характер отдельного человека, дан от рождения. Судьба отдельного человека определяется главным образом его характером, но и в ней играет роль и то, что мы называем случайностью. Сто лет тому назад такая случайность, как рождение в крепостном сословии, коверкала любую человеческую жизнь. Сейчас количество такого рода случайностей урезано очень сильно. В наиболее «демократической» стране так называемого капиталистического мира — в Америке — рождение на низах социальной лестницы ничего уже не коверкает и даже ничего не преграждает: если не большинство, то, во всяком случае, очень значительная часть современных капитанов американской промышленности, финансов, политики и прочего вышла из совершенно пролетарских слоев населения. «Несчастные случайности» урезаны очень сильно. Остается еще много счастливых. Но и они, в значительной степени, урезываются наличием биржевых порядков: наследника любых миллионов, если он сам по себе недостаточно зубаст, биржа в конце концов съест: шансы уравниваются снова. В Европе привилегии правящих слоев и до сего времени играют весьма важную роль — в особенности в Англии, которая обычно считается столь же «демократической» страной, как и Америка. Термин «демократический» я беру в кавычки не без некоторого ехидства: сейчас демократиями считают себя все, такая мода. Но даже и в Англии социальные привилегии постепенно теряют свою былую роль. Чемберлен-дед был сапожником, а его сын — премьер-министром Британской Империи. М-р Макдональд и м-р Бевин были простыми рабочими.

Философское объяснение случайности формулируется так: скрещение в одной точке времени и пространства двух причинных рядов, друг от друга не зависящих. Переведем это на житейский язык. Вы спешите на любовное свидание и по пролетарскому вашему происхождению идете пешком. Мистер Джонс спешит в банк и по буржуазному своему происхождению едет в авто. На некоем перекрестке и в некий момент времени оба друг от друга не зависящих причинных ряда скрещиваются в одной точке пространства и времени — и вы попадаете под колеса.

И для мистера Джонса, и еще больше для вас, это обстоятельство является случайностью. Но оно не является случайностью для страхового общества, которое застраховало вас от несчастных случаев и владельца авто — от автомобильных столкновений и которое, на основании закона больших чисел, заранее учло, что на столько-то километров пройденного автомобилем пути должна прийтись одна катастрофа. Страховое общество учитывает п р а в и л ь н о. Если бы оно учитывало неправильно — оно бы разорилось.

Жизнь народа вообще, а великого народа — в особенности, развивается по закону больших чисел. Миллионы, десятки и сотни миллионов людей, поколение за поколением, в течение тысячи лет сменяют друг друга. И в этой массе, в этой смене, сглаживаются отдельные случайности отдельных человеческих усилий. Вырисовывается некая определяющая линия национального характера, которую я назову д о м и н а н т о й.

В характере отдельного человека черты этой доминанты будут заметны мало или даже вовсе незаметны, и здесь их можно проследить только в самых редких случаях: цыган, еврей и русский, попавшие, скажем, в Америку, станут: цыган — кочевать, еврей — торговать, а русский постарается усесться на землю или на службу. Живя в России и изучая более или менее толком русскую действительность, мы привыкли считать обычный способ действия русского народа — его доминанту — чем-то само собою разумеющимся. Так, для американских индейцев доколумбовой эпохи был само собою разумеющимся красный цвет кожи. Был, конечно, само собою разумеющимся и тот социальный порядок, который господствовал на территории нынешних САСШ; другого порядка индейцы не знали. Русская эмиграция, попав за границу, с прискорбием убедилась, что те русские порядки и даже беспорядки, тот стиль жизни, который казался само собою разумеющимся для России, оказался вовсе не само собою разумеющимся для Западной Европы. И именно поэтому русская эмиграция получила возможность посмотреть на Россию несколько со стороны — сравнить то, что было у нас и что в свое время казалось очень плохим, отсталым, плохо организованным, с тем, что оказалось в Западной

Европе, — в Западной Европе все оказалось значительно хуже. По крайней мере все, что является в национальной жизни решающим.

История народа *объясняется* главным образом его характером. Но, с другой стороны, именно в истории виден народный характер. Все второстепенное и наносное, все преходящее и случайное — сглаживается и уравновешивается. Типы литературы и мечты поэзии, отсебятина философов и вранье демагогов подвергаются многовековой практической проверке. Отлетает шелуха и остается зерно — такое, каким создал его Господь Бог. **Остается доминанта народного характера.**

Эта доминанта, как я уже говорил, — в исторической жизни народа реализуется инстинктивно. И для *каждого данного* народа она является чем-то само собою разумеющимся. Поляк и немец, еврей и цыган будут утверждать, что каждый из них действует нормально и разумно: их доминанты само собой разумеются — для каждого из них. Мне не приходилось разговаривать с цыганами, но, вероятно, каждый из них полагает, что именно его цыганская кочевая жизнь является разумной человеческой жизнью, а мы, все остальные, «в неволе душных городов» — «главы пред идолами клоним и просим денег и цепей», — так по крайней мере формулировал Пушкин цыганское мировоззрение. Примерно то же будет утверждать еврей: в рассеянии, без всякого государственного груза на своих плечах, еврейство создало народ, который состоит почти из сплошного «правящего слоя» — из буржуазии и интеллигенции, народ, в котором совершенно нет крестьянства и почти нет пролетариата. Мне пришлось разговаривать с поляками в Варшаве в январе 1940 года: в несчастьях, постигших Польшу, были виноваты все: и немцы, и москали, и англичане, и евреи. Одни они, поляки, всегда, безо всякого исключения, действовали и честно, и разумно, — действовали так, как *само собою разумеется* действовать полагалось. А результат? — В результате виноваты *все остальные*.

Я никак не собираюсь утверждать, что русский народ всегда действовал разумно, — если бы это было так, то большевистской революции у нас не было бы. Не было бы также и крепостного права. Несколько раньше — не было бы и татарского ига: все это расплата за наши *собственные* глупости и слабости — самой опасной слабостью всегда является глупость. Но уже один тот факт, что евразийская империя создана нами, а не поляками, доказывает, что глупостей мы делали меньше их. Что наша доминанта оказалась и разумнее, и устойчивее, и, *следовательно*, успешнее. И так как все в мире познается сравнением, то попробуем сравнить нашу доминанту прежде всего с доминантой Польши — нашей ближайшей родственницы, соседки и конкурентки.

Обе страны, и Польша и Россия, являются славянскими странами — причем в Польше славянское происхождение выражено гораздо чище, чем у нас: здесь нет примеси финской крови и очень слаба примесь татарской. Географические условия двух стран приблизительно одинаковы, польские несколько лучше, наши несколько хуже. Климатические — одинаковы почти совершенно. И обе страны поставили перед собою одинаковую, в сущности, цель: создать восточно-европейскую империю: «от моря до моря», как формулировали это поляки, и «окнами на пять земных морей», как формулировал это Волошин. Такого сходства исходного этнографического материала, исходных географических пунктов и конечной цели во всей мировой истории, пожалуй, трудно найти. А вот результаты получились совершенно разные.

Для того чтобы понять неизбежность и психологическую обусловленность этих результатов, попытаемся сравнить две примерно равно упорные доминанты — русскую и польскую.

1. — В *России* вся нация в течение всего периода ее существования непрерывно строит и поддерживает единую верховную царскую власть. Крестьянство своей массой, духовенство своей идеологией, купечество — мошной и *служилое* (т. е. допетровское) дворянство своей военной организацией — каждый по-своему, но непрерывно и упорно строили русскую царскую власть.

В *Польше* шляхетство и духовенство — при полном нейтралитете и пассивности остальных слоев населения — всячески урезывали королевскую власть и оставили от нее одну пустую оболочку. «Проклятого самодержавия» Польша так и не создала — едва ли Польша благословляет сейчас это историческое достижение. В России народ нес царю свою любовь и свое доверие: термин «батюшка-царь» появился не совсем зря, и советский «отец народов» — это только неудачное литературное воровство. Польша рассматривала своих королей как врожденных и неисправимых жуликов, которые — только не догляди — стащат все золото шляхетских и ксендзовских вольностей. В России даже мятежные движения все шли под знаменами хотя бы вымышленных, но все-таки царей[2]. В Польше все мятежи шли в форме «конфедераций», то есть антимонархических организаций польской шляхты.

2. — Русский народ всегда проявлял исключительную политическую активность. И в моменты серьезных угроз независимости страны подымался более или менее, как один человек. В Польше основная масса населения — крестьянство — всегда оставалась политически пассивной, — и польские мятежи 1831 и 1863 годов, направленные против чужеземных русских завоевателей, никакого отклика и поддержки в польском крестьянстве *не нашли*. К разделам Польши польское крестьянство оставалось совершенно равнодушным, и польский сейм («немой» гродненский сейм 1793 года) единогласно голосовал за второй раздел... при условии сохранения его шляхетских вольностей. Мининых в Польше не нашлось — ибо для Мининых в Польше не было никакой почвы.

3. — Россия, географией своей лишенная выхода к морям, всю свою историю стремилась до них дорваться. Польша проявила к этому вопросу полнейшее и труднообъяснимое равнодушие. Морское побережье Польша безо всякой борьбы уступила тем же немцам, которых польские короли пригласили в сегодняшнюю Пруссию для помощи в христианизации язычников-литовцев. Очень странное совпадение: в 1242 году Александр Невский громит немецких рыцарей на льду Чудского озера, а за шесть лет до этого — в 1236 году — князь Конрад Мазовецкий приглашает тех же рыцарей в тогдашнюю Польшу, отдает им Кульскую и Прусскую земли для того, «чтобы ввести там хорошие обычаи и законы для упрочения веры и установления благополучного мира между жителями». Польша не заботится о море, не заботится о торговле, не заботится о промышленности, все это сдается в аренду немцам — и именно они строят и Штеттин (польское Щитно), и Данциг (польский Гданьск), и Кенигсберг (польский Кролевец), совершенно автоматически отрезывая Польшу от моря и от всего, что с морем связано.

4. — Свое внимание Польша устремила на восток — и в этом направлении ее доминанта демонстрирует поистине незавидную настойчивость. Первое занятие Киева поляками случилось в 1069 году — в Киев ворвался князь Болеслав Храбрый и с трудом ушел оттуда живьем: жители, по словам летописца, избивали поляков «отай», то есть организовали партизанскую войну. Столетия подряд такие же попытки повторяли Сапеги и Вишневецкие. Почти через девятьсот лет после Болеслава точно такую же попытку и с точно такими же результатами повторил — вероятно, уже совсем в последний раз — Иосиф Пилсудский. Было ли это идиотизмом во времена Болеслава? Трудно сказать. Но во времена Пилсудского это было идиотизмом уже совершенно очевидным: ни при каких мыслимых комбинациях политических судеб Польша не имела никакой возможности нажиться ни за счет России, ни за счет Германии, ни за счет двухсотмиллионного соседа на востоке, ни за счет восьмидесятимиллионного на западе. Но в 1943 году польское правительство, уже сидевшее в эмиграции, снова повторило традиционное требование — Польша от моря до моря — то есть от Риги до Одессы.

Польша потерпела поражение — и во времена Болеслава, и во времена Вишневецкого, и во времена Пилсудского. Болеслав обошелся сравнительно дешево — была уничтожена польская армия. Вишневецкие обошлись дороже: они, истощив Польшу, подготовили почву для разделов. После страшных поражений в польско-украинской войне 1640-х годов и присоединения Украины к Москве Польша уже никогда не поднималась до настоящей самостоятельности; полвека спустя Петр делал там что хотел. Пилсудский, предав Деникина и спасши Советскую власть, создал самую важную внешнеполитическую предпосылку войны 1939 года...

5. — Польша забросила море и тянулась на восток в поисках крепостных душ для шляхты и католических душ — для ксендзов. И в Киеве, и в Риге, и в Вильне Польша тысячу лет подряд — при Радзивиллах, Сапегах, Вишневецких и Пилсудских — вела всегда *одну и ту же политику*: подавление и закрепощение всего нешляхетского и некатолического. Польша, по крайней мере в течение последних лет пятисот, вела политику профессионального самоубийства, и, как показала история, вела ее довольно успешно. И совершенно очевидно, что как Вишневецкий в семнадцатом веке, так и Пилсудский в двадцатом выражали не самих себя, со всеми своими личными качествами, а доминанту своей страны. Им всем, от Болеслава до Пилсудского, казалось, что они действуют вполне логично, разумно и патриотично, — иначе бы они все, или по крайней мере хоть кто-нибудь из них, действовали бы по-другому. Но иначе не действовал никто: доминанта.

Откуда она взялась? Ближайшее объяснение будет лежать в католичестве. Но тогда возникает следующий вопрос: почему именно в Польше удержалось католичество, разгромленное и в северной Германии, и в Скандинавии и остановленное на пороге России? На этот вопрос ответа у меня нет. Ко всей трагической судьбе Польши и католичество приложило свою страшную руку: при Пилсудском, в сущности, совершенно так же, как и при Вишневецких, все иноверцы, диссиденты, в особенности православные, казнями и пытками загонялись в лоно католической церкви, сжигались православные храмы (за два года перед второй мировой войной их было сожжено около восьмисот), и в восточных окраинах возникала лютая ненависть против тройных насильников: насильников над нацией, экономикой и религией. И, создавая вот этакую психологическую атмосферу, Польша при Сапегах, Радзивиллах и Вишневецких пыталась опираться на казачьи войска, а в 1939 году послала против германской армии корпуса, сформированные из западноукраинского крестьянства: корпуса воевать не стали.

«Домашний старый спор», о котором когда-то писал Пушкин, сейчас решен окончательно. Русское море не иссякло — его не удалось иссушить ни большевикам, ни Гитлеру. Польша, как и следовало ожидать, при минимальной затрате умственных способностей, оказалась расплющенной. И если Россия — даже и при большевиках — сумела ликвидировать немецкий «Drang nach Osten», то о польской «миссии на во-

[2] Большевизм я никак не считаю народным движением.

стоке» и говорить нечего. Если Россия сумела справиться с такою несомненно первосортной Европой, какою она, Европа, являлась и при наполеоновском «новом порядке» и при гитлеровском, то совсем уже третьесортное европейское захолустье Польши — никакой угрозы для нас больше не представляет. И сейчас мы, больше чем когда бы то ни было, можем позволить себе роскошь полного беспристрастия. Может быть, и сочувствия: трагическая и окровавленная судьба этой несчастной страны, которая, как выразился Энгельс, «никогда, ничего кроме воинственных глупостей не делала», может вызвать всякие чувства, но и сострадание в том числе. Может быть, даже и нечто вроде признательности: если бы Польша не была католической, то восточно-европейская империя была бы, конечно, польской, а не русской: для этого Польше одно время было вполне достаточно отказаться от шляхетско-ксендзовской политики на Украине — и «Польша от моря до моря» была бы обеспечена. При ее тогдашнем техническом превосходстве это было бы вполне достаточной базой для стройки империи. Но от Болеслава до Мосьцицкого (последний президент Польши) — страна вела все одну и ту же политику упорно, настойчиво, фанатично и самоубийственно — безо всякой оглядки на элементарнейший человеческий здравый смысл... Польская поговорка не без некоторой гордости утверждает, что Польша стоит беспорядком: Polska nierzadem stoi.

Это есть польская доминанта. Это есть внутреннее «я» страны, от которого страна отказаться не может — как *не могут* немцы отказаться от своей воли к власти.

* * *

Мое поколение было воспитано на той классической русской литературе, о которой я уже говорил: великая и очень вредная литература. Под ее влиянием мы вошли в жизнь с совершенно исковерканными представлениями о реальности. Представление о германской реальности для нас воплощалось в толстовском Карле Ивановиче, таком трогательно-беспомощном и сентиментальном, или в генерале Пфуле, столь же беспомощно самоуверенном в его «эрсте колонне марширт», и вообще в аккуратном до смешного немецком булочнике («хлебник — немец аккуратный»...), колбаснике, чиновнике — которые пришли в широкую русскую землю честно есть свой хлеб.

В большинстве случаев они ели его честно... Кое-что другое писал Достоевский в «Бесах», но Достоевский был писателем Васильевского острова и специфически немецкого василеостровского социального склада (в его времена Васильевский остров был населен по преимуществу всякой немецкой мелкотой). Но все это касалось нашего внутреннего немца, и о немце германском мы имели самое нелепое представление: народ поэтов и мечтателей — «Dichter und Träumer» — родина философии, этакие комические Фрицы и Морицы, о которых мы читали еще у Буша. О том, что есть немецкий дух на самом деле — об этом наша литература нам не сказала ничего. Говорили славянофилы — но их не читал никто. Надрывно предупреждал Герцен — но и он был вне большой литературы.

Наше довоенное *среднее* представление о немцах отражало по преимуществу нашу собственную внутреннюю разладицу. Германофильскими у нас были обе борющиеся стороны — и революция, и реакция. Для революции Германия была родиной Гегеля и Маркса — с их философской эрудицией, для реакции — родиной унтер-офицера, с его прозаическим кулачищем. Революция пыталась организовать свой идейный капитал на базе немецкой философии, реакция — свой земельный капитал — на базе немецких управляющих. И обе стороны проворонили немца таким, каким он является в его *исторической реальности*.

Так, социальный склад страны обусловливает собою не только ее самочувствие, но обусловливает и ее *зрение*. Обе стороны правящего слоя, сталкивавшиеся с немцами и обязанные доложить русскому народу о его западном соседе, рассматривали этого соседа исключительно с классовой, а не национальной точки зрения. А мы в гимназиях изучали историю Германии, — ничего не могли понять в кровавой каше бесконечных Карлов Коротких и Карлов Лысых, Иоганнов и Фридрихов, герцогов и князей, — ибо у нас не было той точки зрения, с которой эта каша могла бы быть объяснена. Эту точку зрения нам дали две мировые войны; можно было бы получить ее и более дешевым путем...

Перед второй мировой войной наш историк-романист М. Алданов писал о первой мировой войне: «Никогда еще мир не видал такой могучей и всесокрушающей машины, какую имела Германия в мировую войну. Беда была только в том, что люди, стоявшие во главе этой машины, решительно не знали, что надо делать».

М. Алданов является блестящим историческим художником. Его ценность как исторического мыслителя, я боюсь, значительно ниже: немцы *знали, что* надо делать, — конечно, с их немецкой точки зрения: надо было строить немецкое мировое могущество. Но для этой стройки у них было одно единственное оружие — меч. Его оказалось недостаточно уже и в 473 году — в год падения Римской Империи. Его оказалось недостаточно и в 1914 и в 1939 годах. Но, кроме меча, никаких других орудий мирового могущества в распоряжении немцев не было, нет и *никогда не будет*. Его не было ни при Одоакре, ни при Карле Великом, ни при Вильгельме, ни при Гитлере: чего-то не хватает.

На вопрос о нехватке орудий строительства немецкая литература точно так же не дает нам решительно никакого ответа, как не даст русская на аналогичный вопрос о наличии этих орудий в России. И ответа нужно искать не в литературе, а в фактах, то есть в *истории*. А в этой истории Карлы и Фридрихи являются не «вывесками над историческим процессом», как до Ленина и Сталина говорили марксисты, и не «двигателями исторического процесса», как говорили тоже до Ленина и Сталина наши народники о великих людях истории, — они являются *симптомами*. Симптоматичными были наши серенькие московские цари-собиратели, так не любившие хвататься за нож, симптоматичными были и немецкие фюреры, так любившие стучать по столу бронированным сапогом. Все они были не «вывесками», не «двигателями», а только симптомами известной национальной доминанты — определяющей черты общенационального характера.

Современная Германия лежит в самом центре Европы, в мягком умеренном климате, не знающем ни морозов, как на нашем севере, ни засух, как на нашем юге, ни наводнений, как на Миссисипи или Желтой реке. Плодородная почва, с очень большими запасами каменного угля, железа, меди и прочего — почти всего, кроме нефти, которая до мировых войн никакой роли вообще не играла. Ее территория прорезывается рядом незамерзающих рек, впадающих в незамерзающие моря, где у Германии есть ряд первоклассных гаваней: Данциг, Любек, Гамбург, Бремен, Кельн. Германия имеет все преимущества континентальной страны и все преимущества морской. Германия не знала татарских нашествий, а наполеоновские не несли с собой ни резни, ни рабства, ни даже порабощения.

Говоря о современной нам Германии, мы не должны, однако, забывать, что несколько больше тысячелетия тому назад вся Западная Европа была, так сказать, сплошной Германией. После разгрома Римской Империи германские племена расселились по всей тогдашней — очень редко населенной Европе и создали целую серию германских государственных образований — очень недолговечных, впрочем. И не только в Европе, но и в Африке. Лангобардское, вандальское, бургундское, франкское и прочие королевства, герцогства, княжества и т. д. — охватывали всю Европу и во всяком случае весь ее правящий слой был германским слоем, поэтому, в частности, немцы любят изображать собою «народ господ».

Германские полчища разгромили Римскую Империю и уселись на ее развалинах. Для нас, русских, Римская Империя давно стала пустым звуком — и это напрасно. Сейчас мы должны честно сказать, что с момента падения Рима и до сегодняшнего дня, то есть лет тысячи полторы, наша культурная Европа никогда за всю свою историю не сумела создать ничего, даже и отдаленно похожего на римский культурный мир.

Само собою разумеется, что и за эти полторы тысячи лет люди рождались, думали, писали и изобретали, так что наши отдельные «культурные достижения», вот вроде бомбардировочной авиации, стоят неизмеримо выше римских достижений. Однако также совершенно несомненно, что общий уровень порядка, сытости, безопасности в современной Европе также неизмеримо ниже римского. В римские времена вы могли проехать — без оружия и даже без паспорта — из Англии до берегов Красного моря. По всему этому пространству были проложены великолепные шоссе, остатками которых просвещенная Европа пользуется и до сих пор, а они не ремонтировались полторы тысячи лет. В городах были и канализация, и водопроводы, и ночное освещение. Древний Рим потреблял на голову населения *в семь раз больше воды*, чем *довоенный Берлин*, а современный Рим снабжается водой из оставшихся от Древнего Рима трех акведуков — остальные восемь заброшены по излишеству... В самой Италии было введено всеобщее обязательное обучение, а римская система раздачи хлеба была, в сущности, своеобразным видом социального страхования. Да, было рабство. Но современная Европа ликвидировала его всего только сто-полтораста лет тому назад, — так что и тут хвастаться особенно нечем.

Разгром Римской Империи был началом германских государственных порядков, которые мы расхлебываем и до сих пор. Эти порядки, в самом обобщенном выражении, можно назвать феодализмом — о психологическом происхождении феодализма я буду говорить несколько ниже. Великая Империя была разодрана на сотни и тысячи мелких феодальных владений, которые сейчас же вступили между собою в кровавую братоубийственную резню — эта резня не прекратилась и сейчас.

Узко внутригерманские войны кончились только после Бисмарка (прусско-австрийская и прусско-бвварская), а обращение Германии с ее нордическими сестрами по расе — во время второй мировой войны, да еще и со старшими и совсем чистокровными сестрами — не слишком сильно отличается от, скажем, магдебургской резни в Тридцатилетнюю войну. Пятнадцать веков после захвата Европы германскими племенами — в этой Европе кипит кровавая каша феодальных войн.

Славянские племена, осевшие по Волхову, Двине, Припяти и Днепру, на поверхности мировой истории появляются сразу как законченная государственная организация. Так называемая «Империя Олега» существует и до сего времени — и все попытки ее раздроблений кончились крахом. Ее сверстница — империя Карла Великого — лопнула на другой

день после его смерти, если она вообще существовала при его жизни, — и все попытки ее восстановления кончились таким же провалом, как и попытки раздробления России. И Карл Великий, и император «Священной Римской Империи Германской нации», и Наполеон, и Гитлер — все это неизменно кончалось кровавыми и безрезультатными катастрофами.

Объясняя возникновение нашей Империи, наши историки нам говорили: это действовал пример Византии. Не могу себе представить, каким путем он мог бы действовать на суздальских смердов, поддерживавших Боголюбского. Византия была далеко, и о ее Империи суздальский смерд, само собою разумеется, и понятия не имел. Германский же «варвар» (варваром был, конечно, и суздалец), пришедший на территорию Римской Империи, уселся на развалинах римских храмов и дворцов, библиотек и терм, водопроводов и цирков. Он маршировал по римским шоссе и пил воду из римских акведуков.

Пример Рима лежал тут же под носом. Так — почему же на германца этот пример не подействовал никак? Для того чтобы перенять римский пример и римскую культуру, достаточно было нагнуться и поднять с земли остатки такого великого и такого недавнего прошлого. Однако германцы даже и этого не сделали. Империя была разорвана в клочки, а ее культура была совершенно забыта. Германцы на развалинах Рима очень напоминают мне то обезьянье племя — Бан-дар-Лог, — которое в очаровательной сказке Киплинга («Джунгли») расселилось в развалинах индийского храма: они были самым умным, самым интересным, самым талантливым племенем на земле и занимались они — драками. То же делали и германцы. Остатки римской культуры пришли обратно в ту же Италию совершенно фантастическим путем: через Александрию, арабов, через мавританскую культуру в Испании. Но это было почти через 1 000 лет после завоевания Италии германцами. Тысячу лет сидели люди на развалинах империи и культуры и даже не поинтересовались ни тем, ни другим. И после этого наши доблестные историки говорят о византийском примере, создавшем Империю Российскую...

Но идея Римской Империи была в Европе все-таки жива. Покоренные и порабощенные, но все-таки более культурные массы римского и романизированного населения остались. Недавнего прошлого они забыть не могли. Трудно сказать, чем объясняется попытка Карла Великого. Французы считают его французом — то есть галлом и называют Шарлеманем — в одно слово: Charlemagne. Немцы, когда надо было доказывать французский империализм, считали его тоже французом. Когда надо было доказывать государственные таланты немцев — считали его немцем. Во всяком случае, попытка Карла родилась в сильно романизированных областях Европы — и против нее восстали прежде всего наиболее чистые германские племена: саксы и готы. Карл долго и упорно резал и тех и других; эта резня не кончилась и до его смерти, так что Империя Карла Великого, собственно говоря, не существовала никогда: была только попытка, и попытка неудачная. Потом возникла пресловутая Священная Римская Империя Германской Нации, о которой кто-то из немцев — кажется Гете — сказал, что она не была священной, ни римской, ни германской и вообще вовсе не была империей. Это был кровавый феодальный кабак, очень близко напоминавший современный нам «новый европейский порядок». Термин — был. Но «порядка» не было ровным счетом никакого. В тех же географических, климатических, торговых и прочих условиях и на той же территории, на которой уже веками существовала великая и организованная государственность, — воссоздать эту государственность оказалось невозможным. Судьбами послеримской Европы руководил совсем другой этнографический элемент, имевший совсем иную психологическую доминанту.

Священная Римская Империя стоила массу крови. Вдобавок к обычным феодальным войнам прибавились войны между императорами и папами, между гвельфами и гибеллинами, германские князьки и корольки таскались в Италию только для того, чтобы возложить на тевтонские свои головы призрачную корону призрачной империи. Карл IV получил эту корону от папы под условием ни одного дня не оставаться в Риме и, получив корону, убрался восвояси. Императоры побирались по более богатым городам Германии, закладывали свои короны ростовщикам, разорили и Германию, и Италию — и только в 1806 году австрийский император Франц II отказался наконец от этого призрачного титула: в соседстве с Наполеоном этот титул удержать было бы трудновато.

Германские племена разрушили величайшую в мире государственную организацию и за полторы тысячи лет не создали ничего, годного ей хотя бы в подметки. Очередным ударом они разбили восточную наследницу этой Империи — Византию. Во время очередного крестового похода — в 1211 году европейские рыцари заняли Константинополь, разграбили его дотла, и наиболее удачливые из победителей растащили территорию Империи по своим феодам, — точно так же, как лет шестьсот тому назад их предки растащили римскую. Впоследствии из этого страшного разгрома кое-что все-таки удалось спасти, но силы Византии были подорваны под корень, и бороться с турками она уже не смогла. В истории с Византией, как раньше в истории с Римом, как позже в истории с мировой войной или — в промежутке между этими событиями — в истории с завоеванием Прибалтики, прозаические инстинкты грабежа были завуалированы поэтическими лозунгами идеи. «Гроб Господень» был поэтической вывеской. Дело шло не о Гробе, а о грабеже. И до Иерусалима дошли только самые что ни на есть неудачники: те, кто был поудачливее, застряли по дороге, перехватив себе более жирные куски, чем палестинская пустыня. Наиболее занятная история случилась, однако, с «крестовым походом детей» — самым идиотским предприятием, какое только знает многострадальная мировая история. Те остатки от десятков тысяч детворы, которые не перемерли по дороге от голода и прочего и которых некуда было девать, — геноссы крестоносцы, с папского благословения, продали в рабство в Египет — в мусульманский Египет. В учебниках истории средних веков нам об этом не рассказали, — а один этот штришок объясняет все крестовые походы лучше, чем все идеологические вывески над ними.

На другом конце тогдашнего цивилизованного мира — и в тот же отрезок времени — под поэтическим лозунгом христианизации Прибалтики шел такой же грабеж, как и в «Священной Империи», в Риме, в Византии «Гроба Господня» и в Новой Европе национал-социализма.

Пример Прибалтики очень интересен — хотя бы уже по одному тому, что он очень близок нам. И еще потому, что очередной государственный эксперимент был проделан на совершенно иной почве, чем в Риме, Европе и Византии. Здесь, в Прибалтике, почва была совершенно девственной, не отягощенной никакими воспоминаниями и тормозами прошлого. Здесь немцы нашли племена, стоявшие почти на уровне каменного века, и здесь колонизационные возможности и способности немцев могли бы расправиться во всю свою ширь. Расправились. Что получилось?

Тевтонский орден, обосновавшийся в нынешней Прибалтике, имел чудовищные возможности. За ним была вся тогдашняя европейская техника, за ним была всегдашняя поддержка всего католицизма, за ним стояло средневековое рыцарство и дворянство. Его военная организация, вынесенная из феодальных войн и из крестовых походов, безмерно превосходила военные возможности его ближайших конкурентов. Непосредственное, суверенное владычество немцев над покоренной Прибалтикой длилось около пятисот лет, со дня основания Риги (1201) до завоевания Прибалтики Петром. Но и после Петра — до Александра III — прибалтийские бароны оставались административными и экономическими властителями страны: Россия в ее внутренние дела почти не вмешивалась. За четверть века между 1918 и 1943 годами от этой семисотлетней колонизационной работы не осталось ровным счетом ничего: все было сметено поражением в первой мировой войне, ликвидацией немецкого землевладения, переселением балтийских немцев heim ins Reich, второй мировой войной. В результате от семисотлетней работы осталось только одно: ненависть к немецкому имени была сильнее даже и страха перед большевизмом.

Почти одновременно с немецкой колонизацией Балтики шла русская колонизация финских земель в районе нынешней Москвы. Русский пахарь, зверолов, бортник и прочие как-то продвигались все дальше и дальше на север, как-то оседали рядом с туземными финскими племенами — со всякой мерью, чудью, весью, — уживались с ними, по-видимому, самым мирным образом, сливались и — из отрезанных от всего мира болот волжско-окского междуречья стали строить Империю — и построили. Немцы, придя в Прибалтику, сразу же начали свою стройку с беспощадного угнетения местных племен — такого беспощадного, какое даже и в те кровавые времена казалось невыносимым. И вместо соседей и помощников немцы получили внутреннего врага, который семьсот лет спустя — в эпоху независимости балтийских племен — ликвидировал «немецкое влияние» под корень. За семьсот лет немцы не смогли ни ассимилировать эти племена, ни даже установить с ними мало-мальски приемлемых отношений — точно так же, как они не сумели сделать этого ни в Италии, ни в Галлии, ни в Византии, ни в Палестине, ни в России — нигде.

Сидя на раскаленной почве народной ненависти — завоеватели не нашли ничего более умного, как поделиться на те же феоды, на какие были поделены и Европа, и Византия, и даже Палестина. Страна была утыкана замками, в которых каждый барон отсиживался не только от побежденных, но и от других баронов, своих соседей, от друзей и даже родственников. Феодальные войны в каждом уезде нашли себе совершенно адекватное выражение в организации правительственной власти вообще. Правящий немецкий слой был разделен между четырьмя основными силами: орденом, который считал себя вассалом священного римского императора, епископом, который был подчинен Ватикану, купечеством, которое было связано с Ганзой и рядовым дворянством, которое просто сидело на крестьянской шее. Эти четыре силы вели между собою пятисотлетнюю кровавую борьбу. И в трудные минуты этой борьбы звали на помощь иностранцев: кто шведов, кто датчан, поляков, а кто и русских.

Кровь внутренней феодальной войны смешивалась с кровью иностранных интервенций, страна становилась театром военных действий не только между отдельными баронами, орденом, епископом и прочими, но и между иностранными армиями.

Дело кончилось гибелью ордена и присоединением Прибалтики к России.

Даже немецкие историки признают тот факт, что нормальная жизнь этой окраины началась только с момента включения ее в состав Российской Империи.

История Тевтонского ордена — это

только уменьшенная история Германии вообще. В ней — схематически, упрощенно и поэтому особенно наглядно, отразились те психологические (а никак не экономические) предпосылки, которые создают социальный строй феодализма. Здесь, на тогда еще не тронутой никакою культурой почве тогдашней Прибалтики, эти психологические предпосылки действовали по всей своей вольной воле, — и привели к гибели одну из колонизационных затей Германии. Экономических предпосылок, повторяю еще раз, не было ровно никаких: тут же, рядом с орденом, вела свою колонизационную работу и Россия. Русские колонизаторы, засельщики, землепроходцы и прочие — никаких феодов не организовывали, никаких замков не строили, никакой высшей расы из себя не разыгрывали. Это было одинаково: и в Сибири, и на Кавказе, и в Прибалтике, и в Финляндии, и даже в Польше, с которой мы имели совсем особые тысячелетние счеты. И вот, построили Империю. И, к крайнему сожалению, даже и мы до сего времени считаем эту стройку, так сказать, само собой разумеющейся, ничего особенного, ну вот взяли и растеклись. Немцы, как видите, — тоже растеклись. Но другими методами и с другими результатами.

Наши методы и наши результаты — есть наше отличие от других наций — отличие, о котором наши историки, к крайнему нашему сожалению, не потрудились ни подумать сами, ни рассказать нам.

* * *

Усилиями отечественной и иностранной литературы перед взорами отечественного и еще более иностранного читателя возник образ русского сфинкса, который то ли любит страдания, то ли не любит страданий, то ли претендует на право на бесчестье, то ли считает воинскую честь, может быть, выше чем где бы то ни было в мире: «таинственная славянская душа», ничего не разобрать. И только в очень немногих книгах, написанных деловыми людьми, вдруг оказывается, что никакой таинственности и вовсе нет.

Я не знаю биографии м-ра Буллита, бывшего посла САСШ в Москве и автора книги о Советской России. Судя по этой книге, м-р Буллит по своему социальному и прочему положению является деловым человеком. Так — из несколько другой области — самые умные книги о русской революции написаны несколькими русскими деловыми людьми — бароном Врангелем — отцом главнокомандующего белой армией, инженером Фединым, работником Донецкого угольного бассейна, и некоторыми другими литературно неопытными людьми. Нужно сказать откровенно: они написаны скучно. Но они говорят дело, и они не говорят вздора. Так, Врангель, барон и миллионер, крупный помещик и предприниматель, рисуя быт дореволюционной России, дает общую картину и общий диагноз, стоящие выше, чем все мемуары и манифесты, объяснения и воспоминания, исторические труды и философские упражнения. Основные корни революции он видит в полном гниении правящего слоя России — к которому принадлежал и он сам, и самые глубинные корни всей русской неурядицы он видит в крепостном праве, которое искалечило все:

«Я родился в кругу знатных, в кругу вершителей судеб народа, я близко знал и крепостных... И на всех крепостной режим наложил свою печать, извратил их душу... Довольных между ними было мало, неискалеченных — никого».

Вся русская история последних двухсот лет была искалечена крепостным правом. Крепостное право есть основной факт русской новейшей истории. И основная причина революции. Но вовсе не оттого, что оно «вызывало возмущение масс», а оттого, что именно оно вырыло пресловутую «пропасть меж интеллигенцией и народом». «Крепостной режим развратил русское общество», — пишет барон Врангель. Революцию устроило именно это развращенное общество. Не угнетенные массы пролетариата и крестьянства организовали великий погром русского народа, — а развращенные верхи дворянства или, что почти то же, — интеллигенции. Граф Уваров, министр Николая Первого, говорил нашему историку Погодину:

«Наши революционеры произойдут не из низшего сословия, они будут в красных и голубых лентах». — Так они и произошли.

Русская революция сейчас заняла классическое место великой французской революции. Так называемый русский сфинкс сейчас навис над Европой — может быть, и над всем миром, он ставит перед этим миром такую загадку, какую его сказочный предшественник ставил всякого рода Эдипам. Неудачный отгадчик рискует быть проглоченным. Последним незадачливым Эдипом был Гитлер. Будут ли другие? Все Эдипы, до сих пор проглоченные Россией, никакого счастья русскому народу не принесли. Победные парады в Берлине и в Париже, в Вене и в Варшаве никак не компенсируют тех страданий, которые принесли русскому народу Гитлеры, Наполеоны, Пилсудские, Карлы и прочие. Победные знамена над парижскими и берлинскими триумфальными арками не восстановили ни одной сожженной избы. Проглоченные Эдипы оказались тяжкой и неудобоваримой и очень тощей пищей. Лучше бы обойтись — России — без Эдипов. Эдипам — без России и обоим вместе без дальнейшей игры в загадки. Тем более что если вы откинете в сторону и Гегеля и Достоевского, и Розенберга и Ленина, то окажется, что за русским сфинксом не скрывается вовсе никакой загадки. Русская история является самой трагической историей мира, но она является и самой простой — за исключением истории САСШ. Так же проста и загадочная

психология «таинственной славянской души».

Крепостной режим искалечил Россию. Расцвет русской литературы совпадает с апогеем крепостного права: Пушкин и Гоголь принадлежат крепостному праву целиком. Тургенев, Достоевский и Толстой начали писать в пору этого апогея. Чехов и Бунин — оба по-разному — свидетельствовали о гибели общественного быта, построенного на крепостных спинах. Чехов чахоточно плакал над срубленным «Вишневым садом», а Бунин насквозь пропитан ненавистью к мужику, скупавшему дворянские вишневые сады и разорявшиеся дворянские гнезда. Русская литература была великолепным отражением великого барского безделья. Русский же мужик, при всех его прочих недостатках, был и остался деловым человеком.

Вероятно, именно поэтому мне, например, так близки книги, написанные деловыми людьми.

Русский мужик есть деловой человек. И, кроме того, он трезвый человек: по душевому потреблению алкоголя дореволюционная Россия стояла на одиннадцатом месте в мире. Так что если «веселие Руси есть пити», то другие народы веселились гораздо больше. И Мартин Лютер писал, что немецкий народ есть народ пьяниц и что его истинным богом должен был быть бурдюк с вином. Дело русского крестьянина — дело маленькое, иногда и нищее. Но это есть д е л о. Оно требует знания людей и вещей, коров и климата, оно требует самостоятельных решений и оно не допускает применения никаких дедуктивных методов, никакой ф и л о с о ф и и. Любая отсебятина — и корова подохла, урожай погиб и мужик голодает. Это Бердяевы могут менять вехи, убеждения, богов и издателей, мужик этого не может. Бердяевская ошибка в предвидении не означает ничего — по крайней мере в рассуждении гонорара. Мужицкая ошибка в предвидении означает голод. П о э т о м у мужик вынужден быть умнее Бердяевых. Поэтому же капитан промышленности вынужден быть умнее философов. Оба этих деловых человека вынуждены быть ч е с т н е е философов, историков, социологов и прочих: они сталкиваются с миром реальных вещей и реальных отношений — как сталкиваются с ними и представители точных наук, и каждая ошибка состоит из потерь или разорения. Можно выпустить на литературный рынок л ю б у ю теорию — анархическую или порнографическую, утопическую или вовсе сумасшедшую. Маркиз де Сад и Захер Мазох тоже имели свои тиражи и свою аудиторию, вероятно, состоявшую не только из садистов и мазохистов. Можно, как это сделали профессора Милюковы или Випперы, Шиманы или Новгородцевы, предложить общественному мнению свои литературно-исторические сооружения, которые назавтра же оказываются форменным вздором. Но нельзя выпустить на рынок автомобиль, который окажется неудачей: фирма будет разорена. Философски-политическая статистика может врать сколько ей угодно, и врет сколько ей угодно. Но страховое общество врать не может, ибо это означает разорение, — оно должно иметь н а с т о я щ у ю статистику. Русская публицистика могла сколько ей было угодно врать о голоде среди дореволюционного русского пролетариата, но тот купец, который на основании этой статистики стал бы строить свои торговые планы, был бы разорен. Советская статистика может врать сколько ей угодно о зажиточной жизни советского пролетария, но если бы будущий мировой торговый банк стал бы строить на этой статистике свои торговые расчеты — он понес бы очень большие убытки. Вся восточная политика Германии Вильгельма и Гитлера была построена на очень тщательном изучении русской литературы — некоторые убытки понесли и Вильгельм, и Гитлер.

Литература есть всегда «кривое зеркало жизни», и иной она быть не может. «Все счастливые семьи счастливы одинаково и всякая несчастливая семья несчастлива по-своему» — так начал Лев Толстой свою «Анну Каренину» — литература живет конфликтом. Где нет конфликта — нет и литературы. Но конфликтом не исчерпывается никакая жизнь. Деловой мир по тысячелетнему опыту знает очень хорошо: между продавцом и покупателем всегда возникает конфликт о цене. Но он всегда разрешается сотрудничеством, ибо без продавца нет покупателя и без покупателя нет продавца. Только в литературе, только на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу «все или ничего». Только на бумаге можно строить и социализм — на практике получаются каторжные работы.

Русская литература выросла в пору глубочайшего социального конфликта — правящий слой ушел от народа и народ ушел от правящего слоя. Правящим слоем не был Николай Второй, ни даже его министры — правящим слоем была русская интеллигенция. Именно она была и бюрократией и революцией в одно и то же время. Правящим слоем был один граф Толстой — помещик и писатель, правящим слоем был и другой граф Толстой — помещик и министр. Один князь Кропоткин был лидером анархизма, другой князь был губернатором. Один Маклаков был лидером парламентской оппозиции, другой — министром внутренних дел. Весь русский правящий слой делился по линии четвертого измерения. Каждый русский интеллигент служил правительству, получал деньги от правительства и был в оппозиции к правительству. В его груди жили по меньшей мере «две души», иногда и все двадцать. И все тянули в разные стороны. В эту эпоху и родилась великая русская литература.

М-р Буллит пишет: «Русский народ является исключительно сильным наро-

дом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения». То же говорю и я. Решительно то же говорят и самые голые факты русской истории: слабый народ не м о г построить великой империи. Но со страниц великой русской литературы на вас смотрят лики бездельников.

Но по такому же чисто литературному принципу было построено и гуманитарное образование в России.

Русские университеты давали, конечно, специальные познания в области гражданского права, неорганической химии, атомистической физики или экспериментальной медицины. На этой базе выросли Кони, Менделеев, Капица и Павлов. Но эти же русские ученые давали или стремились дать точные знания. В области «общего образования» неточные ученые стремились «дать мировоззрение». Здесь с кафедр истории русской государственности, русской литературы, русского права и русской философии нам преподавались вещи, о которых я сейчас не могу сказать с достаточной степенью уверенности, — был ли это обман или только самообман, самовнушение или только внушение. Мы, молодые «интеллигентные» университетские поколения страны, входили в нашу взрослую жизнь, будучи вооруженными самыми нелепыми представлениями о русской реальности. Там, где простирался гладкий фарватер нашей национальной жизни, нам мерещились научно обоснованные скалы. Там, где торчали скалы, нам мерещился фарватер. По этому фарватеру, научно расчищенному и научно проверенному, мы и въехали в НКВД.

Русская социально-философская медицина ошиблась во всем: в анамнезе, в диагнозе и в прогнозе. Последнее абсолютно бесспорно. Но если ошибка в прогнозе бесспорна абсолютно, то логически ясно, что и диагноз был глуп. Однако вся предшествующая более чем вековая деятельность русских социально-философских наук накопила чудовищные залежи цитат — и своих и еще больше краденых. Эти залежи довольно прибыльно разрабатываются десятками тысяч ученых старателей всего мира. Что ж? Выкинуть их всех вон? Расписаться перед всем цивилизованным и нецивилизованным человечеством, что все это «богословская схоластика» и больше ничего? Закрыть все библиотеки и свои текущие счета?

Все это, очевидно, невозможно. И поэтому общественное мнение мира продолжает блуждать среди скудных цитатных зарослей научно-философского чертополоха, а общепринятые формулировки сводятся к полудюжине заезженных шаблонов об отсталой царской России, о «тюрьме народов», о неграмотной стране и, наконец, о той таинственной славянской душе, без которой так трудно было бы обойтись голливудским режиссерам.

ТАИНСТВЕННАЯ ДУША

Таинственная славянская душа оказывается вместилищем загадок и противоречий, нелепостей и даже некоторой сумасшедшинки. Когда я пытаюсь стать на точку зрения американского приват-доцента по кафедре славяноведения или немецкого заурядпрофессора по кафедре чего-нибудь вроде геополитики или литературы, то я начинаю приходить к убеждению, что такая точка зрения — при наличии д а н н ы х научных методов является неизбежностью. Всякий заурядфилософ, пишущий или желающий писать о России, прежде всего кидается к великой русской литературе. Из великой русской литературы высовываются чахоточные «безвольные интеллигенты». Американские корреспонденты с фронта второй мировой войны писали о красноармейцах, которые с куском черствого хлеба в зубах и с соломой под шинелями — для плавучести — переправлялись вплавь через полузамерзший Одер и из последних сил вели последние бои с последними остатками когда-то непобедимых гитлеровских армий.

Для всякого разумного человека ясно: ни каратаевское непротивление злу, ни чеховское безволие, ни достоевская любовь к страданию со всей этой эпопеей несовместимы никак. В начале второй мировой войны немцы писали об энергии таких динамических рас, как немцы и японцы, и о государственной и прочей пассивности русского народа. И я ставил вопрос: е с л и это так, то как вы объясните и мне и себе то обстоятельство, что пассивные русские люди — по тайге и тундрам — прошли десять тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а динамическая японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст Лаперузова пролива? Или — почему семьсот лет германской колонизационной работы в Прибалтике дали в конечном счете один сплошной нуль? Или как это самый пассивный народ в Европе — русские смогли обзавестись 21 миллионом кв. км, а динамические немцы так и остались на своих 450.000? Так что: и л и непротивление злу насилием, и л и двадцать один миллион кв. километров. Или любовь к страданию, или народная война против Гитлера, Наполеона, поляков, шведов и прочих. Или «анархизм русской души» — или империя на одну шестую часть земной суши. Русская литературная психология абсолютно несовместима с основными фактами русской истории. И точно так же несовместима и «история русской общественной мысли». Кто-то врет: или история, или мысль.

В медовые месяцы моего пребывания в Германии — перед самой войной и в несколько менее медовые — перед самой советско-германской войной, мне приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским делам. Оглядываясь на эти дискуссии теперь, я должен сказать честно: я делал все, что мог. И меня били как хотели — цитатами, статистикой, литературой и философией. И один из очередных профессоров в конце спора иронически развел руками и сказал:

— Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой: или поверить всей русской литературе — и художественной и политической, или поверить герру Солоневичу. Позвольте нам все-таки предположить, что вся эта русская литература не наполнена одним только вздором.

Я сказал:

— Ну что ж — подождем конца войны.

И профессор сказал:

— Конечно, подождем конца войны.

Мы подождали.

Гитлеры и Сталины являются законными наследниками и последствиями Горьких и Розенбергов: «вначале бе слово», и только потом пришел разбой. Вначале бе словоблудие, и только потом пришли Соловки и Дахау. Вначале была философия Первого, Второго и Третьего Рейха — и только потом взвилось над Берлином красное знамя России, лишенной нордической няньки.

* * *

М-р Буллит, деловой человек, посмотрел на Россию невооруженным глазом — простым глазом простого здравого смысла, без всяких или почти без всяких цитат. И он увидел вещи такими, какие они есть, может быть, с ошибкой на 30 градусов, но все-таки не на все 180. Такие люди были и в Германии. Я знаю их д е с я т к и. Это были купцы, инженеры, ремесленники, мужики из бывших военнопленных первой мировой войны и колонистов, бежавших от революции. Они не были учеными людьми. Запас их цитат был еще более нищим, чем мой. Их дискуссионные таланты и возможности были еще более ограниченны, чем мои. Но они знали вещи, которых не знали ни профессор Шиман, ни профессор Милюков, ни писатель Горький, ни философ Розенберг. Они, как и м-р Буллит, жили п р о с т о б е з ц и т а т — без никаких цитат. Они просто ни о какой философии не имели никакого представления. И они видели простые и очевидные вещи, — вещи простые и совершенно очевидные для всякого нормального человеческого мозга, не изуродованного никакой философией в мире. И они буквально лезли на все стенки Восточного министерства и заваливали правительство меморандумами — и индивидуальными и коллективными: только ради бога не делайте этого, не пытайтесь завоевывать Россию. Все эти письменные и устные вопли попадали во всякие ученые комиссии и там разделяли мою судьбу: подвергались полному научному разгрому. И над попранными деловыми людьми торжествующе подымали свои лысины победоносные профессора.

Русскую литературно-философскую точку зрения на русский народ суммировал Максим Горький в своих воспоминаниях о Льве Толстом:

> «Он (Толстой) был национальным писателем в самом лучшем и полном смысле этого слова. В его великой душе носил он все недостатки своего народа, всю искалеченность, которая досталась нам от нашего прошлого. Его туманные проповеди «ничегонеделания», «непротивления злу», его «учение пассивности» — все это нездоровые бродильные элементы старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом. Это все чуждо и враждебно Западу в его активном и неистребимом сопротивлении злу жизни».
>
> «То, что называется толстовским анархизмом, есть по существу наше славянское бродяжничество, истинно национальная черта характера, издревле живущий в нашей крови позыв к кочевому рассыпанию. И до сих пор мы страстно поддаемся этому позыву. И мы выходим из себя, если встречаем малейшее сопротивление. Мы знаем, что это гибельно, и все-таки расползаемся все дальше и дальше один от другого — и эти унылые странствования, тараканьи странствования, мы называем «русской историей», — историей государства, которое почти случайно, механически создано силой норманнов, татар, балтийцев, немцев и комиссаров, к изумлению большинства его же честно настроенных граждан. К изумлению, — ибо мы всегда кочевали все дальше и дальше, и если оседали где-нибудь, то только на местах, хуже которых уж ничего нельзя было найти. Это — наша судьба, наше предназначение — зарыться в снега и болота, в дикую Ерьзю, Чудь, Весь, Мурому. Но и среди нас появлялись люди, которым было ясно, что свет для нас пришел с Запада, а не с Востока. С Запада с его активностью, которая требует высочайшего напряжения всех духовных сил. Его (Толстого) отношение к науке тоже чисто национальное, в нем изумительно ясен древний мужицкий скептицизм, рождающийся из невежества»...

Так говорит Заратустра русской литературы. Послушаем другого Заратустру — немецкого.

Альфред Розенберг — «Миф XX века» — официальная идеология нацизма:

> «Когда-то Россия была создана викингами, германские элементы преодолели хаос русской степи и организовали население в государственные формы, способствовавшие развитию культуры. Роль викингов позже переняла немецкая Ганза и эмигранты с Запада вообще. Во время Петра I — немец-

кие балтийцы, а к концу XIX столетия также сильно германизированные балтийские народы. Но под внешним обликом культуры в русских все же таилось стремление к беспредельному расширению и неукротимая воля к подавлению всех жизненных форм, понимаемых как преграды. Смешанная монгольская кровь, даже при сильной ее растворенности, закипала при всяком потрясении русской жизни и побуждала массы к таким действиям, которые посторонним людям казались непонятными... Враждебные течения крови борются между собою... Большевизм — это восстание монгольства против северных форм культуры, это стремление к степи, ненависть кочевника к личности, это — попытка свержения вообще всего».

Эти две тирады являются все-таки *документами*: и Розенберг в своем документе почти дословно повторяет горьковское резюме русской истории и русской души. Всякая строчка в этих двух документах является враньем — сознательным или бессознательным — это другой вопрос. Каждое утверждение противоречит самым общеизвестным фактам и географии, и истории — каждое утверждение противоречит и нынешнему положению вещей. И, стоя на чисто русской точке зрения, как можно обвинять немцев — немецких философов, и Розенберга в их числе, — в том, что они приняли всерьез русских мыслителей — и Горького в их числе.

Горькие создавали миф о России и миф о революции. Может быть, именно ИХ, а не Гитлера и Сталина следует обвинять в том, что произошло с Россией и с революцией, а также с Германией и с Европой в результате столетнего мифотворчества?

Я еще раз вернусь к фактам.

а) «Монгольская кровь» не имеет ничего общего с кочевничеством: наиболее типичные народы монгольской расы — японцы и, в особенности, китайцы — являются самыми оседлыми расами земного шара.

б) Кочевничество не имеет ничего общего с монгольской расой: цыгане не монголы, а американские трампы Джека Лондона только повторяли литературные и бытовые мотивы горьковских босяков. Английский народ «расползся» еще больше русского — почти на весь земной шар. Самые чистые монгольские народы Европы — финны и венгры — сидят на своих местах и не кочуют вообще никуда.

в) Русский народ ни в каком случае не является народом степей — это народ лесов. Его государственность родилась и выросла в лесах. Степь для него всегда, — до конца 18-го века, — была страхом и ужасом, как ночное кладбище для суеверного неврастеника: степь была во власти кочевых орд и именно из степи шли на Русь величайшие нашествия ее истории.

г) Норманны в частности, немцы вообще не имеют *никакого* отношения к стройке русской государственности. Эта государственность выросла в Москве в 13 — 16 веках, в условиях почти абсолютной отрезанности от Западной Европы. Нельзя считать «норманским влиянием» то обстоятельство, что московские князья пятьсот лет тому назад имели легендарного предка, вышедшего якобы из варяг.

д) На северных территориях лесов и болот, у Ерьзи, Чуди и прочих русский народ осел не потому, что не нашлось места хуже, а потому что степные нашествия обратили южную часть страны в одну сплошную пустыню. Не мог же Горький не знать, что первая попытка основания государственности была сделана в Киеве и что от самого цветущего города в тогдашней Европе — в 13-м веке остались одни развалины и весь юг был опустошен дотла.

е) В русской психологии никакого анархизма нет. Ни одно массовое движение, ни один «бунт», не подымались против государственности. Самые страшные народные восстания — Разина и Пугачева — шли под знаменем монархии — и притом легитимной монархии. Товарищ Сталин — с пренебрежением констатировал: «Разин и Пугачев были царистами». Многочисленные партии Смутного времени — *все* — выискивали самозванцев, чтобы придать легальность своим притязаниям, — *государственную* легальность. *Ни одна партия* этих лет не смогла обойтись без самозванца, ибо ни одна не нашла бы в массе никакой поддержки. Даже полудикое казачество, — флибустьеры русской истории, — и те старались обзавестись государственной программой и ее персональным выражением — кандидатом на престол. К большевизму можно питать ненависть и можно питать восторг. Но никак нельзя утверждать, что большевистский строй есть анархия. Я как-то назвал его «гипертрофией этатизма» — болезненным развращением государственной власти, монополизировавшей все: от философии до селедки. Это каторжные работы — но это не анархия.

ж) Толстовское отношение к науке ничего общего с психологией русского народа не имеет, как и его «ничегонеделание» или «непротивление злу». Что типичнее для русского народа: граф Лев Толстой, стоящий на самой вершине всей культуры человечества и эту культуру осудивший, или мужик Михайло Ломоносов, который, с тремя копейками в кармане, мальчишкой пришел в Москву из северных лесов, чтобы стать потом председателем первой русской Академии наук? Да, был Толстой. Но ведь был и Ломоносов. Был воображаемый Каратаев, но был и реальный Суворов. Был пушкинский Онегин, «забав и роскоши дитя», и были крепостные мужики Гучковы. Были эпилептики Достоевского, но ведь были Иваны, в феврале 1945 года вплавь форсировавшие Одер.

И — еще дальше: что типичнее для американского народа: Эдгар По и Уолт Уитмэн — или Эдисон и Форд? Что типичнее для русского народа: Пушкин и Толстой или Ломоносов и Суворов? Русская интеллигенция, больная гипертрофией литературщины, и до сих пор празднует день рождения Пушкина, как день рождения русской культуры, потому что Пушкин был *литературным* явлением. Но не празднует дня рождения Ломоносова, который был реальным основателем современной русской культуры, но который не был литературным явлением, хотя именно он написал первую русскую грамматику, по которой впоследствии учились и Пушкины и Толстые. Но Ломоносов забыт, ибо его *цитировать* нельзя. Суворов забыт, ибо не оставил ни одного *печатного* труда. Гучковы забыты, ибо они вообще были неграмотными. Но страну строили они — не Пушкины и не Толстые — точно так же, как Америку строили Эдисоны и Форды, а не По и Уитмэны. Как Англию строили адвенчереры и изобретатели, купцы и промышленники, а не Шекспир и Байрон.

Русская интеллигенция познавала мир по цитатам и только по цитатам. Она глотала немецкие цитаты, кое-как пережевывала их и в виде законченного русского фабриката экспортировала назад — в Германию. Германская философия глотала эти цитаты и в виде законченного научного исследования предлагала их германской политике. Откуда бедняга Гитлер мог знать, что все это есть сплошной, стопроцентный химически чистый вздор? Как было ему не соблазниться пустыми восточными пространствами, кое-как населенными больными монгольскими душами? Гитлер помер. Давайте говорить о мертвеце без гнева и пристрастия: *если* правы Достоевский, Толстой и Горький, то правы и Моммзен, Рорбах и Розенберг. Тогда политика Гитлера на востоке является исторически разумной, исторически оправданной и, кроме того, исторически *неизбежной*. Если русский народ сам по себе ни с чем управиться не может, то пустым пространством овладеет кто-то другой.

Если русский народ нуждается в этакой железной няньке — то по всему ходу вещей роль этой няньки *должна* взять на себя Германия. И это будет полезно и для самого русского народа. Розенберг так и пишет:

> «Теперь ему (русскому народу) *придется* перенести свой центр из Европы в Азию. Только таким образом он, может быть, найдет свое равновесие, не будет вечно извиваться в фальшивой покорности и одновременно зазнаваться, желая сказать «потерявшей свою дорогу Европе» свое «новое слово». Пусть он, справившись с большевизмом, это «слово» направит на восток — туда, где ему самому есть место. В Европе для этого «слова» места нет».

Как видите, А. Розенберг писал в тоне безусловной уверенности: «русскому народу *придется* перенести свой центр из Европы в Азию». И, как видите, уверенность А. Розенберга кончилась виселицей. Но...

Если прав Горький, то прав и Розенберг, почти буквально повторяющий Горького. *Если* оба правы, тогда русская оккупационная зона Германии является только плодом воспаленного воображения «наивных реалистов». Или — еще резче: *если* и в русской, и в германской философии имеется что-то, кроме сплошного вздора, то мы, все остальные люди, должны мощными колоннами отправиться в ближайший сумасшедший дом и там просить вылечить нас от галлюцинаций реальной действительности. От галлюцинаций голода и страха, от иллюзии русской армии, — уже в третий раз в истории оккупирующей Берлин, от навязчивой идеи о полном и абсолютном провале всех теорий, всех цитат, всех полных собраний сочинений. Все-таки: или — или. Кто-то из нас должен быть отправлен в сумасшедший дом. Вопроса о неточности, о случайном промахе, об «эрраре гуманум эст» — здесь нет и быть не может. О Ломоносове, Суворове, Менделееве, о степи и лесах, о монголах и их истреблении, о народных бунтах и их лозунгах Горький *не знать не мог*. Как *не мог* Ключевский не знать о декабристских планах истребления династии, или Покровский о борьбе Николая Первого с крепостным правом, или — все, вместе взятые, о самых основных фактах русской истории вообще. Как, с другой стороны, Розенберги и Шиманы не могли, не *имели права* не знать истории наполеоновского похода в Россию или происхождения украинской самостийности. Все они, по меньшей мере, *не имели права* не знать: за это знание им платили деньги, называли профессорами или мыслителями, доверяли им как специалистам — как вы доверяете врачу.

ЧТО ЕСТЬ ДОМИНАНТА

Общественные науки континентальной Европы делятся на два неравных лагеря: революционный и реакционный. Революционный занимает процентов 95 всей научной территории Европы. Реакционный зовет назад — к инквизиции, революционный — вперед к Дахау. Иногда они смешиваются в одном лице: как наш Бердяев начал с призыва: вперед к чрезвычайке! и кончил воплем о «Возврате средневековья» — так называется одна из его книг, посвященная одной из его переоценок ценностей. Революционный зовет к фаланстерам и колхозам, реакционный — к феодам и крепостному праву. Этим разница между ними, по существу, и ограничивается. Ибо прогрессивные Соловки или Дахау оказываются тем же, чем была ретроградная инквизиция. Интернациональный космополитизм нежно и нечувствительно

переходит в предельную степень шовинизма, а шовинистический расизм вдруг перекрашивается в интернациональную организацию Новой Европы. Не забудьте, пожалуйста, проф. Виппера: все это «богословская схоластика — и больше ничего». Под богословской схоластикой проф. Виппер понимает, разумеется, совершеннейший вздор.

«Прогрессивная» часть этой схоластики говорит о равенстве народов. Реакционная цитирует Киплинга или Чемберлена (немецкого). Прогрессивная — борется за равноправие негров в САСШ, реакционная отстаивает английские колониальные владения. САСШ с неравноправием негров были прогрессивной страной, старая Россия с неравноправием евреев была реакционной страной. Реакционная Российская Империя имела министрами и армян, и греков, и поляков, и татар, и немцев; революционная Франция орала: «à bas les mètecs!» и лишала арабов Северной Африки не только политических, но и гражданских прав. Теперь, когда революционная и интернациональная Советская Россия высылает на север Сибири целые народы — раньше немецких колонистов, потом крымских татар, потом кавказских горцев и миллионы поляков — на землю, о которой никто в мире не может сказать, кому эта земля будет принадлежать завтра, — надо надеяться, мечтать и молиться, что мировой плательщик налогов в пользу философии, социологии, геополитики и пр. поймет наконец: все эти налоги уплачены зря. И что реакция ничем, кроме схоластических орнаментов, не отличается от революции. И что мы, не имея даже и подобия общественных наук, сделаем лучше всего, если положимся на простой здравый человеческий смысл. Он ничего не измерит с точностью до одной тысячной микрона, но он по крайней мере предохранит нас от вооруженных экскурсов в область таинственной славянской души или таких же экскурсий в область таинственного социалистического рая. Это, сознаюсь, немного. По это — сознайтесь — все-таки больше, чем Дахау и Соловки.

С точки зрения этого здравого смысла мы можем установить, что а) люди не равны и что б) не равны и народы. Никто, по-видимому, даже и самые последовательные сторонники самых прогрессивных интернационалистов, не станут утверждать, что Ньютон равен ботокуду или что средний англичанин равен бушмену, что карликовые племена Южной Африки равны американской, французской или немецкой нации. Марксистская фразеология обходит этот пункт путем утверждений о «культурной отсталости» африканских народов, а культурная отсталость является-де результатом неблагоприятной исторической обстановки. Если, значит, для этих народов вы создадите благоприятную историческую обстановку, то даже и на ботокудской почве начнут произрастать Платоны и Ньютоны. Это будет революционный вздор. Реакционный вздор был сформулирован германской расовой теорией. На практике, повторяю, получается одно и то же: немцы вырезали крымских караимов за их еврейское происхождение, большевики выслали крымских татар за их контрреволюционные симпатии. В результате совместной деятельности революции и реакции — коренное население Крыма ликвидировано все. Очень вероятно, что крымские татары рассматривали немецкую теорию как прогрессивную, а советскую как реакционную. Караимы — наоборот. С моей точки зрения, обе теории являются политической уголовщиной.

Ньютон и ботокуд занимают крайние позиции на общем фронте человечества. Остальные нации, народы и племена расположились на каких-то средних участках. Каждая из них имеет доминанту национального характера: некую сумму, по-видимому, наследственных данных, определяющую типическую реакцию данной нации на окружающую ее действительность. Эта действительность, по-видимому, не имеет никакого влияния на общий склад национального характера: в одних и тех же исторических и географических условиях разные народы действуют и продолжают действовать по-разному. Индейцы и негры САСШ, несмотря на полную общность географии, климата и политического устройства, по-разному реагировали на создавшийся вокруг них североамериканский быт: индейцы не приноровились и вымирают, негры приноровились и размножаются быстрее белого населения страны. Таинственное племя цыган проходит сквозь всю нашу цивилизацию, как привидение сквозь стену замка, или как картечь сквозь привидение... Вы их не соблазните ни миллионами, ни поместьями, ни дворцами: все это им ни к чему. Они ведут образ жизни, который нам кажется истинно собачьим, и, вероятно, думают, что истинно собачий образ жизни ведем именно мы. Может быть, они не очень ошибаются.

Позвольте мне для иллюстрации одной из «национальных доминант» привести несколько анекдотический, но совершенно реальный случай.

Осенью не то 1929, не то 1930 года на московских улицах появились цыгане несколько непривычного вида. На них, как обыкновенно, были какие-то ослепительно-красные штаны, пронзительно-зеленые кафтаны, иссиня-черные бороды — все, как полагается. Но, кроме того, они были вооружены новехонькими портфелями и автоматическими ручками и разъезжали не на рваных своих телегах, а на советских авто. Вид у них был деловой и озабоченный. Никто не мог ничего понять.

Потом выяснилось: это были довольно многочисленные члены Центрального Совета Цыганского Национального Меньшинства — организации, которой Советская власть поручила работу по одомашнению их кочевых соплеменников. Центральный Совет приступил к своей культурной организационной работе и получил свою резиденцию. Резиденцией почему-то оказалось огромное и до сих пор пустовавшее здание крупнейшего ресторана в России — «Яра». «Яр» же в свое время был воспет целыми поколениями русских пропойц аристократического происхождения, и до сих пор нет, кажется, ни одного крупного города в мире, где бы эмигрантские потомки этих пропойц не возродили бы этого славного имени. Русские рестораны под этим именем понатыканы везде.

По древней репортерской привычке я зашел в «Яр». Стучали молотки и сновали цыгане. Шла великая социалистическая стройка. Ремонтировались запущенные отдельные кабинеты, ставились столы, развешивались портреты, основывался культурно-организационный центр советского цыганства. Потом этот центр населился машинистками, бухгалтерами, завами и помзавами и даже мне как-то было предложено развивать спорт среди угнетенной цыганской национальности. На эту тему я вел кое-какие переговоры с обладателями красных штанов и кожаных портфелей.

Наконец Центральный Совет был отремонтирован и пущен в ход. Все было, как и во всякой советской лавочке: все бегали из комнаты в комнату и все делали вид, что что-то делают, — делать же было совершенно нечего. Машинистки и бухгалтеры были русские, ответственные работники были цыгане, а надо всем этим, где-то почти незримо, околачивалось несколько политических комиссаров ВКП(б). Обладатели красных штанов заседали в отдельных кабинетах и томились, как рыба на суше. Я написал длинный и совершенно идиотский проект развития спорта среди трудящихся цыганских масс, и ответственные работники одобрили его не читая: грамотных из них не было ни одного. Юные цыганки и цыгане шмыгали по коридорам и вели таинственные беседы на никому не понятном языке. Это было самое странное советское заведение, какое я видел на всех территориях СССР.

В этом заведении был основан и буфет, как и во всяком другом. Потом кто-то более оборотистый, чем я, организовал при культурно-просветительном отделе Центрального Совета любительский хор. Потом в буфете, или, точнее, из-под буфета, стала продаваться водка. Потом, в силу огромности задач и краткости сроков, была установлена ночная смена. Новый «Яр» стал до странности напоминать старый. В отдельных кабинетах ответственных работников выступали цыганские хоры культурно-просветительного отдела, и портреты Маркса—Ленина—Сталина изумленно взирали на реставрацию старых социальных взаимоотношений.

Мы не можем жить без шампанского
И без пения без цыганского.

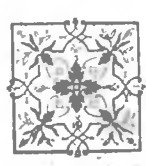
Мои скромные проекты перестали вызывать чей бы то ни было интерес. Но они все-таки давали право на законное посещение буфета.

Этим правом я пользовался редко: «Яр» находился на другой стороне города. Как-то весною я очутился в окрестностях Центрального Совета и решил проведать буфет. Перед монументальным входом в цыганско-шампанский дворец стоял милицейский пост. «Вы — куда?» Я объяснил. «Ваши документы!» — Я показал. «А теперь — катитесь дальше», — сказал мне постовой. Я спросил: «Так в чем же дело?» и получил ответ: «Это вас не касается». Я настаивать не стал.

Оказалось, что при первых же лучах весеннего солнца Центральный Совет Цыганского Национального Меньшинства в одну-единственную ночь стройно и организованно распродал весь свой дворец и скрылся в неизвестном направлении. Были сорваны портреты со стен и кожа с кресел, сперты буфетные часы и брошены на произвол судьбы сочинения Маркса—Ленина—Сталина и культурно-просветительная литература, распроданы пишущие машинки и арифмометры. Личный и ответственный состав исчез совершенно бесследно: растворился в каком-то таборе и пошел кочевать, воровать и гадать по всем республикам СССР. Ни автомобилями, ни портфелями не соблазнился никто. Даже и ОГПУ махнуло рукой: где их теперь поймаешь? Да и какой смысл?

Вот это и есть — цыганская доминанта, определяющая черта национального характера, по-видимому, неистребимая даже и веками. Почти такую же резкую черту демонстрирует и история еврейского народа: еще и царь Соломон был комиссионером между Тиром, Сидоном, Египтом и Месопотамией — так с тех пор еврейский народ и остался народом-комиссионером, сближающим другие нации, облюбовавшим торговлю, биржу, прессу, всякое посредничество. Палестинские террористы и Британская Империя переживали повторение саддукеев и Римской Империи, а спокойное и богобоязненное еврейское население ругало Иргун-Цво-Леуми, как оно раньше ругало Маккавеев. Думаю, что Иудея времен Эттли немного отличается от Иудеи времен Тита.

Публикация И. ДЬЯКОВА.



Из нашей почты

УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА ПРЕСТУПНО!

Установление мира, согласия, взаимного уважения, подлинных человеческих отношений между людьми и народами было понятной и привлекательной идеей Октябрьской революции, по существу ее главным смыслом. В связи с этим мне известно два трагических случая из истории гражданской войны в Якутии. Оба случая произошли зимой 1922 года на Колыме и в Таттинском улусе.

Священник Леонид Синявин (по национальности русский) стал самым искренним сторонником новой Советской власти, считая, что она практически воплощает в жизнь христианские идеи добра и мира между людьми и народами. За что сбежавшие далеко на Север белые офицеры сожгли его на костре вместе с большевиком В. Д. Котенко.

Почти в то же время язычник Никус по прозвищу Сумасшедший (у якутов принятие христианства завершилось в 30-х годах XIX века, но неграмотный народ глубоко не осмысливал христианские догмы, в душе оставался язычником) далеко от Колымы на востоке на земле Татты в страшно обличительных речах разоблачал белых за жестокость, бесчеловечность, жадность, предрекал победу новой Советской власти — власти добра, счастья и мира между людьми и народами. В первое время вроде бы никто не обращал на него внимания. Действительно, какой спрос с «сумасшедшего» старика? Однако проповедь Никуса возымела успех среди народа и белые поймали старика, разожгли большой костер во дворе, загоняли туда людей и живьем бросили туда Никуса, который до последнего дыхания проклинал мучителей, призывал народ не присоединяться к злому духу посланцев нижнего мира.

В этих двух трагических случаях как бы соединяются несовместимые противоположные устои: религия — основа нравственности старого мира и атеизм — составная часть коммунистической идеологии. К великому сожалению, сторонники второго устоя, идеологизированные сиюминутными конъюнктурными интересами, часто забывали и совершенно искренне, тем опаснее, общечеловеческое и главное содержание этих двух устоев: идею добра, счастья, мира, согласия и любви между людьми и народами. Дело даже дошло до того, что перестали отличать «белое от черного», «добро от зла», «счастье от беды», «друга от врага», «правду от лжи». В то время как священник Леонид Синявин, язычник Никус смогли уже тогда увидеть и понять эту общечеловеческую непреходящую ценность в двух мировоззрениях, соединить их вместе, отделить второстепенное от главного — и оба погибли в страшных мучениях.

О моем маленьком якутском народе, начиная с 1986 года, много стали писать и говорить как о народе, приверженном к национализму, ненависти к другим народам, в частности к русскому народу. Об этом писали и говорили академик Ю. Бромлей, доктора наук В. Ф. Халипов, Ю. И. Римаренко, Г. И. Литвинова, Э. Я. Стумбина и другие.

Доктор юридических наук из Латвии Э. Я. Стумбина заявила: «Здесь уже говорилось об избиении русских в Якутии, Казахстане. Сегодня враждебное отношение к русскому народу, русскому человеку трансформируется во вражду к советскому народу, советским порядкам, социализму» (журнал «Советское государство и право», 1989, № 2, с. 19, 21).

Уважаемому доктору следовало бы прежде всего обратить внимание у себя дома, в прибалтийских республиках, где действительно имеются факты русофобии, ненависти к Советской власти, КПСС и социализму. О чем наш разговор впереди.

Подобные некомпетентные и клеветнические заявления оказываются на руку провокаторским, экстремистским и националистическим элементам, подогревают между народами отчуждение, сеют недоверие и вражду.

Моя цель — не отводить с документами в руках разного рода обвинения, возводимые в адрес моего маленького народа, поэтому приведу только три факта, над которыми следует задуматься.

Первый факт. Замечательные русские люди и представители других народов высоко ценили якутский народ за человечность, скромность, за любовь к другому народу и материальную поддержку, всегда подчеркивали честность и трудолюбие этого народа. Таковы отзывы декабристов А. А. Бестужева-Марлинского, М. И. Муравьева-Апостола, великого Чернышевского, классиков русской литературы В. Г. Короленко, И. А. Гончарова, который ез-

дил в Якутию в качестве путешественника, известных ссыльных большевиков С. Орджоникидзе, Г. И. Петровского, Ем. Ярославского и многих других.

Второй факт. Доктор философских наук, московский профессор Г. И. Куницын — глубокий знаток якутов, их культуры и духовной жизни — в беседе с собственным корреспондентом журнала «Литературная учеба» (1988, № 6) говорил: «Я жил в Иркутской области, в районе, пограничном с Якутией, знаю достаточно хорошо те края, по Лене в юности плавал матросом, там у меня до сих пор есть друзья — и никогда, нигде не чувствовал проявлений национализма со стороны якутского населения. И сразу насторожился, когда услышал о каких-то «националистических волнениях» в Якутии. Ознакомился с фактами, факты явно провокационного характера, и я понял, что бывают ситуации, когда кому-то выгодно обострять отношения между нациями». Далее профессор продолжает: «В разговорах с якутами всегда чувствовал, насколько они близки к русскому народу, хотя они не близки по языку, не близки по каким-то другим признакам, а вот по главному, по принципу интернационализма, очень близки. Не будем забывать, что их земля была местом ссылок. Много там перебывало революционеров, начиная от Чернышевского, написавшего немало доброго о якутах. Собственно, и другие упоминания об этом народе сплошь положительны. Там и сейчас есть удивительные граждански мужественные люди, с которыми я длительное время нахожусь в духовном общении. И не якуты виноваты, я думаю, что их на всесоюзном уровне стали упоминать в числе националистов».

Третий факт. Основанием обвинения якутов в национализме является единственный известный официальный документ: доклад до смерти перепуганного за свое кресло первого секретаря Якутского областного комитета партии Ю. Н. Прокопьева в мае 1986 года на III пленуме областного комитета. Кстати, и там не говорилось ни о какой русофобии.

Унижение национального достоинства русского народа, извращенная передача его этноса, истории, характера, заодно битье шлепками по лицу других народов СССР, в некоторых публикациях общественных деятелей прибалтийских республик не может не вызвать самый решительный протест всех честных людей.

Вот выдержки из статьи эстонского профессора, народного депутата СССР Тийта Маде.

1. «Нужно постоянно следить за этим злым соседом, чтобы он не рассердился, и нужно постоянно помнить, с кем ты имеешь дело». Профессор под «злым соседом» подразумевает «русскую империю», или, как он выражается, «русское государство Советского Союза».

2. «Татары и монголы вторглись в свое время в русские деревни, истребляли и захватывали в плен мужское население, насиловали русских женщин. Поэтому сегодня русский народ так смешан с теми людьми, которые когда-то насиловали русских женщин. Отсюда эта агрессивность, необходимость показать силу и выдавание чужих успехов за свои». Далее: «Русским нравится слыть лучше других, делать свою «дружбу», диктовать свой стиль жизни. Даже в любви проявляется агрессивность, насилие. После изнасилования женщин приходит любовь и наслаждение». Бесцеремонность, извините, я бы сказал, нахальство и чудовищность выражений в адрес целого народа напоминает стиль и метод идеологической обработки населения печально известным министерством пропаганды третьего рейха.

3. «Русскому народу нанесли вред мысли Ленина о единых для всего мира народе, языке и культуре. Русские часто глубоко убеждены в том, что во всем мире не существует ничего лучшего, чем русский язык и культура» («Советская Россия», 5.08.1989 г.). Дорогой профессор, то, что утверждается, принято подкреплять доказательством. Сейчас скажем только одно: то, что голословно утверждает народный депутат СССР,— очередной блеф.

Из воспоминаний народного депутата СССР Ромуальдоса Озоласа, опубликованных в 5—6 номерх журнала «Пяргале» за 1989 год, отрывки из которых напечатала «Неделя» (1989, № 35):

1. «Почему был возможен Сталин?

Ответить на этот вопрос нельзя без России, потребности которой он удовлетворял.

Русскому работать было хуже смерти. Вот почему нэп показал, что, идя по этому пути, жизни не будет.

Русский всегда любил жить не по средствам. Сталин со своей концепцией мировой революции, ведя войну на чужой территории, так материализовал иллюзии жизни не по средствам, что дело могло выглядеть краше».

2. «...Русский всегда был почитатель силы: кулак ему всегда был лучшим аргументом».

Я далек от мысли, что эти люди определяют подлинные настроения прибалтийских народов и интеллигенции.

Почти те же вопросы, которые волнуют в 1989 году современных высокообразованных прибалтийских деятелей, как это ни удивительно, в 1897 году (почти 100 лет тому назад!) ставил и по-своему решал двадцатилетний юноша якут, ученик выпускного класса Якутского реального училища Алексей Елисеевич Кулаковский в двух своих статьях: «Вправе ли русские гордиться своим именем?» и «Главнейшие достоинства поэзии Пушкина».

Не будучи согласен с некоторыми частными положениями его статей, я тем не менее нахожу в них ответ на статьи маститых ученых мужей.

Небольшая справка о Кулаковском. После окончания училища свою основную деятельность он направил на создание письменной литературы на якутском языке и на изучение материальной и духовной культуры родного народа. В первое время по отношению к Советской власти занимал выжидательную позицию, затем принял ее искренне, доказал свою преданность честной службой, и главное, на идей-

ной основе. В 1925 году он писал: «Благо, что начинает создаваться якутская литература. Великая идея коммунизма дала нам возможность развивать своих детей при посредстве материнского языка, — это великое неоценимое счастье для каждого из мелких народов». Кулаковский умер 6 июня 1926 года в Москве и похоронен на Даниловском кладбище.

Наше отношение к этому выдающемуся поэту, ученому, общественно-культурному деятелю было весьма сложным: мы после его смерти трижды убивали и трижды воскрешали его. На русском языке поэтические произведения Кулаковского в переводах В. Солоухина и С. Поделкова вышли в 1977 г. и в 1987 г. в издательствах «Советская Россия» и «Современник», сборник научных трудов вышел в 1979 г. в Якутске. И мне приходилось терпеть немало страданий и ненависти со стороны власть державших и их прихлебателей, защищая доброе имя Кулаковского.

После этой небольшой справки дадим слово юноше Кулаковскому. Об избавлении русского народа от татаро-монгольского ига, в отличие от маститого профессора Тийта Маде, будущий основоположник якутской литературы Кулаковский писал: «И какой народ так славно разорвал свои цепи и отомстил врагу?! Стоило явиться смелому предводителю, и народная сила и гордость доказала местью свое пробуждение».

О значении петровских преобразований (да будет это адресовано всем сегодняшним хулителям великих деяний Петра) юноша писал: «Бессмысленно говорить, как говорили завистники русских тем, что русские стали перенимать у Запада. Напротив, можно их хвалить, потому что они достойно оценили и присвоили себе одним взором плоды долговременной науки Западной Европы. С этих пор русские пошли следом за Западной Европой и в настоящее время уже догнали, хотя до Петра и смеялись над Русью, называя ее варварской страной. При Петре же русские составили первое регулярное войско, засвидетельствовавшее свое появление победой первой европейской армией».

О человеческих и душевных качествах, о трудолюбии и патриотизме русского народа и русских людей юноша Кулаковский писал: «Русский человек отличается мужеством, глубокой преданностью православной вере, самоотверженной любовью к царю и сердечной привязанностью к русской земле. Он добродушен, предприимчив, понятлив, умеет применяться к обстоятельствам, усиленному труду». Во всех сложных поворотах истории и рока судьбы русские всегда выходили победителями, «во всех этих случаях главную роль играют, — пишет двадцатилетний юноша,— душевные силы русских — их личные качества».

Несколькими штрихами Кулаковский дает достойную удивления положительную характеристику великим сыновьям русского народа. «На поприще государственной деятельности стоит Петр I, подвинувший Россию на целый век (если можно так выразиться), не знающий себе равного во всемирной истории, и гений, соединяющий в себе все силы, все способности души русского народа. В русской истории есть очень много примеров талантливых, всегда побеждавших полководцев (Суворов...). На поприще литературы русской также встречаются замечательные деятели, каковы, например, Крылов, Лермонтов, Гоголь и др.».

Свою статью Кулаковский заключает: «Создавшееся в такой промежуток времени такое могущественное государство, благоденствующее в настоящее время, прожив столько замечательных событий в своем прошедшем и имея таких сыновей отечества — русские имеют полное право гордиться своим именем». Вот так-то.

Да, пусть это будет моим ответом и ответом всех якутов народным депутатам из Эстонии и Литвы Т. Маде и Р. Озоласу, и всем, пытающимся вбить клин между народами, сеющим ядовитые семена ненависти к русскому народу и русскому человеку.

Е. АЛЕКСЕЕВ,
кандидат исторических наук, Якутск.

ОТЧУЖДЕНИЕ

Спиной друг к другу... Что заставило этих людей отвернуться? Мы не знаем. Но когда сотни тысяч армян и азербайджанцев сорвались со своих мест в поисках нового края, когда турск-месхетинцев вывозят с целью их спасения в РСФСР, когда в Прибалтике некогда знакомые люди перестают узнавать друг друга, а дети во дворе отталкивают маленького соседа, не принимая его в игру из-за его «чужого» языка, то причина известна: это межнациональная рознь, усилившаяся в последнее время.

Да, в деформации национальных отношений виноваты и сталинщина, и годы застоя, и неповоротливость нынешнего центра. Но кто дал право одному народу судить другие народы за преступления былых вождей, решать, кто культурнее, трудолюбивее, демократичнее, кто гражданин, а кто «мигрант», «оккупант»? Такого права никогда не присвоит себе целый народ, всегда разумный в своей основе. Это могут позволить себе лишь те, кто тщится выступать от его имени.

Глубоко убежден, что обстановка неуверенности, запуганности, эмигрантской настроенности части иноязычного населения Литвы создается искусственно, искусно и сознательно. Не переворот и переселение, а перераспределение материальных благ (как первый ощутимый для некоторых «успех» перестройки) и отторжение людей по национальному признаку — вот реальная угроза, уже осуществляемая на наших глазах. Увольнения и депремирования, бытовые обиды и унизительное подгоняние и запугивание при переходе на государственный язык — что в этом общего с национальным возрождением? Коллективная, якобы общенациональная вражда к инакомыслящим землякам — «ренегатам»?

Впереди, как было во все времена, собратья по перу. Плотность материалов на одну и ту же тему постоянно поддерживается неформальной прессой и родной ей по духу официальной. «Виноваты» во всем социализм, Советский Союз, Москва. Преступления сталинизма органично переносятся на современность, и ответственность за них возлагается на всех инакомыслящих независимо от возраста и национальной принадлежности. Обвинителям нет дела до того, что скорбь о погибших хранят все народы нашей страны, всех коснулось горе репрессий и позор застоя. Цель, прослеживаемая во многих публикациях, — не столько облегчить боль пострадавших воспоминаниями и осуждением прошлого, сколько в том, чтобы обвинить «чужаков», внушить им постоянный комплекс вины и неполноценности, заставить быть тише и покорнее. Им как бы говорят: вы виноваты за Сталина, за застой, за нынешнюю политику центра, за ваши мечты о танках (чего не напишет бойкое перо, создавая «образ врага», при практически одностороннем движении на дорогах масс-медиа!)... Так что молчите, а еще лучше — уезжайте...

Анализируя обстановку в разных районах страны, публицист И. Преловская размышляет: «Как ни прекрасна национальная идея, но когда пути, которые избираются для ее утверждения, влекут к произволу и насилию над людьми по национальному признаку, к предпочтению одних другим не по таланту, не по труду, а по рождению, приходится задуматься: нет ли искажений в проповеди самой этой идеи?».

Отторжение ведется массированно и планомерно. Народный депутат парламента великого государства сообщает своим избирателям, что вернулся из столицы «развивающейся страны». Другой порадовал сообщением о том, что мы имеем дело с «умирающей партией». Слова «социализм», «марксизм-ленинизм», «интернационализм», «товарищ», «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» подвергнуты дружному осмеянию и вычеркнуты из лексикона уважающих себя людей. Посетитель библиотеки возмущенно глядит на портрет Ленина и изумленно спрашивает: «Разве здесь не национальная библиотека?». «Государство Солнца» (не по Кампанелле) создается на наших глазах, демократичное, толерантное и просвещенное. Правда, возмущаются, почему на торжественном собрании исполняется Девятая симфония Бетховена, а не народная песня. Пишут жалобы, что Литва русифицируется, поскольку местное издательство печатает прославленную во всем мире книгу Б. Пастернака «Доктор Живаго», и успокаиваются после делового разъяснения, что можно будет хорошо заработать на продаже книги в соседней развивающейся стране. С радостью и гордостью сообщается о том, что съезд «союза рабочих Литвы не намерен петь «марсельезу». Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Что это — борьба за суверенитет, за подлинную независимость, за духовный подъем? Да, это «независимость» — от близости и взаимодействия культур, «независимость» от богатства связей, «независимость», истинный смысл которой — самоизоляция, духовная автаркия, ведущая к новому застою. Чуткий философ пишет: «Процесс отчуждения наций в СССР происходит. Нельзя об этом молчать. В иных республиках отторжение «чужой» нации происходит быстрыми темпами. Если так пойдет дальше, то очень скоро мы встанем перед фактом создания республик с однородным этническим населением. Устроит ли это ревнителей чистоты нации, развития ее стерильного генотипа? Вероятно, да! Будет ли это полезным для будущего «избранного» народа, способствует ли это развитию его культуры, ее обогащению, наконец, укреплению экономической независимости? Убежден, что нет!». Непрерывное, систематически организуемое межнациональное отчуждение опаснее любых планов отделения. Государственные дела регулируются сознательными усилиями людей и правительств, документами, дискуссиями, выборами. Дух отчуждения, управляемый злой волей, проникает в массу, в толпу, и процесс нарастания непонимания, недоверия, вражды становится иррациональным, неуправляемым, непредсказуемым. При этом можно даже быть в «составе», но оставаться чужими друг другу. Внутренние границы могут быть прочнее государственных...

Процесс еще не стал необратимым. Здоровый народный инстинкт, общие интересы наций при всем своеобразии их развития в новой, подлинно ленинской федерации должны оказаться сильнее тех сил, что стремятся повернуть нас спиной друг к другу.

Владас БИКУЛИЧЮС.

От редакции:

В течение года журнал планирует опубликовать обзор интерфронтовской прессы Прибалтики, откуда мы перепечатываем этот материал.

ЧУЖИХ НАРЕЧИЙ ПОГРЕМУШКИ

Отдыхая около Батуми, не перестаешь любоваться величественной картиной водных просторов. Море ласковое и грозное, безмятежное и бурное никогда не бывает однообразным и радует глаз. Но случается и другое. Если подгоняемые ветром волны устремляются к северу, то вместе с ними, из-за кордона, начинают плыть консервные банки с яркими заграничными этикетками, ломаные пластмассовые игрушки, лохмотья иноземной пленки и прочий мусор. И не хочется тогда находиться на берегу. Как хорошо, что при первом же шторме всю эту дрянь уносит море. К сожалению, не так происходит в жизни нашего общества. Здесь очистительные волны гласности, смывая пороки, принесли в «умственные тундры» иных прорабов культуры немало импортного сора.

Не зная и не желая знать традиции своего народа, униженно называя его «изгоем мировой культуры» и декларируя «страстную жажду воссоединения с цивилизованным миром», эти «прорабы» призывают к бездумному подражанию далеко не лучшим западным образцам. О таких самобичевателях писал А. Прокофьев:

Все тянет их к заморской сини,
А я скажу, в чем наша честь:
Нам надо знать свою Россию,
Пора пришла. И силы есть!

Пора давно пришла. Да вот беда: кое-кому чувства любви к Родине, гордости за Отчизну и ее героическое прошлое показались ненужными и не соответствующими духу времени. Если и вспоминают о них, то, как говорил Салтыков-Щедрин, — «перекосивши рыло на сторону». Отрицание нравственных идеалов и национальной самобытности сопровождается попытками доказать неполноценность наших соотечественников. В свое время, высмеивая подобную «потребность самооплевывания», доходящую «до наслаждения своим безобразием», великий сатирик метко охарактеризовал поведение такого отрицателя: «в отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что-то продал» (Салтыков-Щедрин).

Унизительна привычка не замечать достоинств своего народа. У таких подобострастно сгибается спина лишь перед чужеземным. Пример тому — ажиотаж, создаваемый вокруг имен бывших советских граждан — писателей и артистов, оказавшихся за рубежом. Ни степень таланта, ни причина отъезда не принимаются во внимание.

Показателен в этом отношении недавний приезд в Ленинград бывшей балерины Кировского театра Наталии Макаровой. Два десятилетия тому назад, во время гастролей за рубежом, она стала, как тогда говорили, «невозвращенкой». Нельзя сказать, что на родине актриса подвергалась какой-либо дискриминации. Наоборот, после учебы в хореографическом училище молодая танцовщица заняла ведущее положение в театре. Получила почетное звание. Пресса давала высокие оценки выступлениям Макаровой. Но она сделала свой выбор. Ее карьера на Западе сложилась счастливо — имя талантливой балерины приобрело широкую известность во многих странах. Радушные ленинградцы тепло встретили визит нашей гостьи. Было бы все хорошо, да только, как часто бывает, организаторам шумной кампании не хватило собственного достоинства. Танцовщицу, находящуюся не в лучшей форме, встретили как национальную героиню, как Жанну д'Арк нашего времени. Наталия Макарова «великая», «полулегендарная», «первая леди», покорившая «весь балетный Ленинград», — таким букетом восторженных эпитетов, которым не награждалась ни одна из замечательных ленинградских балерин.

Потребность к самооплевыванию — как эпидемия — широко распространилась среди бывших деятелей застоя, а ныне «рупоров перестройки». Они с радостью сообщают о демонтаже памятника В. И. Ленину на Дальнем Востоке и высмеивают патриотическую игру «Зарница», пародируют героические песни гражданской и Великой Отечественной войн... Журнал «Октябрь», забыв о происхождении своего названия, публикует гроссмановский пасквиль на отечественную историю и на русский народ. Словом, подтверждаются слова В. Г. Белинского: «Для низких натур нет ничего приятнее, как мстить за свое ничтожество, бросая грязью своих воззрений в святое и великое».

Позорные явления не получают осуждения, а возмущенные голоса людей, отстаивающих веру в святое и великое, тонут в печатных и телевизионных декларациях тех, кто считает свои суждения истиной в последней инстанции. Для дискредитации оппонентов они в выражениях не стесняются. «Враги перестройки», «контрреволюционеры», «кастрированные политики»... — таков далеко не полный перечень «изысканных» метафор и политических ярлыков, при помощи которых хотят расправиться с инакомыслящими.

Отрицая отечественные традиции, поклонники «чужих наречий», повернув головы на Запад, ищут идеи обновления в подворотнях заокеанской масскультуры. Особое внимание обновителей привлекает реанимация давно отшумевшей в странах капитала сексуальной революции. Путь прогресса в искусстве они видят в пропаганде вседозволенности. Маститые порноспецы, обуреваемые желанием приобщить отсталых граждан к «вершинам мировой цивилизации», предлагают чуть ли не с младенческого возраста обучать детей премудростям полового воспитания. Они стыдят противников аморальности, уверяя, что у них психология стариков-ветеранов войны 1812 года. Пока теоретики, призывая к «реабилитации плоти», ведут нескончаемые споры о том, что такое эротика и порнография, с театральных подмостков, в печати, с больших и малых экранов «вносятся обильные вклады» в фонд бескультурья, ошарашивая публику нецензурной бранью и вседозволенностью. Вот участница телепередачи «Взгляд» предлагает узаконить у нас проституцию, а программа «Пятое колесо» показывает фрагменты фильмов о скотоложстве и постельных забавах. Вот мелькают красочные видеоклипы об однополой любви, а любителей балета знакомят с порнографической лентой «Адам и Ева». Вот «мужественный» корреспондент «Огонька», рассказывая о «трудных журналистских тропах», сообщает, как «смело» посетил... амстердамский публичный дом, и дает восторженно-красочное описание. Апофеозом моральной деградации стал голый зад представителя пермского молодежного театра, показанный ошеломленным ленинградским телезрителям.

Олицетворением «свободомыслия» стали фильмы, спектакли с участием девиц без стыда и одежды. Мотивировка одна — любыми способами заманить зрителей. Популярными героинями стали не обремененные предрассудками женщины легкого поведения. Чтобы моду на подобных персонажей не сочли конъюнктурной, предпринимаются попытки романтизировать их «трудовую деятельность». Недаром русское слово «шлюха» заменили привлекательными названиями: «ночные бабочки», «жрицы любви», «представительницы древнейшей профессии», «группа повышенного риска»... Звучит красиво. Как тут устоять юной душе и не попробовать самой стать «жрицей» или «бабочкой»? Под впечатлением одной из нашумевших повестей Галина С. из Львовской области пишет: «Девочки ночной профессии молодцы и намного больше выигрывают, чем мы с вами в этой тусклой и пошлой жизни. Все мы хоть в чем-то, но завидуем, а эти интердевочки — просто молодцы. Только они и живут в прямом смысле слова» («Аврора», 1989, № 8, с. 29). Стараются не упустить свой шанс и лица сильного пола. В одной из публикаций бывший альфонс, закончивший карьеру в тюрьме, обращается с предложением поделиться накопленным опытом и увековечить его биографию в романе «Интермальчик» («Аврора», 1989, № 8, с. 23). Возбужденные развратным представлением, подростки спешат закрепить полученные знания, совершая группой акт насилия. Даже малыши во дворе, насмотревшись фильмов «для взрослых», играют не в песочек, а в... и пишут на стенах слово «секс».

Разрушительное влияние антиискусства вызывает законную тревогу. В статьях и многочисленных письмах в редакции читатели с негодованием отмечают разрушение этических норм русской культуры и всего, что было свойственно нашему народу.

Но взволнованные голоса тех, кому дороги национальные реликвии, тонут в шумовом потоке роковой балаганности. Письма читателей остаются без ответа — на них просто не обращают внимания, и наступление на культуру продолжается с новой силой. Включив телевизор, нетрудно убедиться, что большую часть экранного времени трясутся глотатели микрофонов. Чтобы зрители, не дай бог, не заскучали, — самые серьезные и драматичные сюжеты перебиваются увеселительными вставками, иногда кощунственными, как это было в программе «Взгляд», когда после сообщения о трагедии у станции Бологое показали развеселое выступление ВИА и парад собачек.

В развлекательной лихорадке телепередач не находят места для популяризации классической музыки, живописи и других видов художественного творчества. Не проявляют интереса к русской культуре и концертные организации, не говоря уже о барышниках-кооператорах, в погоне за длинным рублем сосредоточивших внимание на организации массовых эстрадных представлений с рок-звездами.

Наши «шоумены» и «поп-артисты», поощряемые «спонсорами» и прочими «менеджерами», сильно утрируя, подражают манере поведения, одежде и характеру исполнения иностранцев. Но ведь еще Карамзин, порицая забывающих о своем родеплемени, спрашивал: «Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями и обезьянами вместе?» Знал русский писатель-патриот, что копирование разрушает самобытность нации. Если вернуться к нашим шоубизнесменам, то, как говорится, вольному — воля. Нравятся такие занятия — пусть забавляются, только зачем их вкусы, а вернее, безвкусие, с таким назойливым упорством навязываются народу? Неужели не ясно, что односторонняя пропаганда приводит к забвению традиций отечественной культуры.

Теория освобождения искусства от народной основы, во имя «насущных вопросов», отрицательно сказалась на репертуарной политике республиканских театров. Многие коллективы, утратив опыт прошлых лет, прекратили работу по формированию национальных балетов, отражающих жизнь своих народов. И только изредка, пытаясь залатать образовавшуюся брешь, восстанавливают спектакли, поставленные несколько десятилетий тому назад. При сложившемся положении особенно неуместны публикуемые в печати советы балетмейстерам — «не ограничиваться национальными рамками». Кому нужны подобные пожелания, если и без того театры утратили связь с землей, которая их вскормила? (Т. Тюрина. «Советская Белоруссия» от 1.12.87.)

Поощряемые напутствиями советчиков, постановщики обратились к заимствованию старых новинок западного модерн-балета, что привело к обеднению выразительных средств. Лишенные национального своеобразия, скопированные с одних и тех же оригиналов, спектакли разных театров стали походить друг на друга. Их отличает мрачный колорит, отсутствие примет места и времени, туманная символика, механические телодвижения, обилие сексуальных поддержек, неизменная униформа — купальник и прочее. Смотришь, в одном городе ставится рок-балет, во втором — тоже, в третьем — появился провинциальный Бежар, а в четвертом — местечковый Ролан Пети...

Односторонние увлечения, противоречащие творческим принципам «душой исполненного полета» русской Терпсихоры, не создавали благоприятных условий для рождения русских балетов, и они перестали появляться на сцене. Русские сюжеты, даже сказочные, очень редко привлекают внимание постановщиков. Для оправдания бездеятельности выдумываются теории: ра-

боты, дескать, прекращены над этими произведениями не из-за инертности хореографов, а из-за... бедности русского танца (!). Если иногда и появляются балеты, навеянные русской тематикой, то в них отсутствуют национальные черты, а главными «героями» становятся патологические и карикатурные персонажи.

Русский танцевальный фольклор до конца не утрачен только благодаря подвижнической деятельности народных ансамблей и коллективов сельской самодеятельности. Зато на эстраде его участь плачевна. Так называемые «русские номера» не имеют никакого отношения к национальной хореографии и представляют собой пародию на наших соотечественников. Русские люди показаны в них глупыми, ленивыми и тупыми... Штампованный набор действующих лиц: здоровенная молодица и плюгавенький мужичонка или, наоборот, длинный верзила и маленькая пигалица, бабы на чайнике или на самоваре и прочие полудурки. Подобные персонажи, рожденные фантазией людей, не имеющих народного самолюбия, встречаются не только на эстраде. С грустью замечаешь, как в творениях разных жанров входит в моду привычка опошлять образ русского человека, превращая его в чонкиноподобное существо. Глубоко заблуждаются те, кто считает, что путь к «вершинам мировой культуры» лежит через унижение национального достоинства.

А между тем за рубежом подлинно русское искусство пользуется большим успехом. «Источником свежих идей» недавно назвал наше народное творчество американский дизайнер Майкл Оуэн и сожалел, что мы недооцениваем свою национальную самобытность («АиФ», 1989, № 26). Иностранная публика бывает разочарована, если советские гастролеры привозят спектакли, лишенные этого своеобразия. «Кажется, нам показали то, что на Западе уже было», — писала на театральном фестивале в Цюрихе корреспондент местной газеты.

Подражателям стоит чаще вспоминать изречение: «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир». В жизни западных стран существует немало того, чему следует поучиться. Там есть высокое искусство, но есть и жанры, рассчитанные на низменные вкусы. Едва ли здравомыслящему человеку придет в голову выдвинуть призыв: «Догнать цивилизованные страны по спиду, наркомании и проституции!». Так зачем же внедрять зрелища, разрушающие нравственные устои общества? Не следует забывать, что наше культурное наследие богато своими традициями. Нам есть чем гордиться, есть что беречь и развивать, отторгая чужие «погремушки».

Алексей **АНДРЕЕВ-РАЕВСКИЙ**,
заслуженный артист РСФСР,
заслуженный деятель искусств БССР.

ТАК ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?

Написать это письмо заставило меня беспокойство за судьбу России, той России, которую в течение многих сотен лет создавала и моя семья.

Я принадлежу к старинному русскому дворянскому роду. Наша фамилия Догель восходит к обрусевшим литовским дворянам, переехавшим в Россию почти 150 лет тому назад. Каждое из поколений нашей семьи служило честно, и думаю, что мои предки оставили заметный след в истории России. Достаточно сказать, что предметом нашей особой гордости является имя Александра Васильевича Суворова. Наша казанская ветвь рода Догелей — его потомки.

Наиболее трагический момент в судьбе нашей семьи относится к 1919 году: почти все ее члены репрессированы (включая деда, Владимира Михайловича Догели, его брата, Михаила Михайловича Догеля, оба двадцати с небольшим лет; первый из них окончил Александровский лицей в Петербурге, а второй — Пажеский корпус, по окончании которого стал кавалергардом).

Казалось бы, ну погибло «всего-то» более 10 миллионов, ну выгнали около 2 миллионов за границу. Зато теперь реализуется очень простенькая схема: нет буржуев, нет социально чуждых элементов, все равны, всем хорошо. Но оказалось, что при этом еще была утеряна историческая память, традиции, уничтожена религия, а в результате и нравственные устои народа. Думаю, что наше теперешнее состояние, наши экономические трудности в значительной мере связаны именно с этим.

Да, сейчас мы стоим перед кризисом. Но избавь нас господь опять следовать простеньким схемкам, которые предлагаются и слева и справа: либо разделить всю страну на совершенно изолированные маленькие территориальные образования, либо опять начать «чистить» страну от чуждых элементов. Результат будет один — окончательная гибель России.

Каждый из нас обязан выполнить долг по спасению страны. Готово ли наше поколение взвалить на себя груз ответственности за Россию? Есть ли у нас для этого нравственные силы? Я думаю, что России с нами не повезло. Мы загадили наши церкви, мы осквернили наши кладбища, мы разрушили наши храмы, на рынках мы продаем наши иконы, наши души полны бессмысленной злобы. Мы накопили огромную агрессивность, которую торопимся выплеснуть друг на друга. Нетрудно и, наверное, в чем-то даже сладостно упиваться ненавистью. Однако путь ненависти — это путь дьявола.

Так есть ли надежда на возрождение России? Надеюсь, что пока еще есть. Но для этого каждый из нас должен совершить свой путь, каждый должен увидеть в ближнем брата своего. Давайте осознаем, что наши оппоненты не враги и не злоумышленники, что и они могут быть искренни в своих действиях. Давайте осознаем, что величие России было не только в ее исторической роли, но и в созданных ее народом нравственных ценностях. Наш народ не отказывал ни в убежище, ни в хлебе. Много раз Россия бескорыстно сражалась за свободу других народов, много раз Россия укрывала народы, которым грозила гибель. Нам всегда было свойственно великодушие. Так смеем ли мы сейчас позорить доброе имя России, порочить перед историей ее честь?

Сама Россия искони созидалась как многонациональное государство и, как мне кажется, решала национальные проблемы достаточно успешно. Так что на нас лежит ответственность и за людей других национальностей, которые живут вместе с нами. Мы в ответе также и за тех русских, которые совершенно неожиданно оказались в положении бесправных «национальных меньшинств» (?!).

Как мне кажется, и на писателях, журналистах лежит немалая ответственность за будущее страны. Многие же из них упоенно раскачивают ситуацию. За статьей следует контрстатья, за аргументом — контраргумент, за демонстрацией — контрдемонстрация. Люди забывают, что же, собственно говоря, они хотели, целью становится сама борьба. Все это у нас уже было, и чем это кончилось, мы знаем.

Я не призываю сейчас же пролить слезы умиления, обняться и сказать друг другу: «брат мой, возлюби меня, как я тебя». Однако момент для серьезного осознания ситуации настал. Верю, что у честных и искренних людей, пусть и не во всем согласных, может быть общая цель, — и эта цель — не гибель России.

В. А. ДОГЕЛЬ.
Москва

БЫТЬ РЕШИТЕЛЬНЕЙ В ПОДДЕРЖКЕ ИСТИНЫ

Уважаемый господин редактор!

1 февраля с. г. в «Правде» я прочитал отчет о заседании Идеологической комиссии ЦК КПСС 26 января 1990 г. и с удивлением заметил серьезнейшее несоответствие между заявлением одного из участников заседания и историческими фактами.

Альберт Беляев не должен был называть как само собой разумеющееся цифру в 5 тысяч человек, якобы погибших «за годы красного террора». Эта цифра была приведена в книге Филиппа Фокнера, где было написано, что «5 тысяч было уничтожено за 10 месяцев 1918 г.», и то эта цифра основывается лишь на списках расстрелянных, опубликованных в газетах того времени. Но ведь никто не в состоянии подсчитать, сколько людей в действительности было казнено решениями ЧК и самосудом в безжалостные 1918—1921 годы. А если принять во внимание существование концлагерей, одобренное Лениным и Троцким, то и вовсе не представить те легионы погибших, имена которых не восстановит никакая гласность. Это, конечно, миллионы, а не тысячи.

Как человек, который занимается историей революции в России и которому открыты архивы, я должен бросить вызов А. Беляеву и посоветовать ему быть более разборчивым, ссылаясь на зарубежные источники.

В заключение письма я хочу пожелать «Правде» быть решительней в поддержке истины, даже если она тяжела.

Р. ПЕРЛ, Нью-Йорк, США.

ЭКСТРЕМИЗМ?.. ТОЛЬКО ЧЕЙ?

Программа «Взгляд», вышедшая в эфир 2 февраля сего года, в начале передачи анонсировала один из своих сюжетов как посвященный теме экстремизма. Уже в объявлении ведущего чувствовался характерный пафос, сопутствующий «жареному» факту. А экстремизм, обеспокоивший тележурналистов молодежной редакции ЦТ, был связан с официальным мероприятием — презентацией журнала «Наш современник». И вот многомиллионная аудитория России, как и всей страны, смогла ознакомиться с весьма сумбурным репортажем, касавшимся печатного органа Союза писателей России. Собственно, самой презентации телезрители так и не увидели. Им было предложено посмотреть на тех, кто собрался перед началом у входа, и познакомиться с высказываниями некоторых из них. Видимо, обозреватели «Взгляда» считали достаточ-

ным представить в качестве позиции журнала мнения нескольких людей. Очевидно, тут и начинался «экстремизм». Особенно надолго камера задержалась на неприглядного вида человеке с лицевым ранением, который твердил: «Михаил — последний царь России, Москва — третий Рим». Прием в общем-то самоочевидный: вызвать у зрителей чисто визуальное неприятие происходящего, а заодно дать понять: вот он, уровень суждений тех, кто, столпившись у входа, величает себя патриотами. И такой уровень, ясно, соответствует журналу.

В зал телекорреспонденты так и не проникли. Правда, причины этой неудачи репортаж не прояснил. Вот кто-то закрыл ладонью телекамеру, вот раздался какой-то странный шум. То ли кто-то кинулся на оператора с кулаками, то ли оператор просто приставил камеру к голой стене? Ведь если были совершены какие-то противоправные действия со стороны тех, кто стоял у билетной кассы, то в дело наверняка должна была вмешаться милиция. Действия таковые имели место, — вроде бы дает понять программа «Взгляд», — сказано ведь было: «экстремизм!». А вот милиция почему-то не появилась. Так и осталось неясным, кто не пропускал журналистов в зал, кто нарушил правопорядок. И кто же тогда проявил экстремизм?

Нужно сказать, что программа «Взгляд» в последнее время вообще склонна то и дело «припугнуть» зрителей якобы набирающей силу волной русского шовинизма, готовой вот-вот обрушиться на страну. Пример тому — сюжет, показанный в программе неделей раньше, о сорванном мероприятии литературной группы «Апрель» в ЦДЛ. Здесь обозреватели «Взгляда» тоже поспешили приписать провокационные действия представителям «Клуба друзей «Нашего современника». Между тем в той же передаче следователь, которому было поручено дело, заявил, что пока установлено только присутствие на собрании представителей «Апреля». То же самое подтвердил в газете «Известия» прокурор города Москвы. Но для «Взгляда» картина оказалась ясной тотчас же. Как в случае с провокацией в ЦДЛ, так и с презентацией «Нашего современника». Для «Взгляда» картина ясна, а для зрителей? Ведь правда ни о том, ни о другом случае не сказана, и не сказана именно теми, кто поднимает эти вопросы как самые злободневные.

20—23 января этого года редакция журнала «Наш современник» побывала в городе Новосибирске, и, думается, сибиряки на встречах с нею смогли убедиться, что те, кто работает в журнале, стоят на истинно патриотических позициях, исповедуют гражданскую честность, движимы прежде всего любовью к Родине и ответственностью за нее. Разве корректно, разве допустимо для средства массовой информации, каковым является телевидение, отождествлять эти чувства с шовинизмом и экстремизмом? И разве этично афишировать в качестве окончательной истины свою туманную интерпретацию событий, которые либо еще расследуются, либо вовсе не являются криминалом. Право, следует думать и о профессиональном достоинстве журналиста, даже если очень хочется, чтобы собственная поспешная интерпретация была правдой. Даже если очень не терпится навязать зрителям именно свой «взгляд».

Новосибирское добровольное патриотическое общество «Отечество»:
БАТАЛОВ В. А., ВЯЛОВ В. М.,
АНОСОВ В. С., МОЧАЛОВА Л. А.,
ЗИБИРЕВА Л. С., ОРЛАШОВА И. А. и др.
(всего 41 подпись).

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Честно говоря, раньше к литературно-публицистическим спорам я относился несколько по-обывательски: писатели резвятся, интересно, кто кого больше уест.

Но вот прочитал в журнале «Октябрь» (1989, № 2) письмо некоего В. Жука (научного сотрудника) и теперь вижу, что речь-то идет о значимых вещах — о духовном здоровье русской нации, о судьбе моей Родины, о выживании человечества в условиях нарушенного экологического равновесия. На мой взгляд, эти три главных позиции достойно отстаивает журнал «Наш современник», и все мои симпатии, разумеется, на его стороне.

Упомянутое выше письмо под флагом объективности фактически от начала до конца пронизано презрением ко всему русскому и страстной реабилитацией сиониствующих авторов.

Странное дело, все беды перестроечного времени стремятся объяснить «работой» русских. И это говорится о нации, которая веками брала под свое крыло сирых и обиженных, отражала полчища врагов, больше всех пострадала от сталинщины, способствовала развитию других наций и народностей страны, в результате чего имеет наиболее низкий уровень жизни по сравнению с другими республиками, входящими в состав СССР.

Это говорится о нации, неотъемлемым качеством которой всегда было духовное здоровье.

Нравственная чистота всегда была на первом плане у русского народа, который с неприятием относился к многоженству, пьянству, половой распущенности, национальному эгоизму.

Но вот, начиная с Ильфа и Петрова, появляется целый ряд произведений, где русские люди представлены скопищем простаков и недоумков.

Особенно в этом плане, по-моему, отличился эмигрант Войнович, создав роман о Чонкине, в котором русский народ представлен стадом идиотов, а на фоне его «светлым» пятном выступают полуживотные Чонкин и его невеста. Самое любопытное, что этот пасквиль с какой-то лихой бравадой печатает молодежный журнал «Юность»: почитайте, детки, какими были ваши деды в пору самой лихой године, в годы Великой Отечественной.

А известный кинорежиссер даже сокрушается, что ему не удалось экранизировать такое «великое» произведение.

Журнал «Октябрь» публикует роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Маститый писатель. Но через весь роман красной нитью проходит тоненькое стенание о судьбе еврея в Советской стране. Плохо ему, еврею, неуютно, терпит насмешки русских сослуживцев.

Извините, о каких евреях идет речь? О тех, кто в поте лица добывает хлеб насущный? Таким евреям поклон и уважение. Или о тех, кто удобно пристроился к кормушке и, заполнив управленческие структуры, науку, культуру и искусство, держится за свои традиционные привилегии.

В. Жук в упомянутом письме показал огромное трудолюбие в собирании различных цитат, чернящих Россию и русских. Тут тебе и Лермонтов, и Пушкин, и Чаадаев, и Горький, и Бунин, и Ленин. Кого только нет. Вырванными из контекста цитатами автор письма пытается доказать, что все великие проклинали Россию. А коли так, пинай ее, ребята, болезную!

Интересно, стоит сегодня русскому не то чтобы немножко пройтись по поводу каких-либо представителей другой нации, а только заикнуться о собственной принадлежности к великой русской нации, вспомнить о своих истоках, так моментально он становится черносотенцем и махровым шовинистом.

Но все же не поздно, думаю, пока еще не поздно бить в набат, подниматься всем миром, спасать русскую нацию и прежде всего молодежь. Мою точку зрения, я уверен, разделяют миллионы моих сограждан, которые заняты честным трудом.

В. Д. ЯНЕВСКИЙ.
Омск.

В третьем номере «Нашего современника» (1990 г.) опубликована статья Татьяны Окуловой «Нам добрые жены и добрые матери нужны...». Ниже публикуем письмо Г. Матвейца в развитие этой темы

АПОЛОГЕТЫ СОВРЕМЕННОГО КИНО

«Маленькая Вера», «История Аси Клячиной, которая полюбила, да не вышла замуж», «Ночной экипаж», «Соблазн», «Забавы молодых», «Трагедия в стиле рок»... В этих и других фильмах почти одно и то же содержание: недалекие люди, богом и жизнью обиженные, ущербные духом и нравственностью, со своей неинтересной, тяжелой, часто порочной, преступной жизнью. Маленькая Вера — растленное, циничное существо, выросшее среди примитивных вульгарных людей с постоянными выпивками, криком, руганью, скандалами и даже поножовщиной. Ни одного нормального человека, кроме, может быть, брата героини, да и то не без нравственной щербинки. Несчастная Ася Клячина (одна фамилия чего стоит! — героиня, оказывается, еще и хромая). Глуповатая Женя из «Соблазна», без понятий о ценностях жизни. Школьники-старшеклассники, без малейших представлений о порядочности, честности, достоинстве, совестливости и прочих «старомодных» категориях этики.

Неужели во всех этих фильмах рассказывается о нас с вами, читатель? Таких ничтожных, ни на что путное не способных, таких «маленьких» людях, душевно пустых и порочных? И такая у нас беспросветная жизнь?!

Ну допустим, что мы такие. Бедноваты духом и живем не так, как надо было бы. Как такое искусство поможет нам сделать свою жизнь содержательной? Горьковская Настя, оказавшись на дне жизни, мечтает о счастье, читает роман о «настоящей, роковой любви». А о чем мечтает большинство современных кtypeгероев? К чему стремятся? Во что верят? Что могут дать мне, зрителю, моему человеческому чувству, моей душе и сердцу фильмы «про маленьких вер»?

Что по этому поводу думают наши кинодеятели? В фильме с песенно-эпическим названием, отмечают В. Демин, О. Сулькин, И. Клямкин, — сверхдокументальная манера, холодное анатомирование, энтомологическая любознательность, так «муравьев снимают в научном кино», «характеры в драматургии не заложены» («История Аси Клячиной...». «Советская культура» от 24.09. 1988 г.). Так-то. Дошли до уровня насекомых. Поэтому и «характеры не заложены»: не во что закладывать. Какой характер может быть у «муравья»? «Винтики» были выше. Какие ни были, но все-таки люди.

Но если кино есть искусство, а последнее — познание, как учит Чернышевский, эстетическое познание действитель-

ности, и в первую очередь познание людей, их внутреннего мира, характеров, тогда что значат слова о том, что сегодняшний кинематограф «пытается решать глобальные философские и общечеловеческие проблемы», а фильм «Маленькая Вера» — «фильм, серьезно исследующий и обнажающий причины, корни и возможные рецидивы застоя» (П. Кузьменко. «Взошли иные имена», «Комсомольская правда» от 27.03. 1988 г. Разрядка моя.— Г. М.)? Это не что иное, как высокие слова, прикрывающие немощность нашего сегодняшнего кино, не способного выполнять свою задачу как вида искусства, которое должно заниматься не муравьями, а людьми, и отнюдь не их холодным анатомированием. В «Маленькой Вере» есть обнажение. Но не корней застоя, а героини, которая не раз появляется на экране нагишом.

Между тем у нас стало хорошим тоном ругать почти весь довоенный кинематограф. До войны и в послевоенный период, действительно, таких фильмов, как, например, «Чапаев», было, по правде говоря, не много. Но были фильмы, которые показывали отдельные положительные качества людей. Такие фильмы сослужили свою роль, тем более что они, как правило, поднимали существенные общественно-политические, нравственные вопросы. Лучшие произведения советского киноискусства воспевали преданность идее, народу, Родине, стойкость, героизм, самопожертвование, другие положительные человеческие качества. В этом их общественная ценность. Они сыграли большую роль в воспитании черт характера советского человека, которые нам так пригодились в дни трудных испытаний. Причем это были не только ленты героического содержания. К числу фильмов, эстетически значительных, надо отнести и комедии, не несущие больших смысловых, идейных нагрузок, но делающие свое полезное дело. Нельзя не упомянуть здесь фильмы Г. Александрова, И. Пырьева и других. Их герои, музыка, песни, звучащие и поныне, сделали много хорошего для советских людей. И нет оснований принимать сегодняшние попытки некоторых ревнителей исторической правды занизить ценность этих фильмов, выставить их как приукрашивание «мрачной» жизни. Эти фильмы отразили дух той эпохи.

Сегодня состояние советского киноискусства сильно ухудшилось. Нет фильмов о современной советской жизни, фильмов, затрагивающих существенные процессы в экономике, политике, нравственности, которые являются основным содержанием нашей современной жизни. В нашем кино нет современников, людей сегодняшнего дня, в первую очередь представителей рабочего класса и крестьянства. Мы видим на экранах интеллигентов, творческих, партийных, советских работников, спортсменов, милиционеров, даже пацаков и чатлаков, живущих в пустыне, как это показано в довольно унылом фильме «Кин-Дза-Дза». Человека как предмета познания или вовсе нет (есть профессия, должность, род занятий, образ жизни), или характеры героев бедные, скучные, тусклые мвлоинтересные, не оставляющие следа в душе зрителя, не заставляющие его об этом герое вспоминать, думать.

Нет ярких, сильных, впечатляющих, вызывающих желание следовать им героев современности. Происходит качественное изменение нашего общества. Нужны инициативные, энергичные, уверенные в правоте нашего дела люди. Они есть в жизни. Но их нет нв экране!

В нынешнем советском кино явный крен в сторону изображения негативного в нашей жизни. В самом показе недостатков ничего предосудительного нет. Но он требует выверки масштаба, роли и значения недостатков в жизни в соответствии с ее сущностью, с ее главными тенденциями. И такой показ должен осуществляться с определенных идейных, эстетических позиции.

Однако, бесстрастно копаясь в грязи жизни, авторы проводят мысль, что в ней все грязно.

Вот один из последних фильмов — «Соблазн». Женя, из семьи малого достатка (только мать-инженер, отец ушел), полюбила одноклассника Борю, сына преуспевающего художника. Совершенно не зная его, она неоднократно признается ему в любви, притом что он, будучи окружен девушками из «высшего общества», ее «не видит». Ее отношение к нему довольно навязчивое. Она идет на все, чтобы сблизиться с ним: на ложь, обман, подлость по отношению к своим однокашницам. На совет матери быть умной она отвечает: «Не хочу быть умной, хочу быть счастливой». За счастье обладать предметом своей любви она платит самой высокой ценой — честью.

Какую задачу ставили создатели этого фильма? Кусок жизни в нем зафиксирован протокольно «как есть», без всякого авторского отношения к нему. Особенно это заметно в бесстрастном, фальшиво-серьезном тоне разговора учительницы с ребятами об их нравах и вкусах после того, как ей одна из «элитарных» учениц предложила деньги за то, чтобы ее не вызывали на уроке.

Так увидел фильм я. В кинообозрении «Путь к себе и другим» («Советская культура» от 25.08.1988 г.) М. Левитин из факта, показанного в фильме, делает один-единственный вывод: «виновата жизнь». Поскольку в роскошных апартаментах мастерской художника мы видим как будто случайно собранные вместе портреты наших руководителей за последние 35 лет, то такой вывод представляется автору статьи окончательным и бесспорным. Но, во-первых, социальное, материальное неравенство было, есть и, наверное, долго еще будет. Это неравенство — примета не только сегодняшнего дня. Оно было и прежде.

Во-вторых, и это главное: как же быть с духовными, нравственными ценностями, с понятиями о чести и достоинстве? М. Левитин говорит о «жажде самоутверждения любой ценой», о «пути наверх». Но что ждет «наверху»? Материальный достаток, добытый путем беспринципности?

Подобное толкование фильма и нашей жизни считаю ложным и вредным. Не соответствует действительности и утверждение М. Левитине, что явления, показанные в «Соблазне», есть «типический процесс». Нет, не эти процессы составляют суть советского общества, даже если таких обманов, как считает автор статьи, сотни и тысячи.

Конечно, в судьбе таких, как Женя, виноваты и конкретные жизненные обстоятельства. Мы виноваты в том, что таких, как Женя, и ей подобных плохо воспитываем и учим. Но скажу и другое: нравственность человека — это не подарок ему от общества, которым оно кого-то может и обделить. Это — обязанность человека перед другими людьми быть человеком, членом общества, а не этаким терзаемым разными желаниями существом, для которого пустяк то, что для других свято. Нравственный императив воспитывают сызмальства, не дожидаясь, когда люди в мундирах будут объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо.

«Советская культура» (3. 09. 1988) напечатала письмо московской студентки под названием «Ценности подлинные и мнимые». Говоря об этом фильме, она пишет: «Девушка, полюбившая юношу, принадлежащего к т. н. элите общества, остро ощущает свою неполноценность», она «не может одеваться так, как ее сверстницы, и не имеет доступа в такие дома, где блистают ее подружки». Студентка видит в этом «самую настоящую душевную травму», «разочарование в людях, отчаяние», «драму». Виновата в этом, по мнению автора письма, «социальная несправедливость». А, может быть, если обратить внимание на название письма, понятия о ценностях у героини фильма мнимые? Для чувства любви одежда и прочее значения не имеют. Мы знаем факты, когда социальное неравенство не мешало союзу сердец (граф Шереметев и простая крестьянка, князь Монако и манекенщица и др.). Дефицит не одежды и прочих материальных благ, а правильных, здоровых представлений о ценностях жизни? ее возлюбленный — ничтожество, мерзавец? Любящий человек и оденет должным образом, и в дом допустит, и блистать даст возможность. Тогда социальная несправедливость здесь ни при чем. Пеняйте на самих себя. Надо вглядеться и не только в свою плоть, которую героиня фильма долго и с упоением рассматривает в зеркале, возможно, прикидывая, как она поможет ей выйти «наверх», но и в свою душу. Чтобы не оказаться «внизу».

Квк видим, трактовки разные, а вывод один: не в пользу тех толкователей, которые нравственную неполноценность отдельных людей, даже если их сотни и тысячи, пытаются приписать обществу в целом, его сути, ведущим закономерностям. В. Кичин в статье «А шедевров все нет?» («Советская культура» от 18.10.1988 г.) подводит под эту ложную мысль «марксистскую» базу: «быт определяет сознание», — пишет он. Не быт определяет сознание, а общественное бытие! Надо бы знать это автору такой газеты.

Попытки пропагандировать на экране безобразное, безнравственное, ссылаясь на «правду жизни», не прекращаются. «Искусство не должно уводить зрителей от жизни, — пишет В. Мережко. — Поэтому, если существующие в реальности жестокость, насилие являются проблемой фильма, они возможны и на экране. Ведь что такое сделанный в очень жесткой манере фильм «Маленькая Вера»? Это крик о том, что так больше жить нельзя. Уберите из него шокирующие многих своей непрывычной откровенностью постельные сцены, и крик этот снизится до шепота. А разве шепотом можно докричаться до кого-нибудь?» («Служить истине». «Правда», 28.04.1989 г.). Значит, крик о невозможной жизни может быть только в постели? А все остальное — это «шепот»? Но вот классики (и наши, и зарубежные) кричали и о тьме и о дне жизни без постельных сцен, тем более что они, нехитрые по механике эти сцены, не определяются социально-экономическим строем, не зависят ни от «культа», ни от застоя. Можно выдать В. Мережко патент на открытие того, что акт совокупления есть крик о социальном зле. Это попытка закамуфлировать «клубничку» высокимн целями.

Не могу считать произведениями искусства фильмы, которые показывают мучения, ужасы, страдания, не давая зрителю никакой опоры, надежды, спасения. Это не искусство. Это документ. У нас етречаются фильмы, которые просто повергают зрителей чуть ли не в обморок. Вот фильм «Иди и смотри». Нет в нем эстетической задачи в обстоятельном показе того, как фашисты жгут людей. Такой задачи может не быть в жизни, но в искусстве она должна быть. Что такое война, мы, и не только мы, а и многие люди в наш воинственный век, хорошо знаем. В рекламе война не нуждается. Есть нужда в другом: воспитывать людей, которые не падут до уровня зверя, не будут людей жечь в печах ввиду их «неполноценности», не будут вспарывать животы беременных женщин, как это не так давно позволили себе подонки, считающие себя представителями «богом избранного» народа.

В современном советском кинематографе очень мало фильмов, которые можно считать произведениями, содержащими эстетические ценности. А только они могут формировать в человеке прекрасное. Никакими ссылками на то, что внимание уделяется «критике» негативного (которой тоже, как уже показано, фактически нет), эту бедность объяснить нельзя. В искусстве зритель ищет правду о человеке. В нем должна быть эстетическая «идея», выражение прекрасного, возвышенного, осуждение безобразного. Основное в искусстве — красота человеческой души.

...Наркомания. Проблема, конечно, заслуживающая внимания. Но когда автор берется делать фильм на эту тему, он должен прежде всего выяснить два вопроса: первый — как он объяснит это явление и второй — как он его выразит средствами искусства? Объяснение этого социального зла в фильме «Трагедия в стиле рок» дано по модной сейчас, но необоснованной, ложной версии: виновато время «культа», виноваты отцы перед детьми, по формуле

«дети, выросшие во лжи, не могут быть нравственными». Но всё дело в том, какую под «ложью» считать почву, которая порождает подобные явления, и есть ли прямая связь между этой почвой и поведением отдельных людей, выступающих в качестве автоматов-датчиков социальной жизни. В фильме нет общественного человека, человека общества. Есть только обиженный, истеричный индивидуум.

Что касается художественного решения проблемы наркомании, то ни практика, ни тем более теория не знают отражения средствами искусства подобных явлений (самих явлений!). В истории искусства известны или попытки объяснить причины подобного падения человека, или попытки подняться со «дна». Сама технология порока считалась в искусстве неэстетическим предметом. Создатели «Трагедии в стиле рок», видимо, не разделяют эту точку зрения. Может быть, если считать этот фильм научно-популярным, пропагандистским, он имеет свой практический смысл: отвратить людей от этого зла? Но творцы этого фильма приложили все усилия эстетизировать сцены наркомании. Нужно сказать, что они сделаны с большим знанием дела и богатой выдумкой. В течение двух серий зритель видит людей, потерявших человеческий облик и человеческую суть. Всё крайне натуралистично, вплоть до мелочей, деталей ритуала наркоманов. Тогда возникают вопросы: а в чем художественность этого фильма? какие эстетические ценности он демонстрирует? Не скажу, что увиденное призывает к подражанию. Некоторые, казалось бы, трагические сцены в фильме вызывают смех в зале, но и неприятие показанного, думаю, не у всех появляется, тем более что и этот фильм усеян голыми телами. Нравы и галантность соответственно пещерные: предмет любви не возносят на ложе, а волокут за ноги.

Это — мерзость, далекая от трагедии. Трагедия в том, что такое социальное зло появилось и существует в нашей жизни, в том, что с ним не борются, а рекламируют, пропагандируют на экранах, на страницах прессы. Жаль, что особенно преуспевает в этом «Советская культура».

В современном советском кино много плаксивого, мрачного, кладбищенского, иногда просто отталкивающего. Раньше, в «проклятые» времена, героями экрана были коммунисты (был даже фильм под таким названием). Сейчас — мерзавцы, воры, уголовники, шлюхи[1]. Что на это сказать? Известный советский кинорежиссер Л. Трауберг, создатель выдающегося фильма о Максиме, вспоминая «золотой век» «Ленфильма» (30-е годы), когда были сняты «Чапаев», «Депутат Балтики», трилогия о Максиме, «Семеро смелых», «Гроза», «Петр Первый», говорит, что творческие работники студии тяготели к «партийному идеалу» («Время в пути». «Советская культура» от 30. 04. 1988 г.). Странным и неискренним в связи с этим выглядит заявление классика советского экрана Ю. Райзмана о том, что он «никогда не был политиком» («Советская культура» от 4. 07. 1988 г.): фильмы «Коммунист», «Твой современник», шесть Сталинских премий и.. все это вне политики?

Защита такого кино не способствует созданию произведений, которые могут служить переустройству жизни советских людей.

---

[1] В. Кичин Маленькую Веру ставит в один ряд с... Офелией, Катериной и Карениной и считает, что она — отражение миллионов своих реальных сверстниц. Вот так.

Георгий МАТВЕЕЦ.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В нашей жизни наступает период особого напряжения сил и нравственной ответственности. Прошедшие выборы показали, что к власти пришли те, у кого в руках средства массовой информации и чьи интересы порой далеки от чаяний народа. Все желающие подлинного народовластия не могут не знать: от предстоящей подписной кампании зависит будущее патриотических изданий и их реальное влияние на общественное сознание.

Наше недавнее обращение о нехватке бумаги было услышано многими и многими из вас – работниками управления, интеллигенцией, рабочими, преподавателями, пенсионерами, школьниками...

Благодаря вашей поддержке журнал выходит в срок. Мы признательны всем, кто откликнулся на наш призыв, кто искренне с нами.

Дорогие друзья!

Опыт прошлого года свидетельствует, что многие из вас подписались в последние дни подписного периода. В этом году ожидается ограничение подписки уже в сентябре, которое, как всегда, в первую очередь коснется нашего журнала.

Призываем вас оформить подписку в первые же дни июля, внеся таким образом свой вклад в процесс объединения под знаменем журнала всех патриотических сил России!

Привлеките к подписке всех: близких, друзей, соседей, знакомых, сослуживцев. Так – через народную молву – идея объединения войдет в каждую семью, каждый дом.

Члены редколлегии, работники редакции и авторский актив журнала "Наш современник".